НОВЫЙ ЖУРНАЛ

IX

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

под редакцiей
М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

IX

НЬЮ-ЙОРК
1944

Printed by
GRENICH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y. C.
166

ОГЛАВЛЕНИЕ

М. А. Чехов. — Жизнь и встречи 5

М. А. Алданов. — Истоки 43

В. С. Яновский. — На полпути 134

Г. В. Голохвастов. Святая Могила 156

Т. І. Остроумова. Стихи 161

ВОПРОСЫ ДНЯ:

А. А. Гольденвейзер. — Президентские выборы 163

Ю. П. Денике. — Что будет с Францией 180

А. И. Зак. — Америка после войны 200

М. В. Вишняк. — Международный билль о правах человека.. 222

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. А. Александрова. — По советским журналам 246

А. С. Лурье. — Линии эволюции русской музыки 257

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

Гр. П. Н. Игнатьев. — Совет министров в 1915-1916 г.г. 276

Б. П. Бабкин. — И. П. Павлов 293

М. Букиник. — Рассказ о художнике В. Э. Борисове-Мусатове 312

С. Л. Поляков-Литовцев. — Мелодии еврейского быта 331

Н. С. Тимашев. — О. Сергий Булгаков 345

Б. С. Ижболдин. — П. Б. Струве как экономист 349

М. К. — После-военные проблемы 358

РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ:

Г. В. Вернадский. — О. Кайданова. Очерки. 364

М. М. Карпович. — В. Ледницкий. Жизнь и культура Польши 366

Г. П. Федотов. — Вл. Набоков. Гоголь 368

Ц. — В. Дюранти. История советской России 370

М. В. Вишняк. — Г. Ласки. Вера, разум и цивилизация..... 374

Г. Я. Аронсон. — Еврейский мир 377

М. О. Цетлин. — С. Либерман. Дела и люди 380

В. И. Коварская. — Художественные заметки 382

Статья Б. И. Николаевского о П. Б. Струве и рецензия **В. М.** Зензинова об «Очерках и речах» О. О. Грузенберга будут напечатаны в следующей книге «Нового Журнала».

ЖИЗНЬ И ВСТРЕЧИ*)

14.

Несколько слов об Андрее Белóм (Борисе Николаевиче Бугаеве).

Философ, ученый, поэт, математик, писатель и мистик — уживались в нем, об'единяясь в образе устремленного, проницательно-страстного человека-мыслителя.

— Да, — говорил он, — я знаю, я — огонь! и в младенчестве первое слово, что я произнес, было: «огонь»!

Но и поэт и философ и мистик и все они, хоть и жили укрывшись под одной черепною коробкой, все же, встречая друг друга, вступали в конфликты. Конфликты вели к катастрофам, то смешным, то трагичным, а Белый — страдал.

«Взрывы сознанья» (его выражение) в высшей степени были свойственны Белому. Когда он не «взрывался», был спокоен, как все, то казалось: он притворяется. Его вежливость (я в этом уверен) была защитительной маской помогавшей ему общаться с людьми без того, чтобы ранить или быть раненым. Жил в нем дух неприятия, дух протеста и он о т р и ц а л, «взрываясь сознанием». Это было понятным для тех, кто мог видеть: Белый жил в мире отличном от мира людей его окружавших и мир обычный, принятый всеми — он отрицал. В р е м я в мире Белого было не тем, что у нас. Он мыслил э п о х а м и. Вот пример: он несся сознанием к Средним Векам, дальше — к первым векам Христианства, еще дальше — к древним культурам и перед ним раскрыва-

---

*) См. 7-ую и 8-ую книги «Нового Журнала».

Copyright 1944 by the New Review («Новый Журнал»). All rights reserved.

лись законы развития, смыслы истории, метаморфозы сознания. Он уносился и дальше: за пределы культур — в Атлантиду и, наконец — в Лемурию, где только еще намечались различия будущих рас, и оттуда он несся обратно, всем существом своим, всем напряжением мысли переживая: от безличного к личному, от несвободы к свободе, от сознания расы к сознанию «Я». Еще с детства ему были свойственны такие «полеты».

— Когда я был мальчиком, — рассказывал он, — в темной комнате я забирался на стул и на стол и часами со своей «высоты» наблюдал ход событий истории. Эпохи сменяли друг друга: я жил в тысячелетиях...

И теперь все, что виделось Белому в этих «полетах», слагалось в нем в «смыслы», «бессмысля» банальность текущего дня. Он говорил: эпоха, в которой живет человечество нынче — эпоха развития самосознания и укрепления личного «Я». Эта тема, о смысле эпохи, его занимала всегда. Он часто к ней возвращался в беседах с друзьями, в печати и в лекциях. Он указывал: в наши дни ослабевают традиции, порывается связь родовая между людьми, угасает инстинкт принадлежности к расе, уродством становится переоценка достоинств отдельных народов, внушенная голосом крови, шовинизм держит «Я» человека в оковах, дурманит, бескрылит его. Границы надо разрушить. И их уже разрушают науки, искусства, пути сообщения, сокращение пространства и времени волнами радио. Народы стремятся к слиянию, хотят стать человечеством, а человек — превратиться в свободное личное «Я», в гражданина Земли. Бешеный темп его внутренней жизни делал людей окружавших его (по сравнению с ним) существами без-я-чными, сонными. Они не пролетали столетий и все еще жили в традициях, в расовых чувствах, в шовинизме, в минутных делах, в днях и в часах. И Белый «взрывался», кричал, ненавидел, гремел и громил!

Мир Белого вас поражал также ритмами. Да и сам он был ритм. Все, что делал: молчал, говорил, читал лекцию, ваял звуками стих на распев, бегал, ходил — все чудилось вам в

сложных, свойственных Белому, ритмах. Все его гибкое тело жило тем, чем жил его дух. В тончайших вибрациях, в жестах рук, в положении пальцев оно отражало, меняясь, желания, мысли, гнев, радости Белого. (Между прочим: легко балансируя и без страха, мог он ходить по перилам балкона на высоте многоэтажного дома).

И мыслил он ритмами. Мысль, говорил он, есть живой организм. Она, как растенье: ветвится и ширится. Мысли ищут друг друга, зовут, привлекают, сливаются, или, враждуя, вступают в борьбу, пока побежденная, сдавшись, изменится, или исчезнет из поля сознания. Созревая ритмически, мысль дает плод в свое время. Геометрическая фигура была для него формой гармонично звучащей. Звук превращался в фигуру и образ. Краска — в чувство. Движение — в мысль.

Говорил ли он об искусстве, о законах истории, о биологии, физике, химии — тотчас же он сам становился тяготением, весом, ударом, толчком, или скрытой силой зерна, увяданием, ростом, цветением, в готике он возносился, в барокко — круглился, жил в формах и красках растений, цветов, взрывался в вулканах, в грозах — гремел, бушевал и сверкал, (как Лир, такой же седой, безудержный, но сегодняшний, не легендарный, Лир безбородый, в неважных брючишках, в фуфайке, с неряшливым галстуком). И во всем, что с ним делалось, виделись ритмы, то строгие, мощные, гневные, то огненно-страстные, то, вдруг, тихие, нежные и что то наивное, детское чудилось в них. Когда он сидел неподвижно, молчал, стараясь себя угасить, чтобы слушать — вам начинало казаться: не танцует ли он?

Он сделал открытие. Путем вычислений исследуя стихосложение, он проникал в душу поэта и слышал, как он говорил, пульс и дыхание Пушкина, Тютчева, Фета в минуты их творчества. Он демонстрировал сложные схемы кривых, математически найденных им для ритмов стиха. Каждый стих выявлялся на схеме особо, рисуя конкретно смысл, содержание, идею стиха. Математика, через ритм, вела к смыслу. И часто кривая вскрывала в стихе содер-

жание за содержанием. Белый гордился открытием и, демонстрируя новые схемы, горел, увлекался, метался по комнате, делал долгие паузы, «исчезая» куда то, и снова кидался на схему, вычислял, сыпал цифрами, знаками, буквами, иксами, украдкой следя с огорчением за лицами слушавших: лица тупели, кивали и посылали ему виновато улыбки — понять было трудно.

Лекции Белого вас удивляли. О чем бы он ни читал — все казалось неожиданным, новым, неслыханным. И все от того, как он читал. Как то раз, говоря о силе притяжения земли, он вскочил, приподнял край столика, за которым сидел, и, глядя на публику в зале, зачаровал ее ритмами слов и движений, а потом так сумел опустить приподнятый столик, что в зале все ахнули: столик казался пронизанным такой силой, тянувшей его к центру земли, что стало чудом: как остался он здесь на эстраде, почему не пробил земную кору и не унесся в недра земные!

И рядом со всем этим, тут же на лекции, он так неудачно взмахнул рукой вверх, что черная шапочка (для чего то сегодня надетая) взлетела на воздух, вызвав смех в публике, а он рассердился на публику. (Черная шапочка, хоть и странно, все же, как то, понятно. Но, однажды, зайдя к нему, я застал его так: сидел он на стуле в углу, с'ежившись, спрятав кисти рук в рукава, в фуфайке, конечно, и — в дамской шляпе с отделкой из серого меха. Я не мог не спросить его, что это значило, и он об'яснил: «Немощь, зябну, чихаю». Но все же осталось неясным: почему шляпа дамская?).

Помню, на этой же лекции, вызвав рукоплескания слушавших, он (упустив из вида себя самого) стал аплодировать вместе со всеми, с улыбкой шныряя глазами в кулисах, по зале и сзади себя.

Слово рассеянный (в смысле: ни к чему не внимательный) к нему не подходило никак. Напротив, всегда устремленный куда то, он был сосредоточен и, кроме об'екта внимания, все остальное, на время, терял. И вместе с тем — все замечал, все регистрировал где то в сознании и хранил, как

старьевщик, а потом, искусно подчистив, размещал свою мелочь на страницах романа. Кто то сказал ему раз:

— Смотрите: дивные краски заката сегодня!

— Я вижу! — крикнул он злобно, — мне не надо указывать!!!

Но он и пред-видел. Вернувшись за год или два до первой войны из Германии, он сказал:

— Катастрофа грядущая там у них притаилась! За всем их благополучным порядком сидит она в каждом углу! (И при этом он сам сел на корточки).

И все же, по своему, он б ы л рассеян. На стулья, столы и диваны он не натыкался, но бегущий трамвай он «толкнул». Так потом и рассказывал:

— Я толкнул его и очнулся, когда с полицейским сидел на пролетке — ехал в больницу. Полицейский спросил: «Ваша фамилия»? «Андрей Белый». «Белый? А почему же не синий?» Как глупо!

И Белый каждый раз злился, доходя до этого места рассказа.

После лекции, в незнакомом ему помещении, он несся по залам и вбежал (ища выхода) в зеркало. Натолкнувшись с размаху на себя самого, отступил, дал дорогу, прошипев раздраженно: «какой неприятный суб'ект»!

В другой раз, завидев знакомого издали, он, дружески вытянув руку, пустился навстречу, но, поравнявшись — забыл, прошел мимо, держа руку в воздухе и удивляясь: зачем же рука?

В романе «Москва», профессор Коробкин, р а с с е я н н ы й, надел на себя, вместо шапки, кота. Я прочел и мне стало неловко, что Белый позволил себе такую неправду. Но однажды, уходя от меня поздно ночью, он, в передней схватил вместо шапки кота и (беру из его же романа):

«цап ее (мнимую шапку) на себя!

В тот же миг оцарапало голову что-то: из схваченной шапки над ярким махром головы опустились четыре ноги и пушистый развеялся хвост»...

И дальше было точь в точь, как в романе: стоявшие около душились от смеха, а он

> «не смеясь, как то криво им всем подмигнувши, почти со слезами в глазах, громко вскрикнул:
> — Забавная-с штука-с: да-с — да-с!»

и:

> «побежал катышком прямо в дверь».

Профессор Коробкин стал для меня кошмарной реальностью. Но Белый запомнил придушенный смех и в другой раз уходя от меня, так же поздно, с приятелем, он, хитро покосившись, подал приятелю шапку — (дескать, вот видите, разбираюсь и в шапках, когда захочу!).

— Ваша? — спросил он.

— Нет ваша, Борис Николаевич, — ответил приятель.

Я видел, как Белый и тут обозлился.

И странности Белого были особые. Вот он говорит, развивает блестящую мысль и вдруг замирает на долго: на губах застывает улыбка, глаза смотрят в даль, брови сдвигаются, лоб напрягается мыслью, руки раскинуты вправо и влево, плечи приподняты — боится спугнуть две-три одновременно вспыхнувших мысли. Вихрь в сознании требует неподвижности в теле. Вихрь утихает и первоначальную мысль он излагает так же стройно, картинно и ясно. Но теперь он, напротив, «танцует» — жесты круглятся, льются, гранят, завершают, вводят вас в новую мысль. Но вот он поднялся на цыпочки и через мгновение, так же внезапно, он стоит на коленях или, глядя снизу на вас, пружинит на корточках. Если вы собеседник не опытный, вы на время его потеряете, а найдя, вы не будете знать: не встать ли и вам на колени. Но Белый уже на диване, засел в уголке, подобрав под себя одну ногу. Не на долго. Он уже бегает, ловко лавируя, между столами и стульями.

Он был сильный рассказчик, любил и умел говорить, вспоминал символистов, обрисовывал образы старых друзей,

их характеры, странности, мысли, судьбу. Но вдруг обижался, прерывал себя жалобным возгласом:

— Да что я рассказчик вам, что ли!

И пробежавшись по комнате, забивался куда-нибудь в угол и оттуда просил:

— Расскажите же вы!

Но рассказа не слушал: прищуривал рысьи глаза, оставлял вам улыбку, а сам уносился куда-то...

С чувством юмора Белый, как будто бы, был не в ладах. Он не смеялся, когда смеялись другие, или смеялся один. Помню, увидев, однажды, каррикатуру смешную в журнале на себя самого, он рассердился и стал каррикатурно изображать каррикатуру. Впечатление было гнетущим. Но все же «беловский» юмор, с сарказмом и болью, силен. Прочтите хотя бы главу, где описан вечер «Свободной Эстетики» («Московский Чудак»), или встречу японца с профессором («Москва под ударом»), и вы, если вообще принимаете Белого, будете, может быть, так же смеяться, как смеются любители шуток Шекспира.

Белый жил в увлечениях, постоянно меняя их. То он собирал осенние листья, сортировал их часами по оттенкам цветов; то мешками возил разноцветные камушки с берега моря из Крыма в Москву, приводя своих близких в отчаянье. (Между прочим, камушки он собирал появляясь на пляже в одном лишь носке — другая нога была голая). То собирал обожженые спички и грудами складывал их у себя под кроватью. (Кто-то прознал, что он собирал их на случай, если в Москве не окажется топлива).

Интересен процесс его творчества. Схему романа он задумывал в общих чертах и затем наблюдал терпеливо им же вызванных к жизни героев. Они обступали его день за днем развиваясь, ища отношений друг с другом, меняя интригу, вскрывая глубокие смыслы и, наконец, становясь символичными. Белый сам говорит, что порой произведение искусства представляет сюрприз для художника. Но такие сюрпризы были обычным явлением для

Белого. Воображение художника, такого масштаба, как он, обладает способностью соединять два процесса, противоположных друг другу. В нем: самостоятельность образов сочетается с их подчиненностью воле художника. Белый, следя об'ективно за игрой этих образов, «взглядом» своим рождал в них свое суб'ективное. Противоречие делалось ко-операцией образов с автором. Он едва успевал регистрировать в памяти все, что жило, горело в его творческой мысли. Он знал: что часто в начале являлось ему, как «свалень событий», ряд фигур, атмосфер, мест, домов, улиц, комнат, безделушек на столиках, на этажерочках, полочках — все вливалось само постепенно в интригу, в идею, давало им краски, становясь обертонами и полу-тонами и иногда поднимаясь до символа. Он как то увидел в фантазии человечка нескладного, странного, видом ученого (похож на профессора!). Он бежал за каретой с мелком, стараясь на черном квадрате убегавшей кареты формулку вычертить. Профессор бежал все «быстрее, быстрее, быстрее! Но вдвинулась вдруг лошадиная морда громаднейшим ускореньем оглобли: бабахнула! Тело, опоры лишенное — падает: пал и профессор на камни со струйкой крови, залившей лицо». Когда Белый увидел все это, он не знал еще с точностью, что это и будет московский чудак, любимый герой его, профессор Коробкин.

Но бывали у Белого и страшные образы и факты уже выходившие из сферы искусства. Ими он мучил себя и других. Когда он принес и прочел мне последние главы романа «Москва под ударом», я был подавлен. Нервы страдали физически. Он заметил и виновато спросил с напряженной улыбкой:

— Нне... тяжело это?

Много темного жило в душе его. Но Белого трудно судить, еще трудней осудить его, многоликого, жившего вечно в бунтарстве, в контрастах, в умственных «трюках». Но и не осуждая, я все же скажу: чувство в нем далеко отставало от мысли. Мысль-огонь увлекала его в «бездны сознанья»

(его выражение) и подолгу держала его в отчужденьи, в холодных и темных углах, тупиках, лабиринтах, где сердце молчит и где близки границы безумия. Все обостряя рассудком до искажения, он начинал ненавидеть им же созданный мысленный призрак. Любил ли он? Вероятно любил, но по своему, силою мысли (не сердца). Он утверждал и это ему заменяло любовь. Но он мог утверждать при желании: тьма есть свет и мог жить в этой тьме, «полюбив» ее мыслью, до нового «трюка» рассудка.

Я часто беседовал с другом о нем: как может он долгие годы жить в круге идей Рудольфа Штейнера без «бунтарства». Мы ждали: вот-вот он сорвется, уйдет в лабиринты бесчувствия, разовьет «трюком» мысли неглавное в главное и, уперевшись в тупик, возненавидит и бросится в крайность контраста. Но он все держался, писал книги о Штейнере, читал лекции об Антропософии, читал мне, интимно, свои мемуары о времени им проведенном со Штейнером, давал мне советы, уча упражнениям мысли. Он однажды сказал мне:

— Я посвящу свою книгу Михаилу Архангелу*). Пусть в наши дни прозвучит Его имя.

И когда вышел «Московский Чудак», на первой странице я прочел:

ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ

АРХАНГЕЛЬСКОГО КРЕСТЬЯНИНА

МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА.

В другой раз, ночью, во время беседы, он вспыхнул, вскочил, обе руки вскинул вверх, прокричав:

— Если б все до единого подпали безвольно лжи давящего нас матерьялизма, я один бросил бы вызов ТОМУ,

---

*) Духовная наука (Антропософия) под именем Архангела Михаила об'единяет группу духовных существ, играющих важную роль в развитии мира и человека. Задача Архангела Михаила особенно значительна в нашу эпоху.

(Ариману**), кто впивается в мозг человека вот здесь, на затылке! Я погиб бы в мгновение ока, но в это мгновение ОН изведал бы стыд и позор!

С того времени, как я покинул Россию, я не видал уже Белого. Но последняя книга его «Мастерство Гоголя» (гениальный анализ!) удивила меня: в ней я узнал много мыслей, когда то им высказанных, но теперь они были искусственно (но не искусно) пригнаны к идеологии, Белому некогда чуждой. Тут и «спрос», и «предложение», и «социальный заказ», и цитаты из Ленина, и злобный, жестокий тон по отношению к Гоголю, к его «мистике» и к «Незримому», которые Белому прежде были так близки. Его старые мысли в новой одежде теряют свое обаяние. Я, может быть, не узнал бы их вовсе, если б в прошлые годы он сам не раскрыл их мне в беседах о Гоголе.

Недавно я слышал: Белый в последние годы совсем отошел от учения Штейнера и примкнул к матерьялистам. Правда ли это — не знаю.

15.

Когда Студия потеряла Сулержицкого и Вахтангова, группа основных ее членов взяла на себя художественное и административное руководство. Однако, отсутствие единой, крепкой художественной воли скоро сказалось. Материали-

**) Антропософия пользуется именем Аримана для обозначения духовных существ, чьи инспирации вызывают в человеке матерьялистические представления. Ариман, дух тьмы, противопоставлялся в древней Персии Ормузду, духу света. Имя Аримана (как и Архангела Михаила), хотя и распространяется на целую группу однородных существ, все же указывает на определенную духовную индивидуальность. Ариман так же, как и Михаил, имеет достоинство Архангела. Борьба обоих Архангелов находит отражение в мифах, легендах и сказках всех народов, причем Ариман часто символизируется в образе «Дракона».

стические тенденции того времени стали оказывать заметное влияние на художественную жизнь Студии. Театрам приходилось считаться с требованием времени. Пьесы агитационного и пропагандного характера (продукт первой эпохи революции) стали появляться на подмостках московских и петербургских театров. Натурализм, «простота, как в жизни», фотографически-точная передача текущих событий — были единственно возможным «стилем» их выполнения. Качество актерской игры стало падать, элементы творческой фантазии, театральной выдумки и оригинальности отошли на второй план. Влияние извне было сильно. Театры и актеры шли за массами, угождая их вкусам. Однако многие искренне верили, что идут в первых рядах, считали себя пионерами. Впрочем не легко было разобраться в этот первый период горячей ломки старого и попыток создать новое — кто за кем идет или кому и чему служит. Жизнь этого периода была, несмотря на свою кажущуюся конкретность, поистине фантастична. Принципы и идеалы материализма, заготовленные вне связи с действительностью и не соответствовавшие ей, все же настойчиво примемание и с ним обращались, как с фантомом. (Обычная ошибка Действительный, реальный человек не принимался во внимание и с ним обращались, как с фантомом. Обычная ошибка материалистического мышления: не в с я действительность принимается во внимание. Духовные силы, действующие в мире, в истории, в отдельном человеке — отрицаются. Выводы, полученные на основании логических умозаключений, становятся в конфликт с действительностью при первой же попытке их осуществления. Предвидения материалистов неизбежно обречены на неудачи).

Не видели актеры и той опасности, которая угрожала их искусству со стороны материализма. Принятый и проведенный до конца, он способен убить живое чувство актера, привести к переоценке внешних средств выразительности в ущерб внутренним, к нервозности в игре и к поверхностной трактовке ролей. Все это уже начинало появляться то тут, то там, как в целых спектаклях, так и в отдельных актерах. Видя это и

принимая участие в управлении Студией, я должен был часто вступать в конфликт с ее руководителями.

Удобопонятность популярного материализма породила множество новых, «современных» драматургов. Своими произведениями они наводнили клубные и заводские подмостки и пытались проникнуть на сцену нашей Студии. Луначарский долго терпел их, надеясь, повидимому, что из их среды выйдут, со временем, настоящие пролетарские писатели. Но скоро ему пришлось убедиться, что эти, слишком быстро заявившие о своем существовании, драматурги не были пролетариями ни по уму ни по духу, и Луначарскому, все же, пришлось указать им их надлежащее место. Однако случилось это не сразу. Им дали высказаться и слушали их, пока, наконец, они не договорились до абсурда.

— Толстому Льву легко было писать, товарищи! — заявил один из них на заседании Наркомпроса. — Дайте-ка мне «Ясную» его «Поляну», так я вам, может, не хуже него напишу, товарищи, извиняюсь!

Помню, как возмутились Луначарский и Станиславский и как Мейерхольд, в своей блестящей речи, высмеял, как оратора, так и всех подобных ему «пролетарских писателей», с их обидами, хвастовством, угрозами прошлому и туманными обещаниями на будущее.

Блестяще вел себя Мейерхольд на таких заседаниях. Художник побеждал в нем партийца и он смело и со свойственным ему умом отстаивал наши права и художественную свободу. Многое в этом направлении сделал и Станиславский. Уже одно присутствие его заставляло «ораторов» выбирать выражения и держаться в известных границах. Его авторитет был и до конца дней остался непоколебимым. Его нежелание делать компромиссы заставляло власть уважать его и считаться с ним. Большевики не любят подхалимства. Со Станиславским считались не только, как с художником, но и как с человеком. Много добра сделал он, ездя в Кремль просить за осужденных. Он и боялся большевиков и это импонировало им. Все его страхи ограничивались повседневными пустяками. Он очень

испугался, например, когда Рыков забыл галоши в ложе театра и галоши затерялись.

— Галоши должны быть найдены! — волновался Станиславский, — Вы знаете, кто такой Рыков? Это Председатель почти что всей России! Ищите!

Будучи всего лишь одним из членов Правления Студии, я не мог выполнить того, что казалось мне необходимым для сохранения художественной жизни Студии. Я решил взять управление в свои руки и об'явил себя «диктатором». Впечатление, произведенное моим поступком, было настолько ошеломляющим, что открытой оппозиции я не встретил, хотя и видел, что кое-кто затаил злобу против меня. Я назначил при себе Правление из четырех членов Студии. Все они пользовались уважением и доверием труппы. Через два-три дня после «захвата мною власти» Наркомпрос санкционировал мое директорство.

Я прежде всего изгнал из репертуара антирелигиозные тенденции и уличную драматургию и в противовес им решил поставить «Гамлета». Полтора года продолжалась работа над этой трагедией и мне удалось осуществить в ней кое что из моих заветных театральных мечтаний. К тексту мы подошли, например, по новому: через движение. (Я говорю не о смысле, не о содержании текста, но о способе произнесения слов со сцены). Мы рассматривали звуковую сторону слова, как движение, превращенное в звук. В том, что музыкальный звук вызывает в нас представление о движении — едва ли можно сомневаться. Мы слышим жест, зачарованный в нем. Такой же жест живет и за звуком человеческой речи, но мы не воспринимаем его с такой легкостью, как в музыкальном звуке: нам мешает смысловое, интеллектуальное содержание речи. Мы следим за тем, ЧТО говорит нам человек, и не замечаем того, КАК ЗВУЧИТ его речь. Отрешившись, на время, от содержания слышимых слов, мы начинаем улавливать их звучание, а вместе с ним и жест, скрытый за этим звучанием. Художественность речи определяется ее звуко-жестом, а не смыслом. Смысловая

сторона произносимых актером со сцены слов принадлежит не ему, но автору и в этом нет его, актерской, заслуги. Но в том, как он произносит эти слова, как звучат они со сцены — заключается уже его заслуга и определяется ценность его, как художника. Работая над «Гамлетом», мы старались пережить жесты слов в их звучании и для этого подбирали к словам и фразам соответствующие движения. В них мы вкладывали нужную нам силу, придавали им определенную душевную окраску и производили их до тех пор, пока душа не начинала полно реагировать на них. Зажигалось горячее творческое чувство, вспыхивал волевой импульс и уже после этого мы произносили слова и фразы. Жест переходил в слово и звучал в нем. Актеры сразу оценили этот занимательный и давший прекрасные результаты подход к художественной речи. Целые диалоги, целые сцены мы проходили таким образом, производя движения в молчании. Для того, чтобы жест не превратился в пантомиму и оставался, так сказать, отвлеченным, мы, иногда, перебрасывались мячами. Мячи заменяли для нас слова и уводили от пантомимы. Мы также работали много и в области воображения. По указанию режиссера и под его руководством, мы проигрывали в воображении целые сцены, мы, так сказать, репетировали в воображении, каждый за себя и за своих партнеров. Потом, когда репетиция производилась на сцене, много прекрасного и оригинального переносили актеры из своих «воображаемых» репетиций в реальные. Мы увлекались той свободой и легкостью, которые допускали наши «бестелесные» репетиции. Развивалась изобретательность, актерская смелость и, столь желанная и нужная актеру, уверенность хорошего тона, во время репетиций на сцене.

В первые три года обстоятельства благоприятствовали мне. «Гамлет» имел успех и Студия, постановлением Наркомпроса, была переименована во Второй Московский Художественный Театр и перешла в новое помещение на Театральной площади (б. Театр Незлобина). После исполнения роли Датского Принца я получил звание Заслуженного Артиста и

вместе с Собиновым был избран членом Моссовета. Театр сразу поднялся на большую высоту. Чтобы я не «зазнался», Станиславский сказал мне:

— Вы, Миша, не трагик. Трагик плюнет и все дрожат, а вы плюнете и ничего не будет.

Для актеров, желавших совершенствовать и развивать свою технику, я организовал занятия с упражнениями. Вся труппа (за исключением нескольких ее членов) принимала участие в занятиях. Даже «старики» МХТ заходили иногда посмотреть на нашу работу и многих она серьезно интересовала. Но методы, которые я пытался привить актерам нашего театра, были новы и чужды «старикам» МХТ. Однажды, полушутя, Немирович-Данченко сказал мне:

— Не следовало бы пускать наших актеров на ваши занятия — вы можете их быстро испортить.

Признаюсь, я был польщен этой шуткой.

Двое из актеров нашей труппы проявили особый, подчеркнутый интерес к новым театральным идеям. Они восторгались новым подходом к эстетике и в особенности тем, что духовность становилась конкретной и практически применимой в том виде, как мне удавалось проводить ее в упражнениях и в постановках. Им было известно, что мои духовные знания и, в особенности, технику конкретного применения их в искусстве я вынес из Антропософии, из Эвритмии Рудольфа Штейнера, из его учения о художественной речи и т. п., но об этом они, до поры до времени, умалчивали и с восторгом говорили о моих новых идеях. Но по странной случайности именно эти актеры чаще других отсутствовали на моих занятиях. (О том, что они делали в это время, я узнал слишком поздно).

Наши репетиции, в особенности в начале, носили характер экспериментов больше чем профессиональной работы в обычном смысле слова. Каждая новая постановка давала нам случай исследовать и проработать новые приемы игры и режиссуры. Увлеченный художественной работой, я перестал интересоваться тем, что делалось вне стен театра. Свои общественные обязанности я выполнял плохо, заседаний Моссовета не по-

сещал, а регулярные доклады свои о его деятельности читал по «шпаргалке». Друзья мои не раз предупреждали меня об опасности, которую я навлекаю этим на театр и на самого себя. Мои лекции об искусстве на заводах и фабриках также, как и занятия в театре, были сильно окрашены элементом духовности моего собственного мировоззрения.

С некоторых пор я стал замечать, что встречавшиеся мне члены партии, заводя со мною беседы, неизменно сводили их на одну и ту же тему. Было бы хорошо, говорили они, если бы я стал посещать фабрики и заводы в рабочие часы, пригляделся бы к производству, полюбил бы машину, познакомился поближе с трудом рабочего, вник в образ его мышления, изучил его вкусы, потребности, желания и т. п. Все это дало бы мне, говорили они, новый подход к жизни и помогло бы «развязаться с вредными мистическими уклонами». Делались попытки воздействовать на меня убеждением и тем избежать в будущем иных, нежелательных, мер воздействия.

Однажды в контору театра пришло на мое имя письмо из Наркомпроса. В нем (все еще в дружеской форме) говорилось, что деятельность моя, как руководителя театра признана не вполне удовлетворительной и что я должен прекратить распространение идей Рудольфа Штейнера среди актеров труппы вверенного мне театра. К письму был приложен лист с цитатами из книг Р. Штейнера. Они иллюстрировали собой те мысли, которые я высказывал во время репетиций и занятий моих с актерами. Работа по подбору цитат была сделана тщательно и умно. (Это и была работа тех двух актеров, которые так преданы были м о и м идеям и часто отсутствовали на занятиях... скрываясь за портьерами дверей. Они записывали мои фразы, казавшиеся им подозрительными, и потом находили в книгах Р. Штейнера соответствующие цитаты) .....

Все с большей остротой обстоятельства вынуждали меня к отказу от моего мировоззрения. Борьба становилась беспо-

лезной. Деятельность моя, как актера, режиссера и директора театра постепенно прекращалась сама собой. Общение со мной становилось не безопасным даже для членов нашего театра. Несмотря на то, что в ГПУ вскоре состоялось постановление о моем аресте, мне все же, благодаря особым обстоятельствам, удалось получить заграничный паспорт и я мог легально покинуть Россию. Однако, я все еще не был уверен, что останусь заграницей совсем. Из Берлина я послал в Наркомпрос письмо. В нем я излагал условия, на которых мог бы вернуться. Ответа я не получил, хотя и узнал вскоре, что письмо мое читали, обсуждали и даже одобряли.

16.

Берлин. В праздничном настроении, с маленьким томиком «Гамлета» на немецком языке (был уже выучен первый акт и половина монолога: "Sein oder nicht sein"...), я вошел в контору известного антрепренера, ценителя искусства, делавшего «хорошие дела». Он встретил меня приветливо и, усадив в кресло, чуть было не смутил слишком откровенным комлиментом:

— Не каждый день приезжают к нам из России Чеховы, сказал он.

Маленькую паузу я истолковал, как вступление к важной, радостной беседе. Я глядел на него с любовью человека, добровольно отдающего себя во власть другого. Солидный переплет немецкого томика приятно напоминал о себе, продавливая бок.

— Ну-с, — сказал, наконец, известный антрепренер, — мы будем делать с вами хорошие дела!

Я слегка поклонился и красиво развел руками (дескать: весь к вашим услугам) и тут же почувствовал, что нечаянно с'имитировал Станиславского, в минуту, когда он, сознавая свое величие, хотел быть простым и приятным. «Моиси приезжал с Гамлетом в Москву, а я, вот, в Берлин», — думал я с приятностью. — «Ответный, как бы, визит».

— Танцуете? — спросил вдруг антрепренер и, подождав несколько секунд ответа, повторил свой вопрос, для ясности попрыгав руками в воздухе.

— Я?

— Вы.

Какие же в «Гамлете» танцы? — соображал я, — Фехтование есть... пантомима... Какая неприятная ошибка. Он должен бы знать.

— Зачем танцевать? — спросил я с улыбкой.

— Мы начнем с кабаре. Я сделаю из вас второго Грока*). На инструментах играете? Поете? Ну, хоть, чуть чуть?

— Простите, — перебил я его, холодея, — я, собственно... Гамлет... я приехал играть Гамлета...

— Гамлет не важно, — отмахнулся антрепренер, — публике нужно другое. Условия мои таковы: годовой контракт с о м н о й. Такой-то месячный оклад. Имею право продавать вас по своему усмотрению, включая фильм. Abgemacht?

Не то пауза наступила, не то я провалился куда то. И, как у героя Достоевского, в одну секунду в моей голове пронеслось множество мыслей. В России Репертком и ГПУ два года боролись со мной и не могли снять моего «Гамлета», а здесь, без борьбы, единым словом, человек уничтожает мечту, смысл и цель! В чем его сила? В деньгах? Что же, это и есть капиталистический строй? Вся моя театральная жизнь, с ее борьбой, накоплением идеалов, верой в публику, встала передо мной. Станиславский, Шаляпин, Штейнер больше двадцати лет воспитывали во мне веру в великую миссию театра; в Москве на «Гамлета» ходили с благоговением; Чехословацкое Правительство приглашало меня навсегда в их страну именно для того, чтобы я создал там театр Шекспира, театр высокой трагедии и комедии...

Но, ведь, не вся же публика хочет кабаре, — сказал я вслух, — многие хотят и «Гамлета».

— Два десятка полоумных шекспироведов! Сядут в пустой

*) Грок — известный швейцарский клоун.

зал с книжечками и будут, уткнув носы, следить, верно ли вы произносите текст. Это не «дело». Поверьте мне, милый друг, — он отечески дотронулся до моего рукава, — я знаю публику лучше, чем вы!

Я встал.

— Подумайте, — сказал он.

— Подумаю, — сказал я и мы расстались.

Солидный томик в кармане, по прежнему, напоминал о себе.

Через два дня я снова сидел в конторе известного антрепренера. Он телеграфировал Рейнгардту о моем приезде и теперь показывал мне ответную телеграмму из Зальцбурга. (По длине она, как и все телеграммы Рейнгардта, была похожа на письмо). Рейнгардт «радовался моему приезду» и приглашал в Зальцбург погостить и переговорить о предстоящей работе.

— Поздравляю, — говорил антрепренер, хохоча и тряся мою руку. — Мои условия таковы...

И он изложил свои новые условия, в связи с приглашением Рейнгардта.

Вторая телеграмма из Зальцбурга извещала, что дела заставляют Рейнгардта экстренно выехать в Берлин, где он и надеется встретиться со мной.

Роскошная квартира. Громадные залы, напоминающие дворец. Рейнгард вышел ко мне навстречу и, не выпуская моей руки, подвел к большому письменному столу. Усадив меня, сам он сел напротив. Его большие глаза, смеющиеся, умные и проницательные, глядели на меня. Я смутился.

— Я знаю, — сказал он, — какую роль вы хотите играть.

У меня была затаенная мечта. Тоже шекспировский герой. Никто не знал об этом. Рейнгардт назвал этого героя. Я окончательно смутился.

После двух-трех общих фраз, Рейнгардт спросил о Станиславском и о манере его работы. Узнав, что в МХТ пьесы репетируются месяцами и только две-три новых постановки

включаются ежегодно в репертуар, он опустил глаза и печально покачал головой.

— У нас, у немцев, другой метод.

Жалел ли он нас, или немцев — не знаю.

— Eine wunderbare Rolle! — воскликнул он, вдруг переходя к своему деловому предложению. Его хитрый, интригующий взгляд говорил: «вы в восторге и ждете, что я скажу дальше». Я невольно подчинился этому обаятельному взгляду и с восторгом просил его рассказать мне о роли.

Он предложил мне сыграть роль Skid'a в "Artisten". Skid — клоун (!). Роль траги-комическая. В Берлине Skid'a, с большим успехом, играл В. А. Соколов. Рейнгардт хотел, чтобы я играл в Вене. Я должен был ехать туда немедленно, чтобы, еще до приезда Рейнгардта, заняться с его ассистентом исправлением немецкой речи и учиться клоунским трюкам. Но что же с «Гамлетом»? Уходя я спросил Рейнгардта, почему он не ставит больше классических вещей?

— Не время, — ответил он, — публика не хочет этого сейчас. Но театр еще увидит классиков.

Рейнгардт проводил меня до двери, все так же проницательно следя за каждым моим движением.

Вена. Маленький, четырехугольный, уже не молодой Доктор S., ассистент Рейнгардта, принял меня вежливо, но сухо и строго.

— Herr Professor informierte mich, dass Sie ein berühmter russischer Schauspieler sind. Sehr angenehm, — сказал он и немедленно приступил к исправлению моей речи.

Стоя рядом со мной, он поправлял каждое мое слово таким громким, немецким гортанным голосом, что у меня разболелась голова. Через пол-часа, он уже не столько поправлял мою речь, сколько властно навязывал свои интонации. Я было запротестовал, но он сказал:

— Aber hören Sie mal, lieber Tschekhoff, das muss unb dingt s o gesprochen werden.

И снова вкрикивал в меня свои гортанные звуки. Я начинал и навидеть его.

— Aber lieber, lieber Herr Tschekhoff, настаивал Dr. S., — Sie verstehen ja nicht! Das ist doch kein Shakespeare! Kein "Hamlet" !

Я насторожился.

Д-р S. предложил мне прослушать и сравнить шекспировскую речь и ту, которую он старался вбить в меня.

Вскинув руки кверху, он закричал:

"O schmölze doch dies allzufeste Fleisch"... — и от крика налился кровью. Когда его напряжение дошло до крайних пределов, он стал изгибаться, отчего его коротенькая, четырехугольная фигурка стала еще меньше. Он бил себя сверху кистями рук по голове и задыхался от недостатка воздуха. «А не уехать ли мне назад» — подумал я, стараясь не слышать голоса д-ра S., но вспомнив, что я заграницей и ехать «назад» мне некуда — отогнал бесполезную мысль.

— Das ist Shakespeare, — сказал мокрый и красный д-р S. — jetzt hören Sie mal zu . . .

Он стал быстро и однотонно произносить длинные немецкие фразы Skid'a, внезапно повышая голос на последнем слове перед запятой, или понижая его перед точкой. При этом коротенький указательный палец его то взлетал вверх, то опускался вниз. Д-р S. мучил меня часа четыре и, наконец, доведя и себя до мигрени, ушел домой. На другой день начались регулярные уроки акробатики и скоро изнурили меня и физически. Прыгая через собственную ногу (которую я же держал в руке), я мучился от стыда и от боли в мускулах. Отчаяние помогало мне вскакивать на стол без разбега и «рыбкой» перелетать через предметы. С приездом Рейнгардта, надеялся я, начнутся репетиции и судьба моя изменится к лучшему, но труппа приехала без Рейнгардта и д-ру S. было поручено ввести меня в пьесу. Со дня приезда труппы и до премьеры в Theater an der Wien оставалось всего восемь дней. Skid, главная мужская роль, проходит через все четыре акта и в каждом из них Skid говорит по многу и по долгу. Чужой мне язык, интонации д-ра S., акробатика и ужас перед надвигавшейся премьерой мешали заучиванию текста. В при-

ехавшей из Берлина труппе оказалась молодая актриса, так же как и я впервые выступавшая в "Artisten". Д-р S. начал заниматься с ней и мне стало несколько легче. Актеры на репетициях скороговоркой болтали надоевшие им роли и я с трудом улавливал реплики. За несколько дней до премьеры приехал Рейнгардт и начались «настоящие репетиции». Они происходили по ночам на его квартире. Под утро, когда наступало нервное возбуждение, актеры оживлялись и все выходило "ausgezeichnet". К изумлению моему, Рейнгардт не спешил и не для того назначались ночные репетиции, чтобы сделать больше в остававшиеся несколько дней. Нет, они назначались с целью вызвать под утро то возбуждение, которое и делало репетицию "ausgezeichnet". Это был прием, которым Рейнгардт часто пользовался в своей работе. Часов в шесть утра, когда было уже совсем светло, актеры шумной толпой высыпали на пустынные улицы Вены и долго бродили по городу, обмениваясь впечатлениями ночи. В центре шел д-р S. в длинном, тяжелом, квадратном, как сам он, пальто.

— Mut, Mut, lieber Herr... Herr...

— Tschekhoff — подсказывал я, стараясь произнести свою фамилию с акцентом.

— Mut, liber Herr Tschekhoff, — ободряли меня актеры. Но Mut у меня не было уже давно. Я чувствовал, что лечу в пропасть, мне было стыдно и я то злился, то впадал в апатию.

Как я завидовал новой актрисе! Не зная роли и, повидимому, не отдавая себе ясного отчета в том, что именно она играет — она повторяла все ту же серию знакомых театральных приемов, нанизывая их, как бусинки на тонкую ниточку, а когда эта ниточка порывалась, она, мило вертя юбочкой и хохоча, трепала по щеке д-ра S.

— Aber meine Herrschaften, — говорил, смущаясь, д-р S. и еще усерднее начинал заниматься с ней.

Генеральная репетиция накануне премьеры. В первый раз костюмы, гримы, свет и полные декорации. По сцене бегают рабочие, два красных и раздраженных помощника режиссера,

с достоинством ходит д-р S. и суетятся полу-загримированные, полу-одетые актеры. Я плохо узнаю их и мне начинает казаться, что среди них есть новые лица, до сих пор не принимавшие участия в репетициях. Приглядевшись, я замечаю целую толпу новых персонажей загримированных и одетых, как и мы все: это настоящие клоуны и артисты кабаре. Рейнгардт пригласил их для того, чтобы создать атмосферу цирка и позабавить публику. С тоской и нежностью вспоминаю я далекий, любимый МХТ, с его атмосферой. Станиславского, на цыпочках ходящего за кулисами, Немировича-Данченко, всегда строгого, но такого доброго и ласкового в дни генеральных репетиций, трепет и волнение актеров и особую, незабываемую тишину этого, единственного в мире, театра. Весело покрикивая и смеясь, акробаты, жонглеры и клоуны вертелись, скользили по полу не передвигая ног, падали не сгибаясь, складывались в комочки, спотыкались в воздухе, легко подкидывали тяжелые предметы и не могли сдвинуть с места легких, и все это красиво, смешно и четко. «Боже мой, что же будет с моим неуклюжим прыжком через ногу и жалкими «рыбками» среди этой блестящей кампании!» Но я был так утомлен и подавлен, что у меня не хватило энергии просить Рейнгардта об отмене моих «трюков». Бестолковая, нервная репетиция началась. Рейнгардт появлялся то на сцене, то за кулисами, то в зрительном зале. Он волновался и раздражался не меньше других, но искусно прятал свое возбужденное состояние под маской холода и покоя. Даже двигался он медленнее, чем обычно. Репетиция прерывалась каждые несколько минут. На игру никто не обращал внимания. Свет, декорации, костюмы, вставные номера клоунов и акробатов заняли все время. Мой первый «трюк»: прыжок на стол без разбега. Я с грохотом лечу на пол. Испуганный крик партнерши, крик Рейнгардта в зрительном зале и боль в содранных коленях и локтях. Только тут Рейнгардт, заметив, что носки моих клоунских сапог были фута в полтора длиной, отменил все мои «трюки». Репетиция кончилась на рассвете. Вечером премьера. «Не напиться ли?» — подумал было я,

но и на это не было достаточно воли. С тупым равнодушием вышел я на сцену. Циркачи и акробаты имели шумный успех. Прошли первый и второй акты. В третьем — центральная сцена клоуна Skid'a: он произносит эффектный, траги-комический монолог.

Я начал. Странно прозвучали для меня самого несколько первых фраз Skid'a: «совсем не гортанно, не по немецки... сердечно... должно быть это и есть "russische Stimme" — пронеслось в моем сознании. «И как просто он говорит, совсем не так, как на репетиции. Это должно быть, оттого, что я не играю. Надо бы сделать усилие... нет, подожду еще минуточку, сил нет... монолог такой длинный». Skid говорил и мне стало казаться, что я в первый раз по настоящему понимаю смысл его слов, его неудачную любовь к Bonny, его драму. Усталость и покой сделали меня зрителем своей собственной игры. «Как верно, что голос его такой теплый, задушевный... Неужели от этого создалась такая волнующая, напряженная атмосфера? Зрители насторожились, слушают внимательно... и актеры слушают... и Bonny. На репетициях она занималась только собой. Как же я не видел какая она славная... конечно Skid любит ее!». Я следил за Skid'ом со вниманием. Bonny запела у рояля грустную песенку. Я взглянул на сидевшего на полу Skid'a и мне показалось, что я «увидел» его чувства, его волнение и боль. И манера его показалась мне странной: то он внезапно менял темпы, то прерывал свои фразы паузами, неожиданными, но такими уместными, то делал нелогичные ударения, то причудливые жесты... «Клоун профессионал» — подумал я. В первый раз я увидел в партнерах настоящий живой интерес к словам и к душевной драме Skid'a. С удивлением я заметил, что начинаю угадывать, что произойдет через мгновение в его душе. Тоска его росла. Мне стало жалко его и в эту минуту из глаз клоуна брызнули слезы. Я испугался! «Это сантиментально, не надо слез, останови их!» Skid сдержал слезы, но вместо них из глаз его вырвалась сила. В ней была боль, такая трагичная, такая близкая и знакомая человеческому сердцу... Skid встал,

странной походкой прошелся по сцене и вдруг стал танцевать, по клоунски, одними ногами, смешно, все быстрее, быстрее... Слова монолога, жаркие, четкие, острые разлетались по залу, уносились в партер, к ложам, на галлерею... «Что это? Откуда? Я не репетировал так!» Партнеры встали с мест и отступили к стенам павильона. «И они не делали этого раньше!» Теперь я мог руководить игрой Skid'a. Сознание мое раздвоилось — я был и в зрительном зале и около себя самого и в каждом из моих партнеров. Я узнал, что чувствуют, чего хотят, чего ждут они все. «Слезы!» — подсказал я танцующему Skid'у. «Теперь можно!» Усталость исчезла... легкость, радость, счастье! Монолог подходит к концу... как жалко, так много еще можно высказать, такие сложные, неожиданные чувства поднимаются в душе, так гибко, послушно становилось клоунское тело... И вдруг, все существо и мое и Skid'a наполнилось страшной, почти непереносимой силой! И не было преград для нее — она проникала всюду и могла все! Мне стало жутко. Сделав усилие воли, я снова вошел в себя и по инерции договорил две-три остававшиеся фразы монолога.

Действие кончилось. Опустили занавес. Публика, Рейнгардт и даже сам д-р S. щедро вознаградили меня за мучения последних дней. Я был благодарен и растроган. Теперь я, что называется, «нашел роль», мука прошла и я все с большим удовольствием стал играть своего клоуна.

Уже несколько лет я старался привести в порядок свой театральный опыт, систематизировать наблюдения, разрешить ряд интересовавших меня вопросов. И в этом смысле только что описанное переживание оказало мне большую услугу. В то время меня занимал вопрос о вдохновении и о пути к нему. Я был близок к его решению и прежде, но теперь правильность его подтвердилась для меня непосредственным переживанием. (В несколько более слабой степени оно и раньше было знакомо мне).

В человеке одаренном постоянно происходит борьба между его высшим и низшим «Я». Каждое из них ищет господства над другим. В обыденной жизни победителем оказы-

вается низшее, со всем его честолюбием, страстями и эгоистическим волнением. Но в творческом процессе побеждает, (должно побеждать), другое «Я». Низшее вообще склонно отрицать существование высшего и приписывать себе его силы, способности и качества. Напротив, высшее признает существование своего двойника, но отрицает его рабовладельческие и собственнические инстинкты. Оно хочет сделать его проводником своих идей, чувств и сил. Пока низшее говорит: «Я!» — высшее принуждено молчать. Но оно может освободиться от него, оставить его, выйти (частично) из него и тогда оставленное «Я», в свою очередь, умолкает, замирает. Наступает род раздвоения сознания: высшее становится вдохновителем, низшее — проводником, исполнителем. Интересно, что высшее само в это время также становится проводником. Оно не замыкается эгоистично в себе и готово признать истинный источник творческих идей в сферах более высоких. Оно со стороны наблюдает и направляет низшее, руководит им и со-чувствует воображаемым страданиям и радостям героя. Это выражается в том, что актер на сцене страдает, плачет, радуется и смеется и вместе с тем лично остается не затронутым этими переживаниями. Плохие актеры гордятся тем, что им иногда удается так «пережить» на сцене, что они себя не помнят! Такие актеры ломают мебель, вывихивают руки партнерам и душат своих любовниц во время игры. «Переживающие» актрисы часто впадают в истерику за кулисами. И как устают они после спектакля! Актеры же, играющие с раздвоенным сознанием, с «сочувствием» вместо личных чувств — не устают, наоборот, они испытывают прилив новых сил, оздоровляющих и укрепляющих. Вместе с вдохновением они притекают из высшего «Я».

Наблюдая игру Шаляпина, например, я всегда «подозревал», что в лучшие свои минуты на сцене он жил одновременно в двух различных сознаниях и играл, не насилуя своих личных чувств. Сын его, мой друг, Федор Федорович Шаляпин, подтвердил мои догадки. Он хорошо знал своего отца, как худож-

ника, много беседовал с ним и глубоко проникал в его душу. Вот что сказал он мне о своем отце:

— Мой отец был умный актер... (и с улыбкой прибавил) — умный и хитрый! В каком бы приподнятом, творческом состоянии он ни был — он никогда не терял контроля над собой и всегда следил за своей игрой, как бы со стороны. «В том то и дело», — говорил он мне, — «что Дон Кихот у меня играет, а Шаляпин ходит за ним и смотрит, как он играет!» Он всегда отличал себя от того образа, который играл на сцене. «Тебе кого жаль, отца, или Кихота» — спросил он моего семилетнего брата Борю*), когда тот плакал и целовал отца, после представления «Кихота».

И на тему о «с о - ч у в с т в и и» важные слова своего отца передал мне Федор Федорович: «Я могу, как зритель, в зале плакать, что умирает Дон Кихот, но и играя, я могу т а к ж е плакать, что он умирает». Или: «Это у меня не Сусанин плачет, это я плачу, потому что мне жаль его. Особенно когда он поет: 'прощайте дети'. Но слезы приходится иногда и сдерживать — мешают петь. Надо контролировать себя».

— Однажды, будучи еще молодым, — рассказал Федор Федорович, — отец мой, где то в провинции, слушал оперу «Паяцы» и очень удивлялся, видя, как певец, исполнявший Канио, в арии «Смейся паяц», плакал настоящими слезами. Ему даже, кажется, понравилось это. Но когда он пошел, после окончания акта, за кулисы и увидел, что и там тенор продолжал плакать безудержно, отец сказал: «Не надо т а к 'переживать'! Это не верно и не профессионально. Этак через два сезона и чахоткой заболеть можно!» Когда отец плакал на сцене, он плакал от сочувствия к образу, а себя никогда не доводил до истерики, как Канио, например. Он говорил: «Я об-плакиваю свои роли». Но этих слез никто не видел. Он стеснялся их, скрывал. Это было его интимное дело, не на показ!

---

*) Художник Б. Ф. Шаляпин.

У Штейнера я также нашел указания на факт раздвоения сознания у больших художников. Известно, например, что Гете обладал способностью непрестанно наблюдать самого себя со стороны, со всеми своими переживаниями (даже в моменты любви!). И только Станиславский прямо не говорил об этом. Но часто ссылался на «бессознательное» в творчестве и, может быть, это можно понять, как недоговоренную мысль его о раздвоении сознания в творческом состоянии.

В виду того, что во время премьеры "Artisten", утомление, равнодушие, безнадежность и примиренность с неизбежной неудачей — выключили, непроизвольно, мою личность с ее тщеславием, страхом, нервностью и часть высшего «Я» освободилась — создались условия для вдохновения.

У больших художников раздвоение сознания происходило само собой, современные же актеры могут научиться этому. (Подробно я излагаю свои мысли по этому поводу в книге о технике актера).

Возвращаясь однажды с д-ром S. со спектакля, я заметил, что он был особенно грустен.

— Зайдите ко мне, lieber Tschekhoff, — сказал он. — Темно: жена и дочери уже спят. Входите.

На столике между нами он поставил бутылку коньяку и выпил несколько рюмок. Четырехугольная голова его опустилась на руки и повисла над столом. Прошло минут десять. Не спит ли он? Может быть мне лучше тихонько уйти? На полированном столике заблестели две капли. Слезы катились по его щекам. По немецки, ударяя на каждом слове, он тихо сказал:

— Я люблю ее... — и всхлипнул.

Вспомнив, как о н а, вертя юбочкой, трепала его по щеке, я понял, о ком он говорит. Ответив неопределенным восклицанием и выждав приличную паузу, я заговорил о Рейнгардте. Не поднимая головы и не отирая слез, д-р S. дал мне понять, что он сам не хуже Рейнгардта и что тому везет, а ему — нет. Я заговорил о театре. Д-р S. сказал, что любит режиссуру потому, что она дает ему власть над актерами. Мне стало

жалко его. Он проводил меня до дома и мы «сдружились». Но когда в Берлине, ассистируя Рейнгардту в другой его постановке, он начал проявлять власть над старым, седым актером, игравшим лакея — я устроил ему скандал, тут же на сцене, и «дружба» наша кончилась.

В течении двух лет я мог наблюдать работу Рейнгардта. Он был последним представителем театра «милостью Божией». Об'ективные знания сценических законов и техника актерского творчества — были чужды его вдохновенной душе. Тонкий вкус, богатая фантазия и блестящая театральная «выдумка» выработали для него его собственные, рейнгардтовские привычки и приемы. Ими он и пользовался всегда, сам не понимая их значения и не умея передать их другим. Нельзя передать то, чего не понимаешь, нельзя передать стихийную силу таланта, можно передать только ш к о л у. Но школы Рейнгардт не создал. Он умел блестяще п о к а з а т ь актеру, проиграть перед ним его роль, проговорить для него его текст. Но дать актеру технические средства для достижения желаемых результатов — он не мог.

Поражала меня в Рейнгардте его способность произносить для актера слова его роли так, что, казалось, укажи он пути к развитию этого искусства выразительного слова и начнется новая эра в театре. Но он не указал этих путей. Больше того: он просмотрел, что пути к новому, выразительному слову уже указаны. Его же родной язык был первым, на котором Рудольф Штейнер продемонстрировал новые методы художественной речи. Многое угадывал Рейнгардт интуитивно. В чем заключалась чарующая сила его слова, когда он вдруг вставал со своего кресла на авансцене, становился на место актера и играл за него, произнося текст его роли? В том, что к а ж д ы й произнесенный им звук, к а ж д а я буква в слове наполнялись особой выразительностью, свойственной только э т о й букве, э т о м у звуку человеческой речи! Актеры любят «ловко» произнесенные слова, но они не знают (и пока, кажется, не хотят знать), чем достигается этот эффект. В силу своего таланта, Рейнгардт мастерски владел отдельными зву-

ками речи, то выражая ими характер героя, то придавая своей речи упругость и пластичность, то пользуясь ими, как живописец красками, то, как музыкант, сочетая их в мелодии. Но, все же, как богато и полно то, что дал Рудольф Штейнер, по сравнению со случайными находками Рейнгардта. Разве не важно было бы добросовестному актеру узнать о том, как в течение многих и многих тысячелетий образовывалась человеческая речь? «А», «Е», «И», «О», «У» — все это отдельные, самостоятельные существа, с индивидуальной душой и им одним свойственным звуковым содержанием. Все эти «индивидуальности» тысячелетиями воздействовали на человека, развивая и формируя аппарат его речи. Все они жили вокруг человека, ища своего выражения через человеческую речь. Материалистически настроенному актеру нашего времени трудно понять, что они, эти звуки, существовали до того, как человек научился произносить их. В явлениях и силах природы жили они вне человека и, как его реакция на них, — в нем самом. Человек глубокой древности жил в тесном и близком общении со своим окружением. Он проникал в него не разсудком, как мы, но всем своим существом. Он слышал раскаты грома и делал усилия понять их. Он искал звук, подобный раскатам грома. Он начинал имитировать их и его речь, все с большей отчетливостью, формировала звук: «ррр». Жест помогал ему в этом. Все, что вращалось, катилось, кружилось, все, что было спирально, округло, завернуто, все это он имитировал в жесте, всем телом, руками, ногами. И все это было в нем: «ррр»! Жест входил в звук и жил в нем, как сила. Целый мир становился понятен ему через «Р». Другой мир открывался ему во всем том, что лилось, наливалось, летело, цвело и ласкало, и он проникал в него, подражая ему в жестах и звуках: так формировал он постепенно звук «Л» в своей речи. Все согласные, говорит Рудольф Штейнер, результат имитации внешнего мира. Гласные звуки теплее согласных. В них нашли свое выражение чувства, желания, страсти человека, формировавшего свою речь. Когда в изумлении или благоговении весь человек открывался навстречу

явлению, он восклицал: «А!». В «А» — жест раскрытия, принятия. Когда же, наоборот, он пугался, стараясь замкнуться от того, что страшило его, он произносил: «У». Два противоположных жеста живут в этих звуках. В словах, еще мало испорченных, можно слышать, как отдельные звуки выражают собой содержание слова. Жест закрытия и чувство страха живут в разных вариациях в словах, где звучит «У»: мука, буря, ужас, туча, труд, трус. То же относится, разумеется, и к другим языкам. Немецкие слова: Furcht, Sturm, Blut, dumpf, dumm, dunkel, или английские: doom, boor, brutal, cruel также выражают вариации страха и закрытия. Жест раскрытия и чувство радости переживаются в словах со звуком «А»: дар, рай, правда, благо; Wahrheit, Gabe, Strahl, Schlaf; star, grant, calm, glance и т. д. Сколько новой творческой радости ждет будущего актера, когда он поймет, что жест, скрытый в звуке, дает не только выразительность, но и силу его речи. В Эвритмии Рудольфа Штейнера он найдет эти жесты. Путем упражнений он в состоянии будет пережить, например, охватывающий, любовно познающий жест в звуке «О»; укрепляющий, утверждающий себя, стремящийся в даль жест звука «И»; или сосредоточенно, мудро проникающий в явления жест, заключенный в «М»; жест «К» — ломает, рушит, крушит или, взятый в духовном аспекте, он преодолевает сопротивление материи, творя в ней новые формы. Для будущего актера, его родной язык, так изученный, постепенно станет ключем к психологии самого народа. Но и характер других народов станет через звуки раскрываться перед ним. Что живет, например, в звуке русского слова «Я»? В нем два звука: слабое «И» (Й) в начале и сильное «А» в конце: «ЙА». В звуке «Й» только слабо намечается для русского человека сила самоутверждения, свойственная этому (И) звуку. Русский человек, едва коснувшись самого себя, теряется, расплывается в «А», ища слияния с миром, с космическим своим окружением. Его самосознание уводит его о т земли. Разве не высказывается в этом прирожденная нашему народу тенденция к исканию, к жизни в проблемах? Толстой, Достоев-

ский, Соловьев, разве они не посвятили себя, как истинно русские, исканию Бога? Через нравственное укрепление воли проходил свой русский путь Толстой; сквозь муки и страсти русского сердца старался разглядеть Бога Достоевский; ясная, четкая логика Владимира Соловьева стала русской христианской мыслью. Как бы сильно, упорно, настойчиво не произносил русский человек свое «Я», он все же только усилит «А», раскрывающее его душу познанию высшего. «IO» (ио) скажет итальянец. Прислушайтесь, как крепко стоит он на земле в своем «I». Но и как горячо, как сильно любит он землю, на которой стоит: в «О» он обнимает и ее и солнце и свет и тепло и воздух и краски и звездное небо. О чем говорит нам английское «I» (ай)? Разве оно не полная противоположность русскому «Я» (йа)? Достигши космических сфер в «А», англичанин спешит назад к земле в «И» (й). В сфере земли он дома. Духовные знания нужны ему для земных целей. В нем он находит свой упор и смысл своего существования. Англичанин, американец — истинные творцы внешней цивилизации. В этом, в настоящую эпоху развития человечества, изживается их народный гений. Их самосознание ведет их от мира к земле. Как бы сильно ни произносил англичанин свое «I» (ай) — он не может долго задержаться на звуке «А», он должен поспешно спуститься к «И» (й), в то время, как русский может долго пребывать в своем «А». И плакать и смеяться может русский в этом, ничем не ограниченном, широком, убегающем от него самого «Й-ААА»! Английское «I» (ай) — не допускает эмоций. Оно земное, короткое и решительное. Немецкое «ICH». Какая сила звучит в этом жестком, пронизывающем немца самосознании! «ICH» требует ударения на «I», иначе оно останется невыразительным. Прежде всего, лучше и больше всего знает и ценит немец себя самого. Он центр, из которого развивается для него вся его деятельность и все познание. В «CH» — он поднимается от земли, ищет своих идеалов, философствует, морализирует, создает свою систему отвлеченных понятий, но никогда не теряет земли и крепко, крепко стоит на ней! Как ни сильно

итальянское «I» (и) — оно, все же, слабее немецкого. Итальянец любит землю, немец владеет ею. Упрямое, гордое, потенциально опасное немецкое «I» (и) уравновешивается его познающим «СН». Убейте это «СН» в немецком самосознании и немец проявит разрушительную силу своего агрессивного «I» (и). Жесткое «I» (и) — станет жестоким. Разве не это мы видим сейчас? Разве все мы не от того страдаем, что у немецкого народа отняли его «СН», его идеалистическую философию и заменили ее суррогатом?

Так говорит мудрость языка немецкого, английского, русского, всякого. Язык, слово, главное орудие актера на сцене, оставлено им в пренебрежении. А между тем, какой материал накоплен за последние десятилетия, как много дано Рудольфом Штейнером и разработано его последователями, учеными и художниками в области речи. Кто из современных актеров и режиссеров знает об этом? Кто интересовался школами, преподающими новую технику речи на основе открытий, сделанных Рудольфом Штейнером? Кто пробовал на себе силу данных им упражнений? Уже давно школы Рудольфа Штейнера открывались в России, во Франции, в Англии и, разумеется, в Германии, а Рейнгардт все еще ничего не хотел знать о них. Его увлекал его собственный гений. Но кто заменит нам Рейнгардта? Где гении в современном театре? Их больше нет. Никто после него уже не будет иметь права сказать про себя самого, как сказал он, однажды, в разговоре со мной, пробегая историю театра новых времен:

— Был X, — сказал он, — потом пришел У, его сменил Z, потом пришел Я.

Какую самоуверенность нужно иметь современному актеру для того, чтобы отказавшись от школы, от знаний, от упорной работы, полагаться, как Рейнгардт, на гений, на случайные вспышки интуиции. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что все таки русский актер будет первым, кто захочет новой правды в театре. В какую бы тьму и неправду ни завел русского актера чуждый ему материализм — он, рано или поздно, снова найдет себя самого и останется верен своим исканиям.

Язык, художественная речь, станет проблемой для русского актера и он уже не проглядит то ценное, что ждет его в этой области.

Манера работы Рейнгардта была мне чужда, в особенности в первое время. Готовя постановку, он продумывал ее в одиночестве у себя в кабинете. Он записывал мизансцены, общий план постановки и детали игры, создавая "Regiebuch". По ней его доктора-ассистенты вели подготовительную работу на сцене с актерами. Но когда являлся сам Рейнгардт (поздно, почти к концу репетиции), все менялось в его присутствии. Доктора, с достоинством, отходили на задний план и актеры, хотя и утомленные, оживлялись и репетировали еще много часов со своим любимым Профессором. Правда, это не мешало некоторым из них, в особенности пожилым и почтенным, в каждую «свободную» минуту решать крестословицы и читать газеты, которыми были набиты их карманы. Но все же общая атмосфера репетиции поднималась. Рейнгардт говорил мало, но актеры сами вычитывали в его выразительном (и всегда чуть смеющемся) взгляде либо похвалу, либо осуждение себе. Наблюдая за ним, я заметил: он не только смотрел на актеров и слушал их. Он непрестанно играл и говорил за них внутренне. Актеры чувствовали это и старались угадать, что хочет Профессор от них. Это возбуждало их актерское честолюбие, их чувство соревнования и желание достигнуть того, что могло бы удовлетворить их Профессора. Они делали внутренние усилия и роли их быстро росли. Так молча режиссировал Рейнгардт одним своим присутствием, одним взглядом и достигал больших результатов.

Рейнгардт, благодаря своему таланту, обаянию своей личности, внутренней силе и поистине королевской манере держаться — всегда производил величественное впечатление. Никому не приходило в голову, что он мал ростом и некрасив лицом. И я никогда не думал об этом, пока одно обстоятельство не заставило меня «увидеть» Рейнгардта и заволноваться. Предстояла встреча Рейнгардта со Станиславским и я не на шутку испугался за моего любимого Макса Рейнгардта. Ста-

ниславский гигант, с львиной седой головой, и Рейнгардт, едва ли достигающий до его плеча — встанут рядом. Что будет? Неужели Профессор не выдержит сравнения? Это было в один из приездов Станиславского в Берлин. Рейнгардт давал в его честь ужин. Приглашенных было не больше десяти человек. Торжественная атмосфера ожидания. Множество фотографов. С изысканным вкусом накрытый стол во «дворце» Рейнгардта. Если не ошибаюсь, это была первая встреча великих режиссеров. Мой страх возрастал с каждой минутой. Обоих я любил глубоко и никому не желал торжества над другим. Маленький Рейнгардт сидел в большом кресле. Боже мой, как мал он казался мне в эту минуту! Как я умолял его, мысленно: встать! Как хотел, чтобы никто, кроме меня, не заметил этой несносно-большой спинки, с резной короной, где то высоко, высоко над головой Рейнгардта, делавшей его как бы старинным портретом, сползающим вниз в своей позолоченной раме. Громадный, пустой зал еще больше подавлял моего маленького любимца, распятого на кресле. В соседней зале послышались голоса и шаги. Приехал Станиславский. Рейнгардт встал... (нет, мал, ужасно мал!)... и медленно, очень медленно (молодец!) пошел к двери. Лакеи раздвинули тяжелые портьеры и показалась фигура седовласого гиганта. Он остановился в дверях, щурясь подслеповатыми глазами и улыбаясь, еще не зная кому. Пауза. А Рейнгардт все шел и шел! Одна рука в кармане. Уже присутствующие, не выдерживая паузы, улыбались и неуверенно изгибались в полупоклонах. А Рейнгардт, не прибавляя шага, все шел и шел. Он уже подходил. Вдруг Станиславский разглядел его. Он бросился к нему навстречу, стал жать его руку и, не зная немецкого языка, бормотал очаровательную бессмыслицу. Левая рука Рейнгардта грациозно выскользнула из кармана и красиво повисла вдоль тела. Правая вдруг вытянулась и, не то заставила на шаг отступить Станиславского, не то отклонила назад Рейнгардта. Образовалась дистанция. Рейнгардт поднял голову и взглянул вверх на Станиславского. Но как? Так, как смотрят знатоки в галлереях на картины Рафаэля, Рембрандта,

да-Винчи, не унижаясь, не теряя достоинства, наоборот, вызывая уважение окружающих, любующихся «знатоком», пожалуй, не меньше, чем картиной. Несколько молчаливых секунд отсчитало мое бьющееся сердце. И чудо совершилось на глазах у всех: все еще держа дистанцию, Рейнгардт стал расти, расти и вырос в прежнего, величественного, исполненного королевского достоинства Макса Рейнгардта! Маг и чародей победил! (Как мог я сомневаться в тебе!). Он повел своего гостя через залу и чем суетливее вел себя Станиславский, тем медленнее и спокойнее двигался Рейнгардт. Оба были прекрасны: один, в своем смущении и детской открытости, другой — в уверенном спокойствии «знатока». Все поняли тон, продиктованный встречей: надо быть Рейнгардтом, чтобы знать, кто такой Станиславский! Всем стало легко и искренне радостно. Засуетились фотографы, отодвинули кресло (теперь такое красивое и безопасное) и поставили обоих великанов рядом. Но тут произошло маленькое qui pro quo. Рейнгардт протянул руку и поставил меня рядом с собой. Он хотел, чтобы сняли нас троих, очевидно желая этим проявить внимание к Станиславскому, оказывая честь его актеру. Но фотографы имели на этот счет свои соображения. Они снова задвигали кресло, перешептываясь наспех, засуетились около Станиславского и Рейнгардта и, ловко оттеснив меня в сторону, защелкали аппаратами. Эпизод этот, после предшествовавшего напряжения привел меня в смешливое состояние, с которым я не мог справиться в течение почти всего вечера. Боюсь, что я уже неприлично хохотал, когда Рейнгардт и Станиславский обменивались речами — один на немецком, другой на русском языке, не понимая друг друга. Отвечал Станиславский. Он так смущался, что даже русские слова произносил не по русски и трудно было уловить смысл его речи. Двое из присутствующих говорили по русски и я искал сочувствия в их взглядах, но они упорно и сосредоточенно смотрели под стол. К концу вечера Станиславскому готовился сюрприз. Великолепный автомобиль ожидал его у под'езда рейнгардтовского

«дворца». Это был подарок Рейнгардта своему гостю. Вероятно по озорству характера, я, еще во время вечера, шепнул Станиславскому о том, что ожидает его. Испуг выразился на его лице. Но, не желая огорчать Рейнгардта, он сделал вид, что ничего не знает. Вечер закончился. Один из директоров рейнгардтовских берлинских театров, говоривший по русски, проводил Станиславского вниз. Увидев «свой» автомобиль, Станиславский растерялся: он не был уверен, знает ли он уже, или еще нет о сюрпризе. Шофер распахнул дверцу и директор, сняв шляпу, преподнес Станиславскому автомобиль от имени Рейнгардта. Станиславский развел руками, отступил от автомобиля и стал играть сначала изумление, потом радость, потом благодарность. Когда церемония окончилась, утомленный и несчастный Станиславский сел в автомобиль. Он попросил меня доехать с ним до гостиницы. С тоской и испугом он сказал:

— Боже мой, Боже мой, что же мне делать с этим?

— С чем? — спросил я.

— Да вот, с этим... мотором? Все это очень хорошо и трогательно, но куда же я его дену? Везти с собой невозможно. Оставить тут, тоже... как то... не знаю. Ужас, ужас! И зачем он сделал это!

Под'ехав к гостинице, Станиславский, с растерянным выражением лица, прижав руку к груди, несколько раз поклонился шоферу и, простившись со мной, скрылся в дверях гостиницы.

Как обаятелен бывал Станиславский в минуты растерянности или рассеянности. Он делал и говорил странные вещи, никогда сам не замечая их. Однажды, в Берлине, я зашел к нему, когда он ожидал какого то графа, могущего скомпрометировать его перед советской властью своим посещением. Когда я вошел, лицо Станиславского выражало растерянность.

— Садитесь, Миша, — сказал он и, посмотрев на часы, прибавил, — сейчас еще один дурак придет...

Помню, однажды, в Москве он принимал у себя в Каретном Ряду какого то знатного иностранного гостя. Тогда он тоже

был несколько растерян. Усадив гостя около стола, неудобно и наотлете, сам он сел на некотором расстоянии от него и с неопределенной улыбкой, молча, стал смотреть ему в глаза. Раза четыре он наклонился всем туловищем вперед, не то приветствуя гостя, не то поудобнее усаживаясь на стуле. Потом, помолчав, он кашлянул и, глядя гостю в ухо, сказал:

— Может вы хотите пи-пи?

Со Станиславским мне приходилось часто встречаться в Берлине: он читал мне отрывки из своей книги, которую писал тогда*).

Скоро приехал и Мейерхольд, с талантливой актрисой его театра Зинаидой Райх. Я виделся и с ними. Много раз, еще в Москве, Мейерхольд приглашал меня играть в его театре. Мне всегда хотелось приготовить роль под его режиссерством. Теперь он возобновил свое предложение. Зная мою любовь к «Гамлету», он сказал, что по возвращении в Москву будет ставить эту трагедию. Он начал рассказывать мне план своей постановки и, когда увидел, что я слушаю с увлечением, — остановился, хитро покосился на меня из за большого своего носа и сказал:

— А вот и не расскажу. Вы украдете. Приезжайте в Москву, поработаем вместе.

Отношения мои с Зинаидой Райх не были такими дружескими. Мы часто ссорились с ней, но Мейерхольд делал вид, что не замечает этого. Из Москвы он писал мне и звал к себе, гарантируя свободу в творческой работе, но я решил остаться заграницей. Это окончательно раздражило Зинаиду Райх. Она написала мне жестокое и оскорбительное письмо, назвав меня «предателем». С тех пор перестал писать и Мейерхольд.

Звали меня в Малый Театр и в МХТ. Приезжал Качалов и говорил, что один из обитателей дома, где он живет, умер и я, в случае возвращения, могу получить полторы комнаты.

Проводив Станиславского и Мейерхольда, я с грустью почувствовал, что стал немецким актером.

М. Чехов.

*) "An Actor Prepares."

ИСТОКИ

(ТОМ ВТОРОЙ)

I.

Михаил Яковлевич выѣхал в іюнѣ из Петербурга на Кавказскія Минеральныя Воды. Он в леченіи не нуждался, но стал полнѣть и в послѣднее время плохо спал. Кромѣ того, в іюнѣ, точно по стадному чувству, одновременно уѣзжали всѣ его друзья и знакомые, за исключеніем немногих оригиналов, с вызовом говоривших, что они любят Петербург «именно тогда, когда в нем никого нѣт». На самом дѣлѣ, из огромнаго города лѣтом уѣзжало каких-нибудь пять-шесть тысяч человѣк; они жили так суетливо-шумно, что их отсутствіе создавало впечатлѣніе, будто город пуст.

Заграницу в 1879 году ѣздили почти исключительно богатые люди: послѣ русско-турецкой войны курс рубля упал. В обществѣ повторялось словечко Салтыкова: «Еще ничего, если за рубль дают в Европѣ полцѣны. А вот что, когда за рубль будут в Европѣ давать в морду?» Почему-то всѣ повторяли словечко с удовольствіем. Войны за освобожденіе славян, которая была главной причиной понижения русской валюты больше всего требовало общество или, по крайней мѣрѣ, наиболѣе вліятельная его часть. Однако вся отвѣтственность была возложена на правительство. Его теперь ругали уже автоматически, почти всѣ и почти за все: как подѣлом, так и без основанія. Оно очень надоѣло.

Черняков обычно заграницу уѣзжал неохотно. Там его никто не знал, кромѣ нѣскольких профессоров. На русских же

---

*) См. 4-ую, 6-ую, 7-ую и 8-ую книги «Новаго Журнала».

курортах Михаил Яковлевич неизмѣнно встрѣчал интересных людей и почитателей. Когда он, знакомясь, глуховато-низким голосом внушительно называл свое имя, люди — не всегда, конечно, но часто, — говорили: «Профессор Петербургскаго Университета? Сотрудник «Вѣстника Европы»? Чрезвычайно рад познакомиться». Им было пріятно, и ему было пріятно.

Уѣхал Михаил Яковлевич в очень мрачном настроеніи, совершенно ему не свойственном. Одной из причин этого была тяжкая, все ухудшавшаяся, болѣзнь Дюммлера. Юрій Павлович болѣл слишком долго, знакомым надоѣло посѣщать его, — точно у людей было смутное чувство, что он должен, наконец, либо выздоровѣть, либо, уж если на то пошло, поскорѣе умереть. Черняков, разумѣется, такого чувства не испытывал. Он любил и уважал зятя и по добротѣ своей очень жалѣл страдающих людей. Однако бывать ежедневно в домѣ сестры, справляться тихим голосом с грустным видом, получать все тот же отвѣт, давать безполезные совѣты было, при его жизнерадостности, очень тяжело. Михаил Яковлевич нерѣшительно сказал было сестрѣ, что останется на все лѣто в Петербургѣ. Как он в душѣ надѣялся, Софья Яковлевна отвѣтила, что это не имѣет смысла, что он тоже нуждается в отдыхѣ и непремѣнно должен уѣхать. Черняков слабо поспорил и со вздохом покорился, — потом сам себя смущенно ругал Тартюфом и думал, что странно устроена жизнь: приходится лицемѣрить даже с очень близкими людьми. Он нѣсколько опасался, что сестра подкинет ему Колю, но и этого не случилось: Коля был приглашен к товарищу; Софья Яковлевна признала, что ея семнадцатилѣтнему сыну гораздо лучше проводить лѣто в деревнѣ, в семьѣ извѣстных ей людей, чѣм «шататься по каким-то номерам в Кисловодскѣ» под слабым надзором дяди.

Главной же причиной мрачнаго настроенія Михаила Яковлевича были его отношенія с Елизаветой Павловной. Он сам не замѣтил, как в нее влюбился. Теперь Черняков бывал в домѣ Муравьевых почти каждый день. Многіе его считали женихом Лизы, но это было невѣрно. Никакой перемѣны в их отношеніях не произошло. Елизавета Павловна по прежнему одно-

образно-колко с ним спорила, называла его по фамиліи, как называла большинство мужчин, и ничѣм не показывала, что знает об его чувствах. «С отцом сначала поговорить? Она скажет: Домострой», — нерѣшительно думал Михаил Яковлевич. Он все собирался об'ясниться с Лизой — и каждый раз этому что-либо мѣшало. Дом Павла Васильевича был вѣчно полон людей. Когда же Черняков бывал с Лизой наединѣ, он испытывал непонятное, непривычное ему смущеніе и не мог выйти из обычнаго тона их разговоров. В этом агрессивно-шутливом тонѣ об'ясниться в любви было трудно. Слабыя его попытки измѣнить тон ни к чему не приводили. Случайно ли или намѣренно она обращала их в шутку и всегда кто-нибудь входил в комнату не во время.

У Михаила Яковлевича все росла потребность в семейной жизни. Он теперь с завистью любовался чужими дѣтьми, особенно маленькими. Честолюбіе, в прежнія времена вытѣснявшее у него всѣ другія чувства, нѣсколько ослабѣло. Черняков уже достиг почти всего, чего мог достигнуть. Он только что стал ординарным профессором и редактором отдѣла в большом журналѣ. Пока парламента не было, его карьера не могла пойти дальше. Михаил Яковлевич был видным общественным дѣятелем; никто точно не знал, что собственно под этим разумѣется; тѣм не менѣе общественная дѣятельность была профессіей и давала человѣку положеніе. Он стал одним из 50-60 человѣк в петербургском обществѣ, фамиліи которых безпрестанно упоминались в ежедневной печати. Не всѣ знали его имя-отчество, но «проф. М. Я. Черняков» так примелькался в газетах, что еслибы одна из них перепутала его иниціалы, то у многих читателей осталось бы непріятное зрительное ощущеніе: что-то не так.

Работы у него было меньше, чѣм прежде. Свой основной курс он, подновляя, читал уже нѣсколько лѣт подряд, и готовиться к лекціям ему почти не приходилось. Михаил Яковлевич отнюдь не потерял интереса к наукѣ, по прежнему читал много ученых трудов, преимущественно нѣмецких, но сам, послѣ полученія докторской степени, больше книг не писал («все-

таки великая вещь — практическій стимул», — говорил он себѣ со вздохом укора). Как почти всѣ люди, Черняков нѣсколько ошибался в предположеніях о том, что думают о нем другіе, и в особенности переоцѣнивал свою ученую репутацію. Наиболѣе выдающіеся профессора юридическаго факультета относились к его научным заслугам иронически. Однако в той области права, которой занимался Михаил Яковлевич, числилась какая-то «теорія М. Я. Чернякова». Благодаря его настойчивости, savoir vivre и западно-европейскому взгляду на рекламу, эта теорія попала в разные русскіе университетскіе курсы. Не помѣстил ея в своем курсѣ только его личный недоброжелатель и конкуррент Энгельман, полагавшій, что казнь молчаніем будет гораздо непріятнѣе Чернякову, чѣм самая уничтожающая критика. Теоріи Михаила Яковлевича было отведено полстраницы и в толстой нѣмецкой книгѣ, с "Tscherniakoff M., Prof. Theorie von" в "Namen und Sach-Register". Теорія была в самом дѣлѣ не хуже многочисленных других теорій, которыя, отбыв свой недолгій вѣк, сослужив добрую службу своим создателям, навсегда забываются, превращаясь в строительный матеріал для новых выходящих в люди профессоров. Ученый аппарат обѣих диссертацій Чернякова, с "loc. cit.", "passim" и "ibidem" в подстрочных примѣчаніях на каждой страницѣ, был безукоризненный. Теперь он писал больше ученыя статьи и рецензіи, всегда добросовѣстныя, почти всегда благожелательныя, обычно заканчивавшіяся словами: «Отмѣченные выше незначительные недостатки и погрѣшности никак не умаляют значенія в высшей степени цѣннаго труда профессора Н.». Раза два или три Михаил Яковлевич читал доклады на ученых с'ездах, и они выслушивались с таким же вниманіем, с такой же учтивостью, с каким он выслушивал доклады товарищей по с'ѣзду. Прекрасный характер Михаила Яковлевича, доброта, представительная наружность, товарообмѣн в области услуг и любезностей способствовали его успѣхам. Правда, Чернякову не раз приходилось слышать, как других профессоров, тоже занимавших очень хорошее положеніе, заглаза называли бездарно-

стями и тупицами; нерѣдко при этом он на мгновеніе допускал мысль, что, быть может, так же говорят и о нем. Однако Черняков тотчас отвергал такія предположенія: нѣт, о нем так не говорит никто. Немногочисленные враги иногда называли его пошляком; но их самих, случалось, называли пошляками другіе люди. К Михаилу Яковлевичу это слово подходило очень мало. Он был и неглупый, и образованный, и добрый, и хорошо воспитанный человѣк.

У студентов он по прежнему пользовался большой популярностью, хотя становился консервативнѣе. Черняков, с перваго курса писавшій письма без твердых знаков, стал, послѣ покушенія Соловьева, писать с твердыми знаками. Все же, 8-го февраля, в день Университетскаго праздника, его под утро качали пьяные студенты, с которыми он фальшиво пѣл «Гаудеамус». Раз в мѣсяц он принимал у себя гостей, при чем угощал их превосходно. Михаил Яковлевич всегда любил хорошо поѣсть и выпить. Теперь он уже имѣл с в о й столик у Донона, и лакей, не спрашивая, приносил ему полбутылки лафита. Когда Черняков перешел с бургундскаго на бордо, он сам с улыбкой подумал, что и это тоже признак: пора, пора жениться.

Михаил Яковлевич по прежнему хорошо понимал, что Лиза Муравьева самая неподходящая для него жена. Тѣм не менѣе он все яснѣе чувствовал, что другія женщины для него больше почти не существуют и что жизнь без Елизаветы Павловны была бы для него, если не невыносима, то во всяком случаѣ очень тяжела.

Почему-то он возлагал большія надежды на лѣто. Ему казалось, что на лѣтнем отдыхѣ все рѣшится. Надо было только устроиться так, чтобы провести іюнь и іюль с Лизой по возможности в таком мѣстѣ, гдѣ у нея было бы мало знакомых. Профессор Муравьев и в этом году уѣзжал заграницу: ему Эмскія воды были необходимы. Вначалѣ предполагалось, что с ним, как всегда, поѣдут обѣ его дочери. Михаил Яковлевич готов был ѣхать и в Эмс, хотя ему надоѣл этот невыносимо-прелестный городок. Дороговизна его не пугала. У него уже

были небольшія сбереженія в выигрышных билетах. Черняков никогда не был ни корыстолюбив, ни скуп. Если ему изрѣдка случалось мечтать о крупном выигрышѣ, то лишь для Елизаветы Павловны, чтобы она могла жить с ним лучше, чѣм просто в достаткѣ. Иногда — впрочем довольно рѣдко — сидя у себя в кабинетѣ с сигарой, он думал о практических дѣлах, связанных со свадьбой. Свадебный пріем, очевидно, должен был состояться у Муравьева, но Михаил Яковлевич знал, что его будущій тесть не охотник до таких вещей. Между тѣм ему хотѣлось — тоже не для себя, а для Лизы — устроить большой вечер, на котором появились бы эти 50-60 человѣк, составляющіе либеральный Петербург, извѣстный по газетам всей Россіи.

В маѣ у молодежи шли экзамены, и за столом у Муравьевых разговоры велись главным образом о них. Хотя бывавшіе у профессора юноши и дѣвицы много работали (нѣкоторые даже осунулись и поблѣднѣли), оживленіе было необычайное, точно это было самое радостное время года. Говорили о том, как кто готовится: одни предпочитали работать в одиночку, другіе — совмѣстно с товарищами; одни готовились дома и ночью, другіе — только днем и в Лѣтнем Саду; одни пили крѣпкій чай, другіе — крѣпкій кофе. Павел Васильевич благосклонно-терпѣливо выслушивал взволнованныя сообщенія об успѣхах и неуспѣхах разных мальчиков и дѣвочек; он плохо помнил, кто такіе эти Саши, Даши, Коли, Нади. За рѣдкими исключеніями, ему нравилась собиравшаяся у него радикальная молодежь. Но в разговор ея он вмѣшивался лишь постольку, поскольку должен был это дѣлать как хозяин дома. Профессор не знал, о чем разговаривать, особенно же в экзаменаціонное время: невольно испытывал такое чувство, будто находится по другую сторону баррикады, хотя ему из вѣжливости не дают это почувствовать. И развѣ только, когда его любимица Маша, ахая, твердила, что ничего, ну рѣшительно ничего, не знает, непремѣнно провалится и страшно волнуется (этого требовали приличія и в университетѣ, и в гимназіях),

Павел Васильевич с улыбкой говорил: «Что-ж, Машенька, «есть наслажденіе в бою и бездны мрачной на краю» — или что-либо в таком родѣ.

Ему было грустно. У него тоже осталось поэтическое воспоминаніе об этой экзаменаціонной лихорадкѣ, хоть он твердо помнил, что когда-то проклинал экзамены. Теперь май бывал для него самым скучным и безплодным временем года. Большая часть его дня уходила, как он говорил, на слѣжку. Профессору было извѣстно, что успѣх и отмѣтка зависят столько же от познаній экзаменующагося, сколько от его бойкости, умѣнья говорить и актерскаго искусства. Нѣкоторые профессора ненавидѣли развязных студентов-говорунов и старались их посадить (это впрочем оказывалось почти невозможным в отношеніи иных молодых людей с очень скромным запасом воспоминаній из конспектов). Павел Васильевич и к таким студентам относился довольно благодушно. Вдобавок, он был убѣжден, что в 18-20-лѣтнем возрастѣ понимать физику не может почти никто; легко было, например, затвердить, что «в одинаковых об'емах различных газов находится одинаковое число частиц», но понять значеніе мысли Авогадро было трудно. Из десяти студентов девять со временем становились чиновниками, служащими, дѣловыми людьми, и Павлу Васильевичу было все равно, хорошо ли или плохо они вызубрили мало понятныя им формулы. Кромѣ того, он знал, что такое для студента потерянный год, и почти никому двоек не ставил. Иногда, впрочем, доставлял себѣ невинное удовольствіе: ставил развязным студентам, к их искреннему изумленію, тройки вмѣсто пятерок, к которым они привыкли: показывал, что они его не обманули. Павел Васильевич удивлялся нѣкоторым своим товарищам, искренне и без малѣйшаго садизма любившим экзамены. Так, любил их Черняков, тоже снисходительный экзаменатор. У него была своя система, очень нравившаяся студентам: он приглашал их садиться по другую сторону стола, и бесѣдовал с ними на темы билета, благожелательно толкуя сомнѣнія в пользу подсудимаго; побесѣ-

довав, приподнимался в креслѣ и вѣжливо говорил: «Благодарю вас».

Как всѣ народныя бѣдствія, экзамены кончились. Послѣ двух-трех дней, прошедших в поздравительных или утѣшительных разговорах и в разсказах о послѣэкзаменаціонных торжествах, за столом в домѣ Муравьева снова заговорили о революціи. Павла Васильевича забавляло, с какой легкостью снова рѣшали государственные вопросы юноши и дѣвицы, на прошлой недѣлѣ говорившіе только о том, кто успѣл и кто не успѣл подчитать книжку или конспект по исторіи, философіи, римскому праву (студенты, которым предстоял экзамен по физикѣ, в его присутствіи так все же не говорили). Молодежь относилась к мнѣнію старших равнодушно-терпимо. В ногу с ней старался идти доктор Петр Алексѣевич, называвшій себя «радикалом типа Барбеса». Про себя он грустно думал, что какія бы революціи в мірѣ ни произошли, над ним всѣ будут по прежнему смѣяться из за его крошечного роста.

Политическіе разговоры скоро замѣнились сообщеніями о том, кто куда ѣдет или уѣхал на лѣто. В концѣ мая за обѣдом выяснилось, что Елизавета Павловна в Эмс не собирается. Это оказалось неожиданностью и для ея отца.

— Вот как? Что же ты собираешься дѣлать, если я смѣю справиться? — спросил он с необычной для него иронической суховатостью. На этот раз обѣдали у Муравьевых только Петр Алексѣевич и Черняков.

— Я предполагаю поработать гдѣ-нибудь в деревнѣ.

— Поработать? Как именно «поработать»?

— Сама еще не знаю. Может быть, учительницей или фельдшерицей.

Черняков фыркнул и даже Петр Алексѣевич улыбнулся: так не вязалась эта работа с их представленіем об Елизаветѣ Павловнѣ. Профессор высоко поднял брови.

— Позволь... Учительница это одно, а фельдшерица совершенно другое. Ты хочешь учить деревенских ребят? Очень хорошо, но чему? Развѣ французскому языку? Едва ли ты

знаешь тѣ предметы, которые им нужны. А уж фельдшерицей ты никак быть не можешь, это дѣло трудное, и ему нужно учиться.

— Я и училась.

— Да, ты посѣщала какіе-то курсы, но... Доктор, вы взяли бы Лизу в фельдшерицы?

— При способностях Елизаветы Павловны, — уклончиво отвѣтил Петр Алексѣевич, почувствовавшій, что разговор становится непріятным.

— Я слышал, что мода идти в народ уже прошла, — сказал Черняков тоже с нѣкоторым раздраженіем.

— Если ты хочешь учить ребят, то поѣзжай в нашу деревню, там есть школа, — предложил профессор. — Но ты можешь это сдѣлать и послѣ Эмса.

— Зачѣм, папа, я буду вас разорять, когда мнѣ Эмс не нужен, у меня горло в совершенном порядкѣ.

— Правда, заграничныя поѣздки теперь влетают в копѣечку, — сказал Черняков. — Вы слышали mot Щедрина: «Это еще ничего, если за рубль»...

— Да, да, я слышал, — сказал профессор, не любившій Салтыкова и не бывшій в восторгѣ от его остроумія. Всѣ эти Зуботыкины и Деруновы, француженки Клемантинки и нѣмцы Швахкопфы, города Глуповы и деревни Тараканихи утомляли и раздражали Павла Васильевича. «Ничего нѣт хорошаго в том, чтобы над всѣм смѣяться и все оплевывать», — думал он, хоть и не рѣшался это говорить: в его обществѣ Щедрина боготворили.

— По моему, Елизавета Павловна, вы должны уйти в деревню простой работницей. Ну, землю пахать, — сказал Черняков. — Недаром вы в послѣднее время развиваете в себѣ физическую силу.

— И развила. Имѣйте это в виду.

Заграницу Лиза не поѣхала. На слѣдующей недѣлѣ Петр Алексѣевич вскользь сказал профессору, что Елизаветѣ Пав-

ловнѣ не мѣшало бы полечиться от малокровія на Липецких водах. При этом вид у доктора был сконфуженный.

— У Лизы малокровіе? — встревоженно спросил профессор. — Отчего же вы мнѣ этого не сказали раньше?

Петр Алексѣевич не мог отвѣтить, что выдумал малокровіе и воды по требованію Елизаветы Павловны; они накануне совѣщались, какую бы придумать неопасную, однако достаточно внушительную болѣзнь.

— Помнится, я вам как-то говорил, Павел Васильевич. Ничего серьезнаго, конечно, нѣт, но Липецкія воды дѣлают тут чудеса. И притом мѣсто отличное, благоустроенное, не хуже Эмса... Как вы думаете?

Профессор думал, что молодой дѣвушкѣ не годится ѣздить на курорты одной; он этого не сказал, зная, что Петр Алексѣевич пожмет плечами, а Лиза заговорит о старых барских предразсудках или о чем-либо еще обиднѣе. При своей наблюдательности, Муравьев в обычное время, по смущенному виду доктора, вѣроятно, замѣтил бы, что его обманывают. Но в послѣдніе мѣсяцы Павел Васильевич старался поменьше думать о своей старшей дочери. И он, и особенно она в эту зиму стали нервны и раздражительны. Стычки между ними за столом происходили очень часто, а иногда бывали довольно непріятны, так что обѣдавшіе гости смущенно старались перевести разговор, а Маша блѣднѣла. В душѣ Муравьев был рад отдохнуть от этих стычек хоть лѣтом. Послѣ нѣкотораго колебанія он согласился на предложеніе доктора, горячо поддержанное Михаилом Яковлевичем.

На вокзал Муравьевых провожали с почетом. Собралось человѣк пятнадцать. Черняков привез Машѣ огромную коробку конфет, доктор пріѣхал с букетом. Молодые люди подарков не привозили, — Коля Дюммлер покраснѣл, увидѣв, что старшіе привезли. Маша была в восторгѣ: она в первый раз получала подарки, полагающіеся взрослым барышням.

Ей недавно пошел восемнадцатый год. Павел Васильевич с душевной болью видѣл, что Маша стала еще некрасивѣе, чѣм была ребенком. Она больше, чѣм прежде, обожала стар-

шую сестру. В этом обожаніи было что-то не нравившееся отцу, почти болѣзненное. Машѣ, очевидно, не могло прійти в голову завидовать красотѣ и успѣхам Лизы, все равно, как она не могла бы завидовать королевам: настолько ей было ясно, что она — одно, а сестра — совершенно иное. Она даже не подражала сестрѣ, как это часто бывает в семьях: так недосягаемо высоко стояла Лиза. Бывавшіе у них в домѣ молодые люди очень любили Машу, но у с п ѣ х а она не имѣла. Когда Елизавета Павловна смѣясь говорила, что Маша влюблена в Колю Дюммлера, Маша вспыхивала и горячо отрицала это. Павел Васильевич, очень внимательно слѣдившій за своей любимицей, как-то раз присмотрѣлся к Колѣ. Этот мальчик показался ему способным и развитым, но чрезмѣрно самолюбивым и самоувѣренным. «Впрочем, какіе у них романы? Она еще совершенный ребенок», — думал профессор. — «И во многих отношеніях она выше Лизы: очень музыкальна, прекрасно играет на роялѣ, да и читает гораздо больше, хотя преимущественно романы. Лиза, та только просматривает что-то ученое перед какими-то рефератами: это по долгу службы».

Как всегда бывает при проводах на вокзалѣ, разговаривать было не о чем, и всѣ с нетерпѣніем ждали отхода поѣзда. Прогремѣл второй звонок, приступили к прощальным поцѣлуям, Маша заплакала: она почти никогда до того с сестрой не разлучалась. К пріятному удивленію Чернякова, прослезилась и Лиза. Молодые люди смотрѣли на плакавших барышень с веселым недоумѣніем.

Послѣ отхода поѣзда Михаил Яковлевич проводил Лизу до извозчика.

— Ну-с, до видзенья, Черняков, — сказала она. — Значит, до осени. Вѣдь вы в срединѣ августа уже будете в Петербургѣ?

— Как до осени? — растерянно спросил Михаил Яковлевич, совершенно этого не ожидавшій. — Но... Надѣюсь, вы разрѣшите мнѣ проводить на вокзал и вас? Я справлялся, так как мнѣ самому рекомендовали Липецкія воды... Ваш поѣзд уходит в...

— Я ѣду не в Липецк.

— Как не в Липецк? Вѣдь вы сказали Павлу Васильевичу...

— Мало ли что я говорю Павлу Васильевичу!

Больше Михаил Яковлевич ничего не добился. Лиза так и не об'яснила, куда ѣдет, надолго ли и зачѣм. О встрѣчѣ лѣтом не было рѣчи. Черняков был не только разстроен: он чувствовал себя оскорбленным.

В тот же вечер он принял рѣшенье уѣхать в Кисловодск и через два дня уѣхал, больше не повидав Елизаветы Павловны и почти в ссорѣ с ней.

Быть может, небольшую роль в этом рѣшеніи сыграла русская литература. На Кавказ с давних пор люди уѣзжали от неудачной любви. Правда, это было в пору войн с горцами. Теперь никакой войны там не было. Михаил Яковлевич не искал смерти, но жизнь в самом дѣлѣ в первый раз стала ему тяжела.

В вагонѣ он развернул газету. Главным событіем была смерть молодого сына Наполеона III. От собственнаго горя Черняков теперь чувствовал чужое сильнѣе, чѣм обычно. Телеграммы подробно описывали скорбь императрицы Евгеніи. Разные знаменитые люди выражали свои чувства в статьях, рѣчах, проповѣдях, и охватившее, очевидно, весь мір горе еще усиливало волненіе Михаила Яковлевича. «Может быть, этот юный принц поѣхал на войну в Африку не для изученія военнаго дѣла, а тоже от какой нибудь несчастной любви?» — спрашивал себя Черняков. — «Да, да, она оскорбила меня и невниманіем, и недовѣріем... Что-ж, я желаю ей счастья. Пусть она найдет человѣка, который любил бы ее так, как я»...

Михаил Яковлевич знал однако, что не может желать Лизѣ найти счастье с другим. Сколько он ни говорил себѣ, что любовь слѣпа, что насильно мил не будешь, что людей любят не за их заслуги и не за их достоинства, чувство оскорбленія у него все росло.

II.

Кисловодск произвел на него то же чарующее и бодрящее дѣйствіе, какое он всегда производил на русских. Часть дороги, за Минеральными водами, Михаил Яковлевич продѣлал на лошадях. Он вырос уже в пору желѣзных дорог и почти никогда в экипажѣ не путешествовал. «Не лучше ли было прежде? Никуда люди не торопились, путешествовали в дормезах, видѣли то, чего из вагонов не увидишь, и крушеній не было, и была поэзія дороги, не то, что теперь», — думал Черняков, с непріятным чувством замѣчая, что начинает по стариковски хвалить доброе старое время. Были привалы, на которых он ѣл форель, шашлык, чебуреки. Правил лошадьми худощавый горбоносый кавказец, со сросшимися густыми бровями. На каждом шагу встрѣчались люди с кинжалами, — «чеченцы!» Михаил Яковлевич сам чувствовал себя горцем, хотя и мирным. В первое время он восторженно любовался горами и про себя декламировал то, что мог вспомнить из «Демона». Часа через два горы ему надоѣли.

В Кисловодскѣ «Герой Нашего Времени» продавался не только в книжных лавках, но и в «Магазинѣ панских товаров». На водах мирные штатскіе люди жили немного под Лермонтова. Черняков с утра погружался в холодный кипяток Нарзана. Встрѣченный знакомый, присяжный повѣренный, страстный поклонник Гамбетты, в черкескѣ ѣздил верхом на кабардинцѣ. Немного поколебавшись, Черняков тоже стал ѣздить верхом (научился верховой ѣздѣ лѣт за пятнадцать до того, будучи репетитором в семьѣ помѣщика). Он обзавелся высокими сапогами и хлыстом, — покупать черкеску все-таки было совѣстно. Кабардинец оказался смирным животным. В первый день у Михаила Яковлевича очень болѣло тѣло, потом пошло отлично, он ѣздил к Храму Воздуха, иногда переходил на рысь и тогда держался за луку сѣдла лѣвой рукой, чтобы не сползти на шею лошади.

В день пріѣзда он познакомился с жившей в той же гостинницѣ очень миловидной дамой. Она читала «Вѣстник Европы», пріятно картавила и говорила, что ея покойный муж был врачем. Несмотря на свой опыт, Михаил Яковлевич не мог толком разобрать, какая это дама. Сначала ему было показалось, что это искательница курортных приключеній. Однако в лицѣ, в прекрасных задумчивых глазах дамы было что-то робкое, исключавшее такое предположеніе. Она восторженно на него смотрѣла и часто плакала, — не то, чтобы совсѣм плакала, но на глазах у нея выступали слезы.

По вечерам Михаил Яковлевич в садикѣ гостинницы пил вино, дама ѣла арбуз со скользкими косточками, говорила о народных страданиях и плакала. На спектаклѣ заѣзжей фарсовой труппы дама плакала и об'ясняла, что плачет о человѣческой пошлости. На пятый вечер она, по нездоровью, приняла его у себя в номерѣ; в красивом пеньюарѣ она лежала на груди, неудобно подняв голову, и молча задумчиво-восторженно на него смотрѣла. Михаил Яковлевич видѣл, что дама не искательница приключеній, но понимал также, что курортный роман вполнѣ возможен. И именно то, что он этим романом не соблазнился, лишній раз пояснило ему, к а к он влюблен в Лизу Муравьеву.

Ему теперь казалось, что он сам виноват. «Надо было довести дѣло до конца; спросить ее прямо: да или нѣт? Вмѣсто этого я обидѣлся и уѣхал. Нѣт ничего легче, чѣм обидѣться». Как-то, сидя в ваннѣ, Михаил Яковлевич вдруг принял рѣшеніе написать Лизѣ. Сказать все в письмѣ было гораздо легче. Он тут же, в шипящей водѣ источника, принялся мысленно сочинять письмо. Мысли эти так его взволновали, что он не просидѣл в ваннѣ положеннаго числа минут, одѣлся и вышел. Свѣжій вѣтерок укрѣпил его в мысли о необходимости рѣшительных дѣйствій. Он шел быстро и на ходу соображал: через сколько времени может прійти отвѣт?

Когда он вошел в гостинницу, швейцар подал ему телеграмму. Михаил Яковлевич измѣнился в лицѣ: он рѣдко получал телеграммы, не любил их и боялся. «От Сони?... Юрій Павло-

вич...» — подумал он, нервно вскрывая сложенный листок. Ему бросилась в глаза грязноватая подпись: «Лиза». Сердце у него застучало. В телеграммѣ было сказано: «Пью воду в Липецкѣ. Отчего бы вам не пріѣхать? Хотѣлось бы поговорить о разных вещах. Жму руку. Адрес Воронежская 17. Лиза».

Он долго не мог опомниться: так поразило его совпаденіе и так сильна была его радость. Черняков прочел телеграмму раз пять. Ему казалось, что в ея смыслѣ нельзя сомнѣваться: все-таки человѣка не вызывают издалека для того, чтобы поболтать о пустяках. «Откуда же она узнала, гдѣ я живу? Очевидно, справлялась у Коли или у Петра Великаго?» — восторженно думал он. «Телеграмма ушла вчера в шесть двадцать. Что я дѣлал в шесть двадцать?... Да, да, я именно думал, что надо было довести дѣло до конца! Прямо поразительное совпаденіе!» Он спрятал телеграмму в карман и снова ее вынул. «Нѣт, чего стоит ея телеграфный стиль! Всѣ знаки препинанія, «в», два «бы»! «Пью воды Липецкѣ Отчего вам не пріѣхать. Хочу поговорить разных вещах» — невольно выправил он в мыслях текст. Больше всего радости доставила ему подпись: «Ли з а» . . . — «Правда, как же она могла подписать иначе? «Муравьева»? Я, пожалуй, не понял бы. «Елизавета Муравьева»? Глупо: вродѣ как Елизавета Воробей! Но зачѣм «Жму руку»? Это так холодно... Нѣт, она подписала: «Лиза»!... Швейцар поглядывал на осанистаго петербургскаго господина, который с сіяющей улыбкой перечитывал телеграмму.

Черняков не отвѣтил отчасти именно из за подписи. Подписаться «Черняков» теперь было бы невозможно. «Не 'Миша'-же все-таки!»... Вмѣсто отвѣта он на слѣдующій день выѣхал в Липецк. Немного колебался: сказать ли миловидной дамѣ, — и не рѣшился вечером к ней зайти, немного боясь за себя. Он оставил у швейцара записку: сослался на полученную телеграмму, но не знал, что бы о ней выдумать. На мгновеніе ему пришла мысль сослаться на болѣзнь Юрія Павловича, о которой он дамѣ говорил. Эту мысль Черняков отогнал именно потому, что Юрій Павлович был очень болен.

Ничего не придумав, он приписал: «требовавшую моего от'ѣзда в самом спѣшном порядкѣ. Я не рѣшился утром вас потревожить, зная, что вы нездоровы»... — «Глупо: ей приносят чай в восемь», — подумал он. «Очень надѣюсь скоро снова вас увидѣть»... — «Гдѣ же я еще ее увижу? Стыдно так врать»... — «Знакомство с вами скрасило мои кисловодскіе дни»... «Это хорошо: скрасило»...

Михаил Яковлевич умѣл путешествовать: прекрасно укладывал вещи, не нервничал, не опаздывал, не пріѣзжал слишком рано, не забывал запастись папиросами, газетами, книгами. На этот раз он взял в дорогу «Двадцать мѣсяцев в дѣйствующей арміи» лейб-гвардіи штабс-ротмистра Всеволода Крестовскаго. Как многіе штатскіе люди, Черняков очень любил книги о войнѣ.

В газетах все еще шли сообщенія о смерти французскаго принца и о горѣ императрицы Евгеніи. «В чем дѣло? Ну, убили какого-то юношу, какое кому до этого дѣло? Кто ему велѣл ѣхать на войну англичан с зулусами? И почему его жаль больше, чѣм хотя бы тѣх зулусов, которых он ни с того, ни с сего поѣхал убивать на их же землѣ, чтобы на их крови подучиться военному дѣлу. Отец и двоюродный дѣд достаточно этим дѣлом занимались, будет», — думал Черняков. Он читал статью об экономических и финансовых вопросах, изрѣдка отрывался от газеты, смотрѣл в окно на снѣговыя вершины гор и думал, что, как бы там ни понижался рубль в Лондонѣ и Парижѣ, нѣт предѣлов богатству, размаху и могуществу Россіи, — у него все усиливалось то чувство, которое либеральные журналисты со сдержанным одобреніем называли «здоровым патріотизмом». Михаил Яковлевич читал сообщенія из Петербурга, из Москвы, из провинціи, — ничего важнаго не было, все дышало миром и тѣм же «здоровьем», все доставляло ему радость, даже золотая свадьба германскаго императора. «...Урядник Блинохватов получил свѣдѣнія, что солдатка села Карая Авдотья Степанова занимается тайной продажей вина; переодѣвшись, пришел к ней в дом с свидѣ-

телями и купил у нея водки. Составленный об этом акт передан мировому судьѣ 3-го участка» — «Ничего не подѣлаешь, попалась Авдотья, опростоволосилась, зачѣм повѣрила Блинохватову? — весело думал он. — Ничего, что бы они там ни говорили, наш богоспасаемый мір видно крѣпок, если в газетах пишут о солдаткѣ села Карая и если по случаю гибели «юнаго героя» цѣлую недѣлю рыдает Европа!».

На небольшой станціи в вагон вошел, в сопровожденіи носильщика, высокій прекрасно одѣтый господин лѣт тридцати пяти, со значком инженера путей сообщенія. Еще с площадки послышался звучный баритон: — «Сюда, сюда неси, братец. Здѣсь для курящих. Сюда и ставь, я, брат, поѣзда знаю лучше тебя». Войдя в отдѣленіе, он вѣжливо поклонился Чернякову. Запахло хорошей туалетной водой. — «Нѣт, клади наверх, он не тяжелый, не продавит», — говорил носильщику господин. — «Вот так, так будет отлично»... Чемоданы у него были превосходные. — «Вот тебѣ полтинник на водку, выпей за мое здоровье», — сказал он и, удобно расположившись на диванѣ, обратился к Чернякову:

— Вас сигара не обезпокоит?

— Сдѣлайте одолженіе. — «Словоохотливый, кажется, суб'ект», — подумал Михаил Яковлевич, который, впрочем, ничего не имѣл против того, чтобы поболтать. Господин поговорил о погодѣ, удивлялся, что поѣзд пустой, и минуты через двѣ представился. Фамилія у него была самая обыкновенная и никому не извѣстная. Когда Михаил Яковлевич в отвѣт назвал себя с обычным скромным видом, приблизительно означавшим: «да, я профессор Черняков, тот самый, но это ничего не значит», инженер поступил, как слѣдовало: с пріятным удивленіем многозначительно поднял брови.

— ...Вот вѣдь какія бывают в поѣздѣ пріятныя встрѣчи. В Питер изволите ѣхать?

— Нѣт, пока в Липецк.

— В Липецк? Завидую. Бывал нѣсколько раз. Вы не бывали? Мѣстоположеніе такое, что вы просто ахнете. Воды чудодѣйственныя, знаю по опыту моей жены. Дали бы этот

курорт нѣмцам, они сдѣлали бы из него игрушечку, вездѣ были бы превосходнѣйшія лечебныя заведенія, рестораны, отели. Но что подѣлаешь с нашей расейской некультурностью и еще сего больше с маніей наших доморощенных Бисмарков совать нос куда не слѣдует? Вѣдь курорт долго был казенный и все хирѣл, пока его не отдали частным лицам.

— Вот как? — неопредѣленно сказал Черняков. Он стоял за частную иниціативу в хозяйственной жизни, но с разумными ограниченіями.

— Зачѣм, скажите на милость, государству заниматься дѣлами, в которых оно ни уха ни рыла не смыслит, — спросил инженер. Вид его свидѣтельствовал, что он намѣрен говорить долго. — Вы курите? Разрѣшите предложить вам сигару, у меня недурныя... Как можно не курить до обѣда? Курить сигару всегда можно. Ну, вот видите ли, то же самое и в нашем дѣлѣ, желѣзнодорожном. Я, когда кончил институт, поступил на казенную желѣзную дорогу. Рутина, казенщина, безпорядок! И платили мнѣ такіе гроши, что сказать совѣстно. А вот перешел на частную, Воронежско-Ростовскую, и с мѣста в карьер стал получать вдвое. Теперь и член правления. Правда, что не получаю ни чинов, ни этих золоченых штучек, но на кой они мнѣ чорт? — говорил инженер. «Понимаю. Только что разбогатѣл и еще не может опомниться от своего благополучія. Но как будто симпатичный», — подумал Черняков.

— Однако, есть вѣдь серьезные доводы в пользу государственнаго хозяйства, по крайней мѣрѣ в нѣкоторых областях, разумѣется, точно ограниченных.

— Я про идею не говорю. Идея весьма и весьма хорошая, — поспѣшно сказал инженер, как будто испугавшись своей отсталости. — Но тогда уж давайте соціализм! Ничего рѣшительно не имѣю, хоть он, может быть, и внесет в жизнь нѣкоторое однообразіе... Ну, если будут вездѣ одни Михрютки, а? Но, конечно, во главу угла надо ставить именно интерес Михрюток. Только правильно понятый, правильно понятый...

— Мнѣ приходилось слышать, что именно в частном желѣзнодорожном хозяйствѣ были сильныя злоупотребленія.

— Гдѣ же их нѣт? — воскликнул инженер и разсказал о хищеніях и взятках на других дорогах. — Конечно, наша расейская некультурность и головотяпство сказываются во всем. Да вот возьмите этот самый благословенный Липецк. Ну-с, ладно, перешел он, наконец, от государства в частныя руки. И что-же? Перессорились главные акціонеры: Кожин, Башмаков, князь Васильчиков. Это все мои пріятели, да и к дѣльцу сему я имѣл кой-какое отношеніе. Мы хотѣли пригласить Спасовича... Знаете Владиміра Даниловича? Мы с ним большіе друзья.

— Какой это Васильчиков? — спросил Черняков и разговор перешел на политическія дѣла. Инженер чрезвычайно бранил правительство и выражал надежду на революціонное движеніе, вопросительно поглядывая на Чернякова. Видимо он не твердо знал, как относится к революціонному движенію передовая столичная интеллигенція.

— ...А убійцу Мезенцова так и не нашли, а? Молодец-парень! — сказал он, смѣясь и давая понять, что ему извѣстно, кто убил Мезенцова. Михаил Яковлевич тоже слегка улыбнулся (он дѣйствительно слышал фамилію Кравчинскаго). — Бывают, конечно, и промахи. Вот в Кіевѣ в прошлом году убили барона Гейкинга. По случайнѣйшей из всѣх случайностей во вселенной, я его знал, хоть вообще сих господ, вы мнѣ повѣрите, избѣгаю, как чумы и проказы. Должен сказать, что это был человѣк весьма и весьма добродушный. Я имѣл с ним дѣла по администраціи, и он охотно оказывал услуги всѣм, даже радикалам. Что-ж, без промашки дѣл не бывает. Нѣт, они молодцы! Я, грѣшный человѣк, недавно в Кіевѣ пожертвовал им двѣсти рублей, один помѣщик на пикникѣ собирал.

— Я не сочувствую террору, — мрачно сказал Черняков.

— Да и я, если хотите, не сочувствую, но как иначе прикажете дѣйствовать с этими господами? Лично царь, конечно, не виноват, но он устал и больше ничѣм не интересуется кромѣ княжны Долгорукой. Говорят, ждет не дождется

смерти императрицы, чтоб жениться на этой своей Катенькѣ. Вѣдь он ее перевез в Зимній Дворец, это скандал на всю Европу! Таких вещей не было со времен Екатерины и Павла!... Ох, помяните мое слово, не кончится все это добром... Говорят, что о н и готовят на царя новыя покушенія, — сказал инженер таинственным шопотом.

Михаил Яковлевич разговора не поддержал. Как он ни привык в послѣднее время к вольным рѣчам в петербургском обществѣ, все же тон инженера изумил его. «В вагонѣ, с незнакомым человѣком! Правда, я ему назвал себя, но вѣдь и шпик мог сказать, что он профессор Черняков! Нѣт, что-то измѣнилось в Россіи в послѣдніе два-три года»... Не нравились ему рѣчи его собесѣдника и по существу. Михаил Яковлевич не был ни скептиком, ни пессимистом, но теперь ему пришло в голову, что все в мірѣ, война, мир, революціи, контр-революціи идут на пользу таким людям, как этот инженер. «Что бы там в мірѣ ни случилось, эти господа всегда будут жить припѣваючи. Ему свобода нужна для желѣзнодорожных дѣл, но он и при самодержавіи не пропадет. Впрочем, деньги он дает революціонерам не для этого, а так, потому что мода, потому что весело, потому что денег куры не клюют, потому что дурак помѣщик попросил, как же отказать?... Мамонтов говорит, что есть только одна порода людей еще противнѣе, чѣм дѣльцы-ретрограды: это дѣльцы-радикалы. Может быть, pour une fois, Мамонтов и не совсѣм неправ... Нѣт, что-то неблагополучно в датском королевствѣ», — думал Черняков, глядя на инженера без своей обычной благожелательности.

—...А вот наслѣдник Александр Александрович, как я знаю из весьма и весьма вѣрнаго источника, человѣк либеральных, передовых взглядов. Очень интересуется русской исторіей, русской стариной, русской культурой. А главное, он молод и, как мы всѣ, как вся русская интеллигенція, горит желаніем работать, — говорил инженер. Черняков сокрушенно вздохнул. Он уже нѣсколько раз слышал в радикальном обществѣ разсказы о либерализмѣ наслѣдника престола. Между тѣм ему от сестры было извѣстно, что Александр Алек-

сандрович крайни ретроград. — «Сказать этому болвану, что ли?» — спросил он себя и раздумал: сообщеніе об его родствѣ с фон Дюммлером послѣ всего сказаннаго вызвало бы холодок и неловкость. «Вот какая у них информація! Хуже всего, когда легкомысліе и невѣжество соединяются с самоувѣренностью. А свое коммерческое или техническое дѣло он, может быть, понимает очень тонко»...

— Это уж так принято: всегда и вездѣ считают, что наслѣдник престола либерал, и возлагают на него не всегда основательныя надежды.

— Но вы не отрицаете, что сейчас у нас все ни к черту не годится, начиная с работы блюстителей порядка. Вот вѣдь наши Лекоки и Вѣру Засулич поймать до сих пор не могут. И слава Богу, конечно, что не могут!... А что, кстати, правда ли, будто Щедрин поддерживает дружескія отношенія с бурбоном Треповым, который слово «еще» пишет с четырьмя ошибками: ять-эс-че-о?

— О дружеских отношеніях я не слыщал. Знаю, что они знакомы и бывают друг у друга.

— Не к чести нашего великаго сатирика. Однако Салтыкову можно простить все. У нас в провинціи его тоже читают, захлебываясь от восторга. Я ни одной его вещи никогда не пропускаю... Вѣроятно вы его и лично знаете?

— Михаила Евграфовича? Знаю, но очень мало. Из писателей я больше встрѣчался с Тургеневым, с Достоевским, — сказал Михаил Яковлевич и сам немного смутился. Уж очень хорошо было этими именами, как тузом короля, покрыть имя Спасовича. «Вот поди разберись. Соціализм и Воронежско-Ростовская, террористы и Александр Александрович!» — с недоумѣніем думал Черняков, любившій точное дѣленіе людей по их взглядам. — А гдѣ же можно будет заморить червячка? — спросил он. Инженер оживился еще больше. Он вынул из жилетнаго кармана огромные золотые часы.

— До перваго сноснаго буфета еще далеко. Идея же заморить червячка первоклассная. Хотя час и не адмиральскій, но что бы вы сказали о рюмочкѣ коньячку, а? Простите, я не

знаю вашего имени-отчества. Михаил Яковлевич... Я вѣдь помнил, что М. Я.! Мое Алексѣй Васильевич, но мы люди маленькіе, провинціалы... Так вот, Михаил Яковлевич, разрѣшите вас привѣтствовать. — Он вскочил, снял с полки новенькій нессесер и достал красивую плоскую бутылочку, закрывавшуюся серебряным стаканчиком. — Коньячек, смѣю сказать, весьма и весьма приличный. Не побрезгуете из одной рюмочки? Нехорошей болѣзнью, клянусь, не болѣл.

Михаил Яковлевич, человѣк брезгливый, предпочел бы достать свой собственный дорожный стакан, но это было теперь неудобно. Они выпили.

— Правда, недурной коньячек, а? Я прямо от Елисѣева выписываю, а то у нас в провинціи всякой мерзости подливают, в разсчетѣ на расейскіе желудки, — сказал инженер, видимо очень стыдившійся того, что живет не в столицѣ. — Найдется и кой-какой закусон.

Он заговорил о ѣдѣ и оказался благодушнѣйшим человѣком. «Вѣрно боялся не попасть в тон столичной интеллигенціи. О коньякѣ он говорит гораздо лучше, чѣм о террорѣ». Инженера также успокоило то, что профессор М. Я. Черняков, сотрудник «Вѣстника Европы», пьет коньяк как обыкновенные люди. Недоброжелательное чувство Михаила Яковлевича разсѣялось.

— Так вы хорошо знаете Липецк?

— Знаю, да и знать-то собственно нечего... Еще по единой? Только по единой, а? Нѣт? Ну как знаете. А я еще выпью... Вы спрашиваете о Липецкѣ. Весь городишко — созданье Петра Великаго. Он мой, кстати сказать, любимѣйшій император... Попалась мнѣ там как-то писулька: «Его царское величество, милосердствуя своим подданным яко отец», рекомендует им Липецкія воды и лично наставляет, как ими пользоваться. «Чтобы всяк свѣдом был, как оныя марціальныя воды употреблять, дабы непорядочным употребленіем оных не был никто своему здравію повредителем», — весело процитировал инженер и выпил еще. — Правда, прелесть? Как хотите, а все, что у нас есть маломальски сносного на святой Руси, идет от

Петра. Хотя он-то и создал атмосферу полицейскаго гнета и оргію слѣжки, в которой мы всѣ задыхаемся... Вы гдѣ хотите остановиться? Могу вам рекомендовать гостинницу в центрѣ городка, на Дворянской улицѣ, в двух шагах от бюветки. С виду «и вот заведеніе», по безсмертному выраженію Гоголя, «иностранец из Лондона и Парижа», но их повар Василій, батюшка, даст десять очков всѣм вашим столичным Дононам и Борелям. А уж в нашей богоспасаемой провинціи я нигдѣ так не ѣдал, хоть исколесил ее вдоль и поперек.

III.

Гостиница в Липецкѣ в самом дѣлѣ была гоголевская. В другое время она, вѣроятно, показалась бы Михаилу Яковлевичу старой, запущенной, грязной, и он первым дѣлом осмотрѣл бы кровать: не посыпать ли ее порошком? Но в этот солнечный іюньскій день все казалось ему прекрасным. Большія комнаты, диваны, кресла нравились ему своей провинціальной стариной. «Это дѣло извѣстное, что мы все свое ругаем». Михаил Яковлевич был убѣжден, что ругать свое — національная русская черта. Он не знал, что в том же видят свою національную черту французы, — "cette manie que nous avons de nous dénigrer nous mêmes", и едва ли не всѣ вообще народы. В этот день здоровый патріотизм был в нем особенно силен. «Конечно, Эмскія гостинницы наряднѣе, но гдѣ же у нѣмцев наш размах, мощь, широта, сказывающіяся даже в мелочах!» На стѣнѣ висѣло засиженное мухами об'явленіе. Прочитав о «порціи чаю с двадцатью четырьмя кусками сахару», Михаил Яковлевич еще повеселѣл. Ему хотѣлось ѣсть; он берег аппетит для обѣда с Лизой. «Посмотрим, каков этот Василіанц? 'Весьма и весьма', кажется, должен это дѣло понимать».

Пока Черняков умывался и одѣвался, мысль у него все пріятно возвращалась к обѣду, с разлитым по бокалам ледяным вином. — «...Ах, как мило, что вы пріѣхали!» — «Л и з а,

мог ли я не пріѣхать, получив т а к у ю телеграмму! Вы воспользовались королевским правом сдѣлать человѣка счастливым. И представьте себѣ, в тот самый час, когда вы мнѣ послали эту телеграмму, в шесть двадцать, минута в минуту, я принял рѣшеніе выѣхать к вам! Вот как это было. Я ѣхал верхом из Храма Воздуха»... — «Развѣ вы ѣздите верхом, Черняков?» — «Да, я очень люблю этот вид спорта, он один не смѣшон, когда человѣку четвертый десяток... Но умоляю вас, не называйте меня «Черняков»! И неужели вам не совѣстно было написать «жму руку»? Это одно чуть меня рѣзнуло в вашей чудесной телеграммѣ»...

Он надѣл новый свѣтлый костюм и спустился по лѣстницѣ бодрый, здоровый, осанистый, почти красивый. Швейцар почтительно ему поклонился и об'яснил, как куда идти. На широкой, обсаженной деревьями улицѣ были расположены старые длинные дворянскіе особняки, каждый со своим садом. «Есть что-то наивное и уютное в этих мезонинах и колоннах. Может, чему-то люди подражали или хотѣли подражать, а создали что-то свое, чего нигдѣ в мірѣ нѣт и что, хоть убей меня, милѣе мнѣ всяких там ренессансов... И главное именно эта ширь, то, что у нас всегда было вездѣ, тогда как в каком-нибудь старом итальянском или французском городкѣ прелесть — и тоже уют, только другой — в скудости мѣста, в тѣснотѣ», — думал он, любуясь залитой солнцем улицей.

Было мало надежды на то, чтобы Елизавета Павловна оказалась дома в пятом часу дня. Тѣм не менѣе Михаил Яковлевич разыскал дом на Воронежской улицѣ. Швейцара не было, на вопросы отвѣчала безтолковая глуховатая старуха. К изумленію Чернякова, она никакой Муравьевой в домѣ не знала. «Неужто на телеграфѣ перепутали? От Лизы впрочем станется, что она не знает номера своего дома!» — подумал Черняков. Он не сомнѣвался, что на небольшом курортѣ тотчас встрѣтит Лизу.

Однако, ни в б ю в е т к ѣ (здѣсь так называли зданіе вод), ни в Верхнем, ни в Нижнем Паркѣ, о которых говорил швейцар гостиницы, Елизаветы Павловны не было. Михаил

Яковлевич еще был весел и ему по прежнему все нравилось в Липецкѣ; но его настроеніе немного ухудшилось. «Я сам виноват, что не телеграфировал ей. Хотя, как же телеграмма могла бы дойти, если номер дома ошибочный?»

Черняков остановился в нѣкотором недоумѣніи: куда же теперь идти? Он сѣл на скамейку и закурил папиросу. «Довольно глупая исторія!» На другом концѣ скамейки сидѣли два простолюдина, один старик, другой помоложе. Они бѣгло на него взглянули и продолжали разговор вполголоса. «Попробуем разсуждать логически: что она м о ж е т дѣлать в Липецкѣ в шестом часу дня? что я дѣлал бы на ея мѣстѣ? Если ея в паркѣ нѣт, значит она гуляет в лѣсу... Может быть, верхом ѣздит!» — радостно подумал Черняков, вспомнив, что теперь будет ѣздить с Лизой. «Да, это скорѣе всего»... Михаил Яковлевич вздрогнул, услышав фамилію Муравьева, и прислушался.

— И вот пришел этот самый Муравьев в тюрьму к тому убійцѣ, — разсказывал старик, — и говорит ему: «Ты мнѣ должен сказать все, — знаешь вѣдь, я русскій медвѣдь!» А тот ему в отвѣт: «Я тоже, говорит, бѣлый медвѣдь!» — и тут он ему такое показал, что тот ахнул. Что он, братец мой, ему показал, не знаю, врать не буду. Только тот сейчас прямо во дворец к самому царю. О чем они там судили да рядили, этого тоже я, понимаешь ты, знать не могу и не говорю. Подумал, посудил царь и дал ему шелковый шнурок, понимай мол. Значит, так оно выходит, что дѣло совсѣм не так просто, как ты, братец, говоришь. Мы люди темные, нам многое невдомек. А они все это как по писанному, у них все как на ладони, — говорил старик, не обращая вниманія на сидѣвшаго рядом с ним барина. «Это, что-же, о Муравьевѣ-Виленском и о Каракозовѣ, что ли? Вездѣ, вездѣ одно и то же. Народная стихія поглощена мыслью о революціи», — перевел на свой профессорскій язык слышанное Михаил Яковлевич. При его враждебном отношеніи к революціонерам, ему скорѣе должно было бы доставить ироническое удовольствіе то, что простые люди ничего не понимали в революціонном движеніи. Однако их

разговор, напротив, вызвал у него непріятное и безпокойное чувство. Старик оглянулся на него, встал и сплюнул.

— Что-ж, если в кабачек, так пора, а?

Михаил Яковлевич докурил папиросу и пошел дальше. На верандах особняков уютно обѣдали люди, перед ними стояли графинчики и бутылки. Черняков становился все грустнѣе. «Куда я тут поѣхал бы верхом? Скорѣе всего в эту сторону, там уже лѣс».

Он опять вернулся в мыслях к разговору с Елизаветой Павловной. — «...Мы нехорошо с вами разстались в Петербургѣ, Лиза. Не скрою, я был задѣт за живое, я был оскорблен. Вы даже не сочли нужным сказать мнѣ, куда вы ѣдете. Я имѣл право сдѣлать вывод, что вы боитесь, как бы я не поѣхал вслѣд за вами. Однако лгать не буду: этого вывода я не сдѣлал. Сердце говорило мнѣ, Лиза, что и вы — пусть в малой мѣрѣ — раздѣляете мои чувства к вам... Или я ошибся? Тогда не томите меня, скажите сейчас! Вы молчите? Вы улыбаетесь? Ах, как я счастлив, Лиза! Вы не можете себѣ представить, как я был растерян, как я был несчастен в Кисловодскѣ! Я не спал по ночам», — говорил Лизѣ Михаил Яковлевич. Ему самому было странно, что он заранѣе мысленно воспроизводит свой разговор с Лизой и даже восклицает: «ах, как я счастлив!» «В этом, конечно, при желаніи можно усмотрѣть что-то непріятное. Но что же дѣлать, я так устроен. Может быть, профессорская привычка», — думал Черняков с неудовольствіем; он не любил изслѣдовать свои мысли. Людей встрѣчалось уже гораздо меньше, по сторонам дороги на травѣ попадались группы веселой молодежи. «Вѣрно тут пикники главное развлеченіе.

Перед ним был вѣковой лѣс. Кромѣ дубов, берез и сосен, Черняков деревьев не различал, и, быть может поэтому, лѣс казался ему особенно таинственным. «Вон до той поляны дойду и там немного отдохну»... Он не был утомлен, но в лежаньи на травѣ было что-то по сельскому праздничное и соблазнительное. Михаил Яковлевич пошел к тому, что ему издали казалось поляной, и все не мог дойти. Одно мѣсто

сбоку от дороги, у уходившей вверх тропинки, было так волшебно освѣщено прорѣзывавшими деревья косыми лучами солнца, что Черняков умилился почти до слез. Поднявшись по тропинкѣ он попробовал рукой траву, положил просмотрѣнную бѣгло газету — воронежскую, малоинтересную, — и блаженно расположился в самой неудобной позѣ: ни лежа, ни сидя. «Ах, как хорошо! Наш брат, городской житель, может прожить всю жизнь, ничего этого и не замѣтив. Но почему здѣсь все так ассиметрично и неправильно?» Дѣйствительно деревья росли неровно, вѣтки были кривыя, корни горбами выдавались из под земли. «Да, чудесно! И воздух просто божественный! Гдѣ уж Эмсам! И гдѣ морю!» Вдали опять был просвѣт. «А может быть, это оптическій обман лѣса? Гдѣ ни сидишь, всегда кажется, будто дальше лучше и свѣтлѣе! И не так ли это в жизни?» — подумал Михаил Яковлевич, довольный своим символом. «Какая это птица поет? Нѣт, не поет, а... Есть какой-то такой глагол, но я забыл, какой именно... Или это цикады?» Он имѣл самыя смутныя понятія о цикадах. «Кажется, какія-то крылатыя насѣкомыя? еще есть ли в Россіи цикады? У нас в Россіи, впрочем, все есть», — думал он, все больше радуясь тому, что родился в этой необ'ятной сказочной странѣ. «Да, я тогда верхом на лошади рѣшил, что без вас, Лиза, не могу жить, что надо сдѣлать выводы, пора!»...

Михаил Яковлевич вытащил часы, встал, стряхнул с себя приставшую вѣточку. «Кажется, не испачкался? Нѣт, трава сухая». Он хотѣл было взять с собой газету, но она была измята и прорвана. «Сюда. Я отсюда пришел», — подумал он и тѣм же быстрым шагом прошел по тропинкѣ к дорогѣ. «Да, пруд был там... Мимо этого оврага я проходил», — соображал Черняков, чувствуя себя, по дѣтским воспоминаніям, Патфайндером или Чингахгуком. «В самом дѣлѣ, почему все в природѣ так ассиметрично?... Вот это раздвоившееся дерево!... Еще пикничек, какой это по счету: пятый, шестой? Очень милый, уютный городок... А забавный этот приказ Петра, о котором говорил «весьма и весьма»... Но если сегодня за

обѣдом все будет рѣшено, то как быть? Сейчас ли нам ѣхать в Питер или посидѣть еще? Пожалуй, лучше посидѣть здѣсь, я ничего не имѣл бы против», — думал Михаил Яковлевич, по безсознательной связи вспомнив о больном Юріи Павловичѣ. — «Приготовленія можно сдѣлать быстро, и в сентябрѣ вѣнчаться, как раз начало сезона... Молодцы ребята, и смотрѣть на них пріятно. Один моложе другого, экіе счастливцы!» В душѣ Михаил Яковлевич не считал раннюю юность самым счастливым временем своей жизни: в юности его угнетало отсутствіе извѣстности. Теперь он дѣлал вид, будто завидует молодежи, больше потому, что так было принято. «Да, пріятно на них смотрѣть... Этих я, кажется, уже видѣл, когда шел сюда», — думал Черняков, глядя на компанію, расположившуюся с кульками и бутылками шагах в тридцати от дороги.

Человѣк двѣнадцать сидѣли на пнях, на обвалившемся деревѣ, или лежали, облокотившись, на травѣ. Стоял — спиной к Чернякову — лишь один бѣлокурый молодой человѣк, державшій в рукѣ картуз и что-то разсказывавшій другим. «И я бы сейчас выпил пивца, если холодное. Вѣрно, он разсказывает что-то очень забавное... Всѣ слушают, кромѣ той дѣвочки», — думал разсѣянно Михаил Яковлевич. Сидѣвшая на стволѣ дерева дѣвица в сѣром платьѣ, запрокинув назад голову, пила из горлышка бутылки. «Нѣт, не пиво. Должно быть, лимонад или квас», — сочувственно глядя на нее, рѣшил Черняков. — «Очень стройная, и платье какое милое». По одну сторону дѣвушки сидѣл краснощекій юноша, лѣт девятнадцати на вид, а по другую — бородатый человѣк значительно старше. Дѣвушка в сѣром платьѣ отняла бутылку ото рта и передала ее юношѣ. «Быть не может!» — сказал вслух Черняков. Это была Елизавета Павловна.

Он и подумать ни о чем не успѣл, но почувствовал, что случилось что-то непріятное. Михаил Яковлевич сорвался с мѣста. Было неудобно и неприлично идти без приглашенія на пикник незнакомых людей, однако он и об этом не успѣл подумать. Кто-то в компаніи поспѣшно вскочил и сдѣлал знак

говорившему. — «Д-да, нельзя простить, он в-виноват, он», — договорил молодой человѣк, увидѣл знак, тотчас замолчал и повернулся к проходившему мимо него Чернякову. Елизавета Павловна быстро поднялась и пошла навстрѣчу Михаилу Яковлевичу. Другіе участники пикника с неудовольствіем смотрѣли на подходившаго с сіяющей улыбкой элегантнаго человѣка.

— Вы? Как я рада! Когда вы пріѣхали? — спросила Лиза, крѣпко пожимая ему руку и отходя с ним к дорогѣ.

— Часа два тому назад. Выѣхал, как только получил вашу телеграмму... Я так ей обрадовался... Это у вас пикник?... Но, очевидно, телеграф перепутал ваш адрес, я был на Воронежской, вас там не знают... Какая-то старуха... Я знал впрочем, что я вас встрѣчу... У вас пикник, да? — безсвязно говорил Черняков.

— Пикник. Вы гдѣ остановились?... Это на Дворянской, да, я знаю. Вы уже обѣдали? Нѣт, так пообѣдайте. Конечно, один. И давайте, сегодня встрѣтимся в Верхнем Паркѣ у бюветки в десять часов. Нѣт, обѣдать я не могу, сговорилась. Так ровно в десять, у бюветки. Вы знаете, гдѣ бюветка?

— Знаю, но почему в десять? Почему не раньше?

— Раньше я не могу. Вы вѣдь меня не предупредили. Значит, до скораго. И я страшно рада, что вы пріѣхали, — сказала она и еще раз крѣпко пожала ему руку. Михаил Яковлевич неопредѣленно поклонился в сторону компаніи и пошел по дорогѣ. Она вернулась к своим.

«Что сей сон означает?» — растерянно спросил себя Черняков. Сначала он не мог понять, в чем дѣло, сообразил только тогда, когда их больше не было видно. Ему стало ясно, что это был не пикник, а революціонное сборище. «Какое безобразіе! Какое неслыханное безобразіе!» — сказал он себѣ. Михаилу Яковлевичу было бы трудно об'яснить, что именно он считает безобразіем, но в нем вдруг закипѣла злоба: против этих мальчишек, зачѣм-то собирающихся в лѣсу, очевидно что-то затѣвающих, против Лизы, которая в этом участвует и считает их разговоры болѣе важными, чѣм разго-

вор с ним, — даже против самого себя. «Я не должен был пріѣзжать! Может быть, в самом дѣлѣ все вздор? Но если она меня выписала т а к, я все ей скажу! Я скажу ей, что думаю о ней, о них, об их идіотских дѣлах!» — почти с бѣшенством подумал Михаил Яковлевич. И в ту же секунду он почувствовал, что мысли его нелѣпы, что поссориться с ней очень легко, что без нея он жить не может.

IV.

Он заказал самый простой обѣд, не спросил ни водки, ни вина. В отличіе от Мамонтова, Михаил Яковлевич пил только тогда, когда было — или могло стать — весело. Он ждал такой радости от обѣда с Лизой — ему было больно почти до слез.

Пообѣдав, Черняков поднялся к себѣ и лег на диван. «Собственно в чем же я могу ее обвинять?« — думал он, — «Ну, хорошо, революціонное сборище. Развѣ она от меня скрывала, что сочувствует революціонерам? Я отлично знал это. Я думал правда, что она больше сочувствует, чѣм участвует, однако это было лишь мое предположеніе. В концѣ концов она не только не была обязана мнѣ все разсказывать, но даже «не имѣла права»: вѣдь они играют в конспирацію. Вот и бутылочки захватили с собой, чтобы изображать пикник, этакіе заговорщики!... Я ей не навязываю моих идей и, вѣроятно, она не думает, что может переубѣдить меня. Единственное, чего я могу требовать, это чтобы она меня не компрометировала. Но мы найдем и тут modus vivendi. Вѣдь я уже раз хранил у себя трое суток пакет с «Чтой-то братцы». Кто же этого не дѣлает, в таких одолженіях не принято отказывать... Что же собственно перемѣнилось?».

В восемь часов он не вытерпѣл и вышел опять из гостинницы, хотя до назначенной встрѣчи оставалось еще часа два. В паркѣ народа было меньше. Навстрѣчу Чернякову шла компанія, тоже, очевидно, возвращавшаяся с пикника. Но это были другіе молодые люди, хотя и похожіе на тѣх. «Самовар-то,

самовар забыли!» — орал студент. — «Ничего в корзинѣ не осталось, как саранча набросились», — так же весело кричала догонявшая их дѣвица. — «Вот и эти тоже вѣрно собираются произвести революцію», — думал Михаил Яковлевич, злобно поглядывая на молодых людей.

Сторожа, ругаясь, запирали какое-то строеніе. Один из них пил водку прямо из бутылки. На клумбѣ цвѣтов валялись окурки. Липецк теперь казался Чернякову убогим непріятным городком. Тоска у Михаила Яковлевича все росла. Время шло — как умѣет иногда идти. «Я соглашусь на все, что же мнѣ дѣлать?» Жизнь без Лизы представлялась ему безотрадной, безпросвѣтной. Михаил Яковлевич прежде иногда (впрочем рѣдко) думал о «проблемѣ самоубійства» с философской точки зрѣнія. Он допускал, что есть положенія, когда человѣк может и должен покончить с собой, — «ну, неизлечимая форма рака, или заболѣл человѣк сифилисом и заразил жену, или совершенно безвыходное денежное положеніе, голод», — однако самоубійство от несчастной любви было ему малопонятно. Теперь ему казалось, что он понимает таких самоубійц.

В концѣ аллеи он увидѣл обрубленный и выдолбленный ствол большого дерева, со странной крышкой, устроенной на подобіе шапки гриба. Около дерева толпились люди. «Это б-бесѣдка П-петра Великаго», — сказал рядом с Михаилом Яковлевичем пріятный голос. Черняков быстро оглянулся и узнал бѣлокураго полнаго молодого человѣка, который что-то стоя разсказывал на сборищѣ революціонеров. Около него с любопытством осматривал странное дерево человѣк с длинной бородой, сидѣвшій в лѣсу рядом с Лизой. Михаил Яковлевич злобно, почти с вызовом, на них уставился. Ему показалось что у бородатаго человѣка красивое значительное лицо. «Немного похож на царя»... В наружности его товарища ничего значительнаго не было. Лицо у него было очень добродушное с кроткими голубыми глазами.

— Какая же это бесѣдка? Просто испортили чудесный дуб. Едва ли это сдѣлал Петр, — сказал похожій на царя человѣк.

— Так, по крайней мѣрѣ, г-говорит легенда, — отвѣтил другой. «Слава Богу, и заика вдобавок ко всѣм другим своим достоинствам!» — подумал Михаил Яковлевич. Он отошел на нѣсколько шагов и снова оглянулся. Заикающійся человѣк внимательно на него смотрѣл. «Еще подумает, что я сыщик!»... Черняков почувствовал, что ненавидит этих людей.

Михаил Яковлевич и на старости лѣт любил разсказывать об этой своей встрѣчѣ в іюнѣ 1879 года с Желябовым и с Александром Михайловым. Он говорил, что лица у них были смертельно блѣдны и глаза горѣли зловѣщим лихорадочным огнем. Черняков лгуном не был и сознательно не привирал. Но впечатлѣнія измѣнились в его памяти. Ему все не вѣрилось, что в тот прекрасный солнечный день, на мирном веселом курортѣ, какіе-то молодые люди, собравшись на лужайкѣ, постановили убить царя, позднѣе убили его, повернули русскую, быть может міровую, исторію и сами в большинствѣ трагически закончили свои дни. Разсказывал он это с изумленіем и от недоброжелательнаго чувства к ним освободиться никогда не мог. «Вѣдь это был «суд», хороши судьи! Нѣт, Бог меня прости, не было и нѣт у меня к ним симпатій», — говорил он обычно в заключеніе своего разсказа. — «Я им никогда не мог простить этой Липецкой обстановки пикника. Правда, я тут вродѣ, как Лондонскій «Таймс», который не прощал им, что они царя убили в воскресенье»...

В наступавшей темнотѣ незнакомый город стал непривѣтлив. В окнах зажигались огни. Дворянская улица пустѣла. Черняков вернулся в гостинницу. Она тоже перестала ему нравиться. «Навѣрное есть клопы», — угрюмо думал он, поднимаясь по лѣстницѣ. «Ковра, должно быть, не чистили с гоголевских времен». В номерѣ постель уже была готова. Михаил Яковлевич снял пиджак, разстегнулся, опять лег на диван и стал читать «Двадцать мѣсяцев в дѣйствующей арміи». Хотя он не любил ретроградов, лейб-гвардіи штабс-ротмистр

Крестовскій был теперь менѣе ему непріятен, чѣм собравшіеся в лѣсу молодые люди.

Революціонеры никак не могли быть виноваты в том, что отвлекали от него Лизу Муравьеву. Однако безотчетное раздраженіе против них у него все росло. «И что они могли там обсуждать? Гдѣ бы достать денег, чтобы выпустить новое изданіе «Чтой-то, братцы» или какую-нибудь другую пошлость в том же родѣ? Куда они лѣзут? Кому интересно—что думают и рѣшают эти молодые люди, которые, вѣроятно, за всю жизнь не прочли десятка книг? Если выбирать, я предпочитаю самодержавіе пайдократіи. Тот, с длинной бородой, был, правда, взрослый. Да, да, Мамонтов разсказывал анекдотики о «легкомысліи и невѣжествѣ старичков Берлинскаго конгресса». Я знаю цѣну этому дешевому зубоскальству репортеров, они вѣдь убѣждены, что они умнѣе Бисмарков и Биконсфильдов... Мамонтов сам революціонер и шалый, безтолковый человѣк, ему бы тоже к этим на лужайку! Он будет, разумѣется, говорить, что никакой разницы нѣт, Бисмарки ничего не понимают и эти ничего не понимают, и все суета сует!» — раздраженно думал Михаил Яковлевич. В послѣднее время у него отношенія с Мамонтовым стали нѣсколько натянутыми, — оба старались не думать о причинѣ.

Душевное состояніе Чернякова становилось все болѣе тяжелым по мѣрѣ того, как все болѣе злобными становились его мысли. Он вскочил, прошелся по комнатѣ, опять лег. Вдруг он подумал, что, если тѣ двое гуляли по парку, то вѣрно их засѣданіе кончилось. «Ну да, как я раньше об этом не догадался! Но гдѣ же тогда она? Значит, общаго обѣда у них нѣт? С кѣм же она обѣдала? Не с тѣм ли юнцом, который пил из ея бутылки?» В эту минуту в дверь постучали и, не дожидаясь приглашенія, в комнату вошла Елизавета Павловна. Черняков изумленно вскочил.

— Ничего, это я. Не пугайтесь и не надѣвайте пиджака, — сказала она. — Страшно жарко. Вы очень шокированы?

— Я прежде всего счастлив, что вас вижу! — вырвалось у него. У него болтались сзади подтяжки; из под одѣяла на

подушкѣ торчала его ночная рубашка. И почему-то это было не совсѣм непріятно Михаилу Яковлевичу.

— Ну, хорошо, застегните подтяжки и надѣньте пиджак, я отвернусь... Готовы? Отлично. Скажите правду, вы очень шокированы? Конечно, дамам не полагается входить в номера одиноких мужчин. — Она расхохоталась. — Мнѣ рѣшительно все равно, если швейцар внизу принял меня за уличную женщину.

— Ах, как я рад, что вы пришли, — горячо сказал Черняков. Все его раздраженіе мгновенно разсѣялось. — Но прежде всего, вѣдь моей вины нѣт: я правильно вас понял? Вы сказали в десять, у бюветки?

— Совершенно вѣрно. Я могу допустить что угодно в мірѣ, но не то, чтобы вы ошиблись в часѣ встрѣчи или опоздали. Аккуратность вѣжливость королей. Просто я освободилась раньше, чѣм думала, и рѣшила, что могу за вами зайти. Надѣюсь, вы уже обѣдали? Я тоже пообѣдала, но мнѣ хочется чего-нибудь холоднаго. Тут у вас вода?... Фу, теплая!

— Лиза, давайте выпьем вина. Я сейчас закажу.

— Чудно. Мнѣ не приходило в голову, что вы можете меня здѣсь угостить, — отвѣтила она, не обратив вниманія на то, что он впервые назвал ее Лизой. — Закажите холоднаго вина и фруктов. Кажется, мужчины, принимающіе таких дам, всегда заказывают вино и фрукты, правда?

— Я закажу шампанское.

— По какому такому случаю? А впрочем, валяйте. Я рада. — Она опять разсмѣялась звонко и неестественно. Елизавета Павловна была блѣдна. Под глазами у нея обозначились круги. Она говорила очень быстро. Черняков позвонил, зачѣм-то вышел навстрѣчу корридорному, заказал вино и вернулся, незамѣтно сунув ночную рубашку под одѣяло. Он сѣл рядом с Лизой на диван и нерѣшительно взял ее за руку.

— Что-ж, у них нашлось шампанское? Спасибо, вы душка. Говорят, вас ваши слушательницы так и называют «душка Черняков».

— Лиза, с вашего разрѣшенія мы нынче шутить не будем.

Я хочу говорить с вами очень серьезно и об очень важных предметах.

— Это какая-то фраза из Цицерона или из Спинозы. Вы ее перевели с латинскаго?

Нѣт, откажемся на сегодняшній вечер от шуток. У нас происходят какія-то недоразумѣнія. Вы посылаете мнѣ телеграмму, которая меня очень взволновала...

— Правда?

— Можете мнѣ повѣрить! В телеграммѣ вы указываете свой адрес: Воронежская 17. Я пріѣзжаю на Воронежскую 17, старуха мнѣ говорит, что никакой Муравьевой в домѣ нѣт.

— Это дѣйствительно недоразумѣніе, Черняков. У меня было условлено с швейцаром, куда передать телеграмму. Старуха просто не знала. Я разсчитывала, что вы протелеграфируете, когда пріѣзжаете, и что я вас тогда встрѣчу на вокзалѣ.

— Вот как! Но не проще ли было указать в телеграммѣ ваш настоящій адрес?

— По нѣкоторым причинам, мнѣ казалось, что так будет лучше.

— Вот именно. К этим нѣкоторым причинам я и перехожу. Надѣюсь, вы не считаете меня дураком и не думаете, что я повѣрил, будто у вас в лѣсу был пикник? Это было революціонное собраніе.

— Почему вы думаете?

— Потому что ваши мальчики сидѣли на пнях с таким видом, что за версту было видно конспираторов. Не хватало только черных плащей, масок и кинжалов.

— Может быть, вы и правы. Мы еще неопытны, нам всѣм надо учиться конспиративному дѣлу.

— Я думаю, что вам всѣм надо учиться — просто. Кому в университетѣ, а кому вѣрно и в гимназіи. По моему...

— Послушайте, Черняков, — перебила его она. — Если вы хотите меня переубѣдить, то вы даром теряете время.

— Это очень печально. Но я должен сказать то же самое и о себѣ.

— Я и не пытаюсь переубѣждать вас. Примем, как существующій факт, то, что вы не сочувствуете революціи, а я в ней участвую.

— Я не знал, что вы участвуете! Я думал, что вы «сочувствуете».

— В прошлом, это было отчасти вѣрно. Но это больше не вѣрно теперь... Да, вы угадали и слѣдовательно безполезно от вас скрывать: я сегодня была на революціонном собраніи. Вѣрнѣе, на с'ѣздѣ. Разумѣется, это совершенная тайна, я только вам говорю.

— Ах, это был «с'ѣзд»? Приняты, конечно, очень важныя рѣшенія?

— Болѣе важныя, чѣм вы думаете, — сказала Елизавета Павловна с необычной для нея серьезностью. Она стала еще блѣднѣе. Михаил Яковлевич смотрѣл на нее с изумленіем.

И вдруг, непостижимым образом, ему вспомнились слова, сказанныя в лѣсу бѣлокурым молодым человѣком: «Да, нельзя простить, он виновен, он»... До сих пор Черняков совершенно не думал о том, что молодой человѣк сказал. Слова эти непонятно-механически зацѣпились у него в памяти и всплыли в его сознаніи лишь сейчас. Михаил Яковлевич еще не ясно понимал значеніе этих слов, но у него сердце внезапно стало холодѣть. Он тоже поблѣднѣл. Елизавета Павловна перелистывала книгу Крестовскаго.

— Я не интересуюсь тѣм, что говорят и рѣшают такіе с'ѣзды!

— И хорошо дѣлаете, — сказала она тихо. Они молчали минуты двѣ. Лакей принес бутылку шампанскаго, два бокала и тарелку с яблоками и грушами.

— Прикажете откупорить?

— Да, пожалуйста... Вѣдь холодное?

— Прямо со льду.

Пробка хлопнула. «Какой вздор! Какой вздор!» — подумал Черняков. «Ничего эти слова не означали! Мало ли кто и в чем виновен? И вообще все игра в казаки-разбойники!» —

Лакей разлил вино по бокалам и вышел. — «Развѣ она могла бы пить шампанское, еслиб»...

Они слабо чокнулись. Черняков отпил глоток. Елизавета Павловна выпила весь бокал залпом.

— Я ни о чем вас не спрашиваю, но...

— Я ничего и не могла бы вам сказать.

— Но я хочу знать, для чего вы меня вызвали из Кисловодска.

— Не все ли вам равно, какія воды пить, — отвѣтила она, смѣясь очень принужденно. Он побагровѣл, поддался вперед и ударил по столу кулаком, так что бокалы зазвенѣли.

— Я прошу вас не шутить!

— Зачѣм же стулья ломать?... Хорошо, я вам скажу, для чего я вас вызвала... Хотите, я сдѣлаю вам одно постыдное признаніе?

— Лиза, ради Бога! — сказал он умоляющим тоном. — Ради Бога, говорите серьезно и правду.

— Признаюсь, я сейчас чувствую большое смущеніе. Я думала, что это так просто, и тѣм не менѣе я очень смущена. Вижу, что я все-таки дочь папа... Одним словом, я хотѣла вам предложить жениться на мнѣ! — выпалила она. Михаил Яковлевич остолбенѣл.

— Лиза!

— Да, я давно Лиза, но что вы мнѣ отвѣтите?

— Лиза! — повторил он, просіяв. Всѣ смутныя, дурныя и темныя мысли его мгновенно исчезли. — Господи, как я безумно счастлив, — говорил Черняков. — Это банальныя слова, но других слов нѣт, и нельзя по настоящему выразить мои чувства. Зачѣм, зачѣм вы меня пугали? — говорил он, цѣлуя ей руки.

— Постойте, постойте, не торопитесь. Кажется, вы меня не поняли, — поспѣшно, отдергивая руку, сказала она. — Я предлагаю вам фиктивный брак. — Она выпила залпом второй бокал. Теперь главное было сказано. Черняков смотрѣл на нее непонимающим взглядом. — Фиктивный брак... Недурное шампанское!... Даже странно, что в такой глуши есть такія вина.

Отчего вы не пьете? — быстро, с вызовом в тонѣ, говорила она. Ей было мучительно неловко. — Фиктивный брак. Понимаете?

— Что вы такое говорите?

— Я говорю очень ясно: я предлагаю вам фиктивный брак. Вы не понимаете? Фик-тив-ный брак. Вы никогда о таких браках не слышали? Странно, в Петербургѣ были прецеденты... Но не смотрите на меня как баран на новыя ворота. Вас никто силой не заставляет соглашаться. Не хотите — не надо. Я найду другого.

— Постойте... Какой фиктивный брак? Зачѣм фиктивный брак? Это значит, жениться с тѣм, чтобы числиться мужем и женой, не живя?...

— Я не знаю, какой смысл вы придаете слову «живя».

— Но почему фиктивный? Почему не настоящій? Вѣдь я люблю вас! Развѣ вы об этом не догадывались? — спросил он с отчаяніем в голосѣ.

— Может быть, догадывалась, не все ли равно? Я страшно вам благодарна. — «Глупо за э т о благодарить человѣка», — подумала она. — Но...

— Но что? Вы меня не любите?

— Не знаю, как вам сказать. Не буду вас обманывать. Я не влюблена в вас, хотя вы мнѣ нравитесь... Ваша дружба мнѣ страшно дорога, — говорила Елизавета Павловна уже спокойнѣе, точно его об'ясненіе в любви разсѣяло ея смущеніе.

— Это всегда говорят при отказѣ!

— Послушайте... Как бы выразить вам, что я хочу сказать? Ну, еслиб вам предложили поѣхать в какую-нибудь экспедицію, в какую-нибудь далекую землю, хотя бы прекрасную, скажем, куда-нибудь в Южную Америку. Вѣдь вы не стали бы себя спрашивать, дѣйствительно ли эта земля хороша, и не задумывались бы, хочется ли вам туда поѣхать, правда? Вы просто отвѣтили бы, что поѣхать не можете, что вы не путешественник, что вам надо жить и работать в Петербургѣ, что Южная Америка не для вас. Так и я. Южная Америка не для меня.

— Какая Южная Америка? При чем тут Южная Америка? Нельзя ли сегодня обойтись без метафор? Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что ни о каком замужествѣ, ни о каких «любвях» я не могу думать: это, вѣроятно, хорошо, но не для меня. Моя жизнь мнѣ не принадлежит.

— Неправда! Вы влюблены в кого-либо из этих мальчишек! — с яростью сказал Черняков. — Может быть, в того заику? Или в румянаго молокососа, который сидѣл рядом с вами на стволѣ дерева и пил из вашей бутыли?

Она засмѣялась.

— Таким я вас никогда не видѣла, Михаил Яковлевич, — сказала она, едва ли не в первый раз в жизни называя его по имени-отчеству. — Я не знала, что вы ревнивы, как Отелло. Но я в данном случаѣ так же невинна, как Дездемона. Нѣт, я не влюблена ни в румянаго молокососа, ни в заику, как вы изволите выражаться... Откуда, кстати, вы знаете, что он заикается?

— Может быть, в суб'екта с длинной бородой? В того, что сидѣл справа от вас?

— Это уже было бы лучше. Суб'єкт с длинной бородой очень замѣчательный человѣк. Однако, я вижу, у вас очень зоркіе глаза. Нѣт, вы не перечисляйте всѣх, кто там сидѣл и не описывайте их примѣт. Было бы кстати хорошо, еслиб вы и вообще совершенно забыли, что видѣли нас в лѣсу.

— Прежде вы не были так конспиративны. Вы вѣдь меня даже знакомили кое-с-кѣм из ваших единомышленников. Помните того идіота с ціанистым каліем во рту?

— Ах, этот! — сказала она и залилась тѣм же неестественным смѣхом. — Это у него в самом дѣлѣ смѣшная черта: он считает полезным всегда имѣть во рту пузырек с ціанистым каліем, чтобы в случаѣ ареста раздавить и проглотить. Пузырек, дѣйствительно, очень смѣшно у него перекатывается, рано или поздно он его нечаянно раздавит и умрет. Но он совсѣм не идіот. Кстати, если я его с вами познакомила, то конечно тут же выдумала фамилію... Все-таки давайте говорить серьез-

но... «Очень серьезно и о важных предметах», как вы сами сказали... Значит, вы отказываетесь от моего предложенія?

— Я именно не могу думать, что вы говорите серьезно, Лиза! Даю вам слово, мнѣ все кажется, что вы шутите!... Зачѣм вам фиктивный брак?

— Прежде всего затѣм, что мнѣ нужно уйти из дома папа. Вы скажете, что я могу это сдѣлать и без фиктивнаго брака. Но это будет тяжело, папа полѣзет на стѣну.

— От фиктивнаго брака он еще больше полѣзет на стѣну.

— Вы не очень догадливы: разумѣется, папа будет увѣрен, что брак самый настоящій. И я думаю, он был бы рад, еслиб вы стали его зятем.

— Позвольте... Я дѣйствительно ничего не понимаю. Развѣ при фиктивном бракѣ люди живут на одной квартирѣ?

— Есть разные варіанты. Наш варіант был бы именно такой... Но, конечно, папа не главная причина. Мнѣ нужно надежное имя, не вызывающее никаких подозрѣній. Однако, вы не бойтесь, я ничего страшнаго на нашей квартирѣ не хранила бы. Я уточняю еще больше: мнѣ нужен паспорт, по которому я могла бы в любой день, в двадцать четыре часа, собраться и уѣхать заграницу. Конечно, с тѣм, чтобы вернуться. Не буду скрывать от вас: это могло бы вас подвергнуть нѣкоторым непріятностям с Третьим Отдѣленіем. Насколько я могу судить, очень небольшим. А мнѣ вы могли бы оказать огромную услугу. Допускаю даже такую возможность, что ваше имя и ваш паспорт могут спасти мнѣ жизнь... Но если вы боитесь... Незачѣм махать руками, многіе люди отказываются из страха. Сказать вам правду, я думала и о других, в частности о нашем милѣйшем Петрѣ Великом. Он, конечно, мнѣ не отказал бы, однако его имя, положеніе и паспорт несравненно хуже, чѣм ваши. Быть может, он уже на учетѣ у Третьяго Отдѣленія. Тогда как профессор петербургскаго университета, шурин министра фон Дюммлера!... Впрочем, в виду вашего отказа, я вѣроятно обращусь все-таки к Петру Алексѣевичу, — сказала она, вопросительно на него глядя. Лицо у Михаила

Яковлевича было растерянное. Он снял очки, протер их и снова надѣл.

— Нѣт, нѣт, вы надо мною издѣваетесь, — сказал он.

— Значит, нѣт? Что-ж, ничего не подѣлаешь. Я не хочу и не могу вредить вашей карьерѣ. Ну, не будем об этом больше говорить... Надѣюсь, вы все-же не сердитесь, что я для этого вызвала вас из Кисловодска. Там было хорошо?

— Да, там было хорошо, — повторил он и схватил ее за руку. — Лиза!! Милая Лиза! Зачѣм это?

— Зачѣм что?

— Зачѣм вы идете в это ужасное дѣло? Умоляю вас, не говорите мнѣ, что вы идете из любви к народу! Вы не знаете народа и хотя бы уже поэтому не можете его любить. И народ не требует, чтобы вы занимались такими дѣлами... Подумайте!

— Очень благодарю за совѣт. Я уже подумала без вас и об'яснять свои мотивы не нахожу нужным, если вы их не понимаете.

— Но вѣдь это самообман! Мужчины, быть может, идут для карьеры, чтобы стать народными трибунами, вождями, но вы...

Она злобно засмѣялась.

— Хороша карьера идти на висѣлицу!... Или в казематт, все равно... Вы нам приписываете в а ш и побужденія!... Если вы, старшіе, думаете только о своих теплых мѣстечках, то что же удивительнаго в том, что молодые берут в свои руки дѣло освобожденія Россіи? Нас не щадят, и мы щадить не будем!... Впрочем, я очень сожалѣю, что начала этот разговор. Право, было бы лучше, еслиб вы не оскорбляли людей, которые... которых я люблю и уважаю. И не говорили о чувствах, вам непонятных!

— Вздор! Все вздор! Все пустой чудовищный вздор! — сказал он. Лицо у него было очень блѣдно. Они еще долго молчали.

— Пожалуй, я пойду. Поздно, — нерѣшительно сказала она.

— Сидите... Вы сказали, что мое имя может спасти вам жизнь. Как я могу отказаться при таких условіях?

— Ничего, не стѣсняйтесь. Я найду другого.

— Цѣню деликатность этого вашего замѣчанія.

— Вѣдь дѣло идет не о настоящем бракѣ. Какая же неделикатность?

— Еслиб я согласился на это издѣвательство, вы поселились бы со мной... совсѣм? Или вы уѣхали бы на слѣдующій день?

— Нѣт, я никуда пока не собираюсь уѣзжать... Муж не отвѣчает за дѣйствія жены, я знаю такіе случаи. Риск для вас был бы невелик.

Черняков вскочил с дивана.

— Я прошу вас не говорить о рискѣ! — закричал он. У него вдруг брызнули из глаз слезы. Она смотрѣла на него изумленно. Черняков отвернулся от нея и отошел, вынув из кармана платок.

— Извините меня, если я что не так сказала. Но, право, я не думала, что все это вас так взволнует. Вы живете не в моем кругу и не знаете, что фиктивные браки дѣло не такое уж рѣдкое.

— Не могли ли бы вы воздержаться от соціологических обобщеній! Человѣк узнает, что мечта его жизни рухнула, а вы удивляетесь, что он волнуется... Когда вы должны имѣть отвѣт?

— О, это не так спѣшно. Я подожду.

— Вы всегда были сумасшедшая, — сказал он, точно его слезы теперь давали ему право говорить самую нелестную правду. — Как сумасшедшая, носитесь верхом, как сумасшедшая катались на коньках, недаром сломали себѣ два году тому назад ребро. Для вас и ваши нынѣшнія дѣла — то же самое.

— Хорошо, но вывод? Значит, вы не отказываетесь наотрѣз?

— Я подумаю... Я надѣюсь, что...

— Что что? — Елизавета Павловна вдруг покраснѣла. — Давайте, выпьем с горя еще шампанскаго, а? Зачѣм ему про-

падать? Вѣрно эта бутылка стоит рублей восемь? Лучше бы вы дали эти восемь рублей нам. Нам очень нужны деньги.

— Послѣдніе люди, которым я теперь дал бы деньги, это вы!

— Вижу, что если вы станете моим мужем, то мы на ваш счет не поживимся.

— Я тоже думаю. Но, быть может, какая-нибудь из ваших единомышленниц выдет замуж за Губонина или за Полякова? Тоже фиктивным браком, а? У вас и мужчины женятся в интересах революціоннаго дѣла?

— Я рада что вы успокоились. Значит, выпьем?

— Предлагаю вам тост: за Третье Отдѣленіе, — сказал он угрюмо. Она засмѣялась на этот раз естественно.

— С вами я готова выпить даже за Третье Отдѣленіе, вы душка, — сказала она.

V.

Почти одновременно с Липецким с'ѣздом, в Царском Селѣ происходило большое торжество. У великаго князя Владиміра родился сын, названный Андреем. Был во всѣх подробностях разработан пышный церемоніал крещенія. Воспріемниками были царь, германскій наслѣдный принц и двѣ великія княгини. Закончив парады в Красном Селѣ, император переѣхал в Царское. Придворных, особенно дам, очень занимал вопрос, пріѣдет ли туда княжна Долгорукая и появится ли она на выходѣ.

За нѣкоторое время до того княжна с дѣтьми поселилась в Зимнем дворцѣ. По приказу императора, ей была отведена небольшая квартира прямо над его покоями; устроена была под'емная машина, на которой царь к ней поднимался. Смутно предполагалось, что все это будет храниться в тайнѣ. Комнаты императрицы были рядом с комнатами царя. Но, разумѣется, всѣм во дворцѣ стало извѣстно о переѣздѣ княжны через час послѣ того, как она переѣхала (еще раньше, при

установкѣ под'емной машины, прошел такой слух, но ему никто не хотѣл вѣрить).

Это происшествіе вызвало разговоры во всем мірѣ и совершенный переполох при русском дворѣ. Болѣе расположенные к Долгорукой люди сообщали, что княжна не хотѣла переѣзжать во дворец и что на этом настоял император: он теперь не мог прожить без нея и дня. Напротив, недоброжелатели считали княжну интриганкой и приписывали ей самыя дурныя намѣренья, в том числѣ желаніе ввести в Россіи конституціонный образ правленія. Ее злобно называли Екатериной третьей.

При дворѣ и прежде любили Александра II меньше, чѣм его предшественников и преемников. Теперь любовь к нему еще нѣсколько остыла. Хотя двор ненавидѣл интеллигенцію, что-то от ея настроеній как-то передавалось и двору. Охлажденіе к императору отчасти связывалось с войной 1877-1878 годов. Она сопровождалась неудачами и неустройствами. Такія же неустройства неизмѣнно обнаруживались во всѣх русских походах и почти во всѣх войнах во всемірной исторіи вообще. Над турками была одержана полная побѣда. Однако, неудачи глухо вмѣнялись в вину Александру II в большей мѣрѣ, чѣм гораздо болѣе тяжкія пораженія ставились в вину его предшественникам. Условія мира еще усилили общее недовольство. Берлинскій договор был признан дипломатической катастрофой, несмотря на то, что уступки, сдѣланныя в Берлинѣ Россіей, были много меньше уступок, дѣлавшихся другими державами послѣ блестящих побѣдоносных войн.

Помимо успѣхов и неудач, заслуг и вины, Александр II подпал под дѣйствіе общаго историческаго правила: правители, долго державшіе в своих руках настоящую власть, надоѣдают людям независимо от своих достоинств и недостатков. Людовик XIV, царствовавшій семьдесят два года, под конец, без отношенія к его блеску и к его тупости, так надоѣл французам, что его смерть была и в Версалѣ принята почти как національный праздник. В Россіи послѣ четверти вѣка цар-

ствованія Александра II, даже при дворѣ всѣ хотѣли перемѣн, хотя разумѣли под ними каждый свое.

Однако, до переѣзда княжны Долгорукой в Зимній дворец, придворные люди порицали царя только шопотом и очень рѣдко. Теперь языки у всѣх развязались. Почти не понижая голоса, говорили, что это неслыханный, компрометирующій династію скандал. Даже старики, не имѣвшіе привычки осуждать поступки царей или потерявшіе эту привычку в прошлое царствованіе, шептались и сокрушенно разводили руками. «Страшная вещь старческая любовь», — сказал один из них. Всѣ жалѣли больную царицу, понимая, что она не может не узнать о переѣздѣ княжны Долгорукой во дворец. Императрица дѣйствительно узнала очень скоро, — правда, послѣдней. Стало извѣстно, что она сказала фрейлинѣ, графинѣ Толстой, кашляя и показывая в сторону комнат княжны: "Je pardonne les offenses qu' on fait à la souveraine, mais je ne puis pardonner les tortures qu'on inflige à l'épouse".

VI.

Для петербуржцев, приглашенных в Царское Село, подавался экстренный поѣзд, отходившій в девять часов утра. Софья Яковлевна встала в этот іюньскій день очень рано: часа полтора надо было положить на трудный и сложный туалет. За кофе она еще раз внимательно прочла газетную страницу с церемоніалом. Ей теперь полагалось ждать царскаго выхода с «прочими знатными особами». Это было пониженіе.

Юрій Павлович весной подал прошеніе об отставкѣ. В душѣ он немного надѣялся, что его отставка принята не будет. Однако император ее принял. Дюммлер получил чин дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, но в Государственный Совѣт назначен не был. Впрочем, это не свидѣтельствовало о немилости царя: было два таких примѣра с тяжело заболѣвшими сановниками. Теперь же о службѣ и о наградах вообще не

приходилось думать: лица врачей, лечивших Юрія Павловича, становились все серьезнѣе и печальнѣе. Они возлагали надежду только на операцію. Послѣ долгих совѣщаній рѣшено было выписать из Вѣны знаменитаго хирурга Билльрота.

Когда это рѣшеніе было принято, Софья Яковлевна стала нѣсколько спокойнѣе. Ей казалось, что все лучше, чѣм неопредѣленность. Дюммлер, совершенно измученный болями, принял извѣстіе об операціи относительно спокойно.

Юрій Павлович попросил жену поѣхать в Царское Село. Он знал, что Софья Яковлевна очень любит придворныя торжества и что она отказывается от поѣздки из за его болѣзни. Он настоял на своем. Вдобавок (хотя об этом оба они молчали) появленіе Софьи Яковлевны на выходѣ должно было ослабить слухи, будто он так тяжело болен: даже теперь, послѣ окончательнаго ухода Юрія Павловича со службы, Дюммлеры суевѣрно боялись таких слухов.

В восьмом часу утра, как всегда в послѣднее время, пріѣхал доктор Петр Алексѣевич. Он осмотрѣл больного, — точнѣе, задал ему нѣсколько обычных вопросов, измѣрил температуру, пощупал пульс — и зашел к Софьѣ Яковлевнѣ.

— Боже, как вы прекрасны! — сказал он, приложив руку к глазам, точно защищая их от свѣта. — Очень, очень хорошо! Страшно вам идет.

— Ну, как вы нашли его сегодня?

— То же самое, — нехотя отвѣтил доктор. — Как вы знаете, я очень надѣюсь на операцію.

— Вѣдь вы тоже считаете Билльрота геніальным хирургом?

— О да! Тут не существует двух мнѣній. Билльрот дѣлает операціи рака желудка, которых никто не дѣлал до него, он первый стал дѣлать труднѣйшія операціи пищевода, гортани, первый дѣлает внутреннія ампутаціи: вырѣзывает, например, куски кишечника и сшивает концы...

— Однако Некрасов послѣ его операціи умер, — морщась, сказала Софья Яковлевна. Доктор развел руками.

— Медицина не всесильна... У Билльрота, если хотите, есть один недостаток: он не признает или, вѣрнѣе, еще недавно не признавал идей антисептической школы... Что это такое? Ну, было бы долго об'яснять... Так это и есть русское платье? Да, конечно, всѣ наши бабы одѣваются именно так, — сказал доктор, любуясь Софьей Яковлевной. На ней было бѣлое атласное платье с открытыми плечами, с красным, шитым золотом, бархатным шлейфом. — А на головѣ что это за сооруженіе, если смѣю спросить?

— Кокошник.

— Ах, кокошник, — саркастически повторил Петр Алексѣевич. — Просто ни дать, ни взять, мужичка. Вот развѣ бриллiантов немного больше, чѣм обыкновенно бывает у наших пэйзанок. И всѣ будут так одѣты?

— Кромѣ императрицы. У нея платье не бѣлое, а такое, какое ей угодно. Великим княгиням тоже разрѣшаются какія-то отступленія... Ах, какія драгоцѣнности у царицы! Ни у кого в мірѣ нѣт таких!

— Как я рад! У вас даже загорѣлись глаза... Что это вы изволите просматривать? «Высочайше утвержденный церемоніал святаго крещенія Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Андрея Владиміровича», — прочел доктор. — Я пробѣжал в газетах, очень, очень забавно. А почему ваши мейстеры идут сначала младшіе впереди, а потом старшіе впереди?

— Тѣ чины двора, которые идут впереди государя, занимают мѣста — младшіе впереди. А тѣ, что слѣдуют за государем — старшіе впереди: чѣм ближе к государю, тѣм почетнѣе.

— Очень, очень тонко! А что такое «имѣть вход за кавалергардов»? Вы имѣете вход за кавалергардов? По моему, это не совсѣм по русски?

— Да, все это архаично. У нас есть обычаи, оставшіеся от незапамятных времен. Знаете ли вы, — она засмѣялась — что наши дипломатическіе курьеры имѣют право получать в дорогу из царских погребов к каждому завтраку и обѣду три

бутылки вина: по бутылкѣ мадеры, бордо и рейнвейна. Гофмаршал Мусин-Пушкин пытался выдавать им вдвое меньше, ничего не вышло: в этом признали умаленіе царскаго достоинства. И еслиб вы знали, сколько связывается с каждой мелочью задач, обид, даже драм! Вот теперь вѣрно долго спорили о том, какой дамѣ нести на подушкѣ новорожденнаго.

— От таких драм просто подступают к горлу рыданья... Но, по моему, нести на подушкѣ высоконоворожденнаго должна княжна Долгорукая, как первая дама Россіи.

— Ну хорошо, пошутили и будет.

— Ей Богу, стыдились бы вы всѣ в такое время заниматься китайщиной. Вам не совѣстно? «Вы, жадною толпой стоящіе у трона, — Свободы, генія и славы палачи!» — продекламировал доктор.

— Это тоже из присяжнаго повѣреннаго Ольхина?

— Нѣт, это из Лермонтова, — еще язвительнѣе сказал Петр Алексѣевич. Он на днях читал Софьѣ Яковлевнѣ ходившіе по Россіи революціонные стихи о царѣ, написанные адвокатом Ольхиным. Софья Яковлевна слушала с насмѣшкой и возмущеніем. Имени автора доктор ей не сказал; она узнала это имя от брата. — А знаете, Николай Сергѣевич тоже ѣдет сегодня в Царское Село, — многозначительным тоном добавил доктор. При всей своей добротѣ, он, как большинство людей, не всегда мог удержаться от замѣчанія, не совсѣм пріятнаго собесѣднику. Петр Алексѣевич не то замѣтил, не то слышал, что Мамонтов влюблен в Софью Яковлевну.

— Кто это Николай Сергѣевич?

— Мамонтов, — сказал доктор озадаченно.

— Ах, да, Мамонтов, я забыла. Он-то зачѣм же ѣдет?

— Говорит, что хочет набросать эскиз: как в 19-ом столѣтіи высоконоворожденнаго на подушках везут в золотых каретах.

— Да, это стоит изобразить... Что же вы, Петр Алексѣевич, не поздравляете меня с семейной радостью?

С какой?

— Развѣ вы еще не видѣли моего брата? Представьте, Миша женится.

— Да что вы? На ком?

— На дочери профессора Муравьева... Почему у вас, милый друг, глаза полѣзли на лоб?

— На Лизѣ Муравьевой?... Лиза выходит за Михаила Яковлевича?

— Да, ее зовут Лизой. Я страшно рада. Впрочем, я почти ее не знаю. Но она очень хорошенькая, и семья прекрасная. А главное, Миша в нее влюблен, мнѣ это давно казалось. Вѣдь он не выходил из их дома. Как, кажется, и вы, а? Профессор Муравьев очень милый и достойный человѣк, — говорила Софья Яковлевна, поправляя перед зеркалом ленту и с любопытством поглядывая на доктора. — Так поздравьте же, наконец, меня, странный вы человѣк.

— Поздравляю, — растерянно сказал доктор. — Но... как же это? Гдѣ и когда они это порѣшили?

— На днях, в Липецкѣ. Эта барышня там пила воды, а Миша, который нам всѣм хладнокровно об'явил, что ѣдет в Кисловодск, оказался с ней. Подробностей я не знаю. Мадмуазель Муравьева еще в Петербург не вернулась. Миша заѣхал ко мнѣ ненадолго, об'явил, что женится, и куда-то ускакал. Вид у него был странный, вѣрно, от влюбленности... Вот такой же, как сейчас у вас, — тоже многозначительно сказала Софья Яковлевна. — А вы ни о чем не догадывались, видя их чуть не каждый день? Разиня.

— Почему разиня? Я догадывался, что Михаил Яковлевич в нее влюблен. Только и всего.

— «Только и всего»? Надо ли сдѣлать вывод, что она в него не влюблена?

— Я не знаю.

— Вы точно чего-то не договариваете?

— Да нѣт... Я просто удивлен.

— А я очень, очень рада. Мишѣ давно нужно жениться. Он семьянин по натурѣ. Досадно, что я не успѣла по настоящему его разспросить, меня как раз позвали к Юрію Павло-

вичу, Миша не мог подождать. Нынче он у меня ужинает. Приходите тоже.

— Я не помѣшаю? Я, пожалуй, пришел бы. Мнѣ все это очень интересно.

— Конечно, приходите. Только мы будем ужинать рано, в девять. Я вѣрно вернусь домой совершенно разбитой: часа три придется простоять на ногах. — Она посмотрѣла на стѣнные часы. — Скоро ѣхать.

— Я испаряюсь. Но вы, ради Бога, не думайте, что я не рад вашему сообщенію... Я просто...

— Почему же мнѣ было бы думать, что вы не рады?

— Я просто был изумлен. Кланяйтесь высоконоворожденному, — сказал доктор, цѣлуя ей руку.

VII.

У дверей неимовѣрной высоты неподвижно, как статуи, стояли чудовищнаго роста а р а п ы. Все было театрально во дворцѣ: и лейб-казаки в бешметах, вытянувшіеся на ступеньках Растрелліевской лѣстницы, и дежурные кавалергарды, имѣвшіе право снимать о д н у перчатку, и церемоніймейстеры, постукивавшіе на ходу жезлами с набалдашниками из слоновой кости, с двуглавым орлом и Андреевской лентой. Но черные великаны в бѣлоснѣжных тюрбанах, попавшіе из Абиссиніи в Царское Село, особенно подчеркивали театральный характер зрѣлища. «В самом дѣлѣ что-то есть балетное, но это в сто раз блистательнѣй!» Во дворцѣ собрались тысячи людей. Тѣм не менѣе было тихо. По паркетам многочисленных зал скользили раззолоченные чины двора, дамы с портретами и с шифрами, офицеры в разноцвѣтных мундирах, в красных супервестах, в лосинах. Люди разговаривали вполголоса, многіе шопотом. Старые придворные говорили Софьѣ Яковлевнѣ, что эта традиція существует только при русском дворѣ и что она непремѣнно исчезнет с Александром II, так как наслѣдник терпѣть не может церемоніала.

— «Ах, какая красота!» — подумала она, входя в Большую галлерею. — «Лучше версальской Galerie des Glaces!»... Безчисленныя зеркала залы невѣроятных размѣров отражали раззолоченных людей. «А он издѣвается над всѣм этим!» — думала она, разсматривая толпу. — «Неужели в самом дѣлѣ он пріѣхал в Царское Село? Однако на вокзалѣ его не было. И слава Богу, что не было, если уже идут сплетни»...

Мамонтов бывал у них в домѣ не чаще раза в недѣлю. Люди, считавшіеся близкими друзьями Дюммлеров и пріѣзжавшіе каждые три-четыре дня справляться о здоровьи Юрія Павловича, служили как бы мѣрилом, которым руководились другіе: в зависимости от степени близости одни заходили раз в двѣ недѣли, другіе раз в мѣсяц. Николай Сергѣевич, как старый знакомый, как друг дѣтства Чернякова, мог пріѣзжать нѣсколько чаще. Однако, перечисляя мужу по вечерам посѣтителей, Софья Яковлевна никогда Мамонтова не называла.

В послѣдній раз с ним вышел не совсѣм пріятный разговор. Он начался тоже с придворнаго торжества. «Дались же им эти дешевыя насмѣшки!» — с непріятным недоумѣніем думала Софья Яковлевна. Но то, о чем Петр Алексѣевич говорил благодушно-иронически, у Мамонтова вызывало раздраженіе и злобу. А главное, с доктором она говорила с глазу на глаз, тогда как при послѣднем визитѣ Николая Сергѣевича был другой гость, с недоумѣніем поглядывавшій на нигилиста в домѣ Дюммлеров. Гость даже уѣхал раньше, чѣм ему полагалось бы.

— Ну вот, вы его выгнали, Николай Сергѣевич. Довольны?

— Прошу меня извинить. Впрочем, что же церемониться с этими господами? Народ мрет с голоду, а они, видите ли, развлекаются.

— Кажется, и вы, Николай Сергѣевич, не цѣлый день работаете на благо народа? Кто разсказывал о вчерашнем спектаклѣ?

— Одно дѣло ходить в театр, и другое...

В театр и из театра к Донону.

— И другое дѣло возить «высоконоворожденнаго» на подушкѣ в золотой каретѣ, в сопровожденіи чуть ли не цѣлой гвардейской дивизіи. Нѣт, в этих божеских почестях ребенку и х крови есть что-то от римских цезарей...

— «Времен упадка римской имперіи».

— Да, именно, времен упадка римской имперіи, хоть вы изволите иронизировать. О н и кончит, как обычно кончали цезари.

— Об этом я просила бы вас мнѣ не говорить! Прошу очень серьезно.

— Как хотите... Но почему мнѣ не говорить правды? Повѣрьте, такія зрѣлища именно и создают террористов. Я увѣрен, что еслиб я на нем был, то это лишній раз убѣдило бы меня в совершенной правотѣ революціонеров.

— А я увѣрена в обратном: еслиб вы там бывали, вы смотрѣли бы на вещи иначе.

— Я не имѣю ни малѣйшаго желанія там бывать. Это тот же балет, но в настоящем балетѣ по крайней мѣрѣ хорошая музыка... Впрочем, вы, вѣроятно, хотѣли сказать: «еслиб тебя туда звали, но тебя туда и на порог не пустят»...

— Я ничего такого сказать не хотѣла и не хочу. Вы отлично знаете, что я сама никак не аристократка. Еслиб не тридцать пять лѣт службы Юрія Павловича, то и меня бы туда «на порог не пускали». Нѣт, я просто хотѣла сказать, что вы как художник были бы увлечены красотой этого зрѣлища. Я ничего красивѣе царскаго выхода никогда не видѣла.

— Вѣроятно, вы очень мало видѣли, если вы способны сказать такую.. такую вещь.

— Я говорю о вещах соизмѣримых, с альпійскими горами я этого не сравниваю. Во всяком случаѣ ваша демократія ничего такого создать и показать не может.

— И слава Богу!

— Пусть «слава Богу», но не может. Царское Село могло создать только самодержавіе, все равно как и Версаль... По моему, кстати Большой Царскосельскій дворец не уступает по великолѣпію Версальскому. И уж во всяком случаѣ такого

ансамбля дворцов и садов в Версалѣ нѣт. И вы это знаете лучше, чѣм я.

— А вы так же хорошо знаете, что, сколько ни заключать непріятныя вам слова в ироническія кавычки, остается совершенно безспорным, что все это создано рабским трудом... Но бросим это, мы не убѣдим друг друга. Как вы будете одѣты?

— Как всѣ: буду в русском платьѣ.

— Я хочу видѣть вас в русском платьѣ! Я хочу написать ваш портрет в русском платьѣ!

— Очень польщена, но это невозможно. Вы не думаете, что я теперь буду вам позировать, — сказала она сухо, напоминая о болѣзни Юрія Павловича.

— Я не прошу вас позировать, но дайте мнѣ на вас взглянуть, я напишу вас по памяти! Гдѣ хотите, когда хотите... У меня, а?

— Вы, кажется, совершенно сошли с ума, Николай Сергѣевич.

— Королевы ходят в мастерскія художников. Ну, не хотите, а я все-таки вас увижу! Я поѣду в Царское Село и буду ждать вас у ворот.

В эту минуту в гостиную вошел Коля. Мамонтов поговорил с ним об экзаменах, о деревнѣ, куда он уѣзжал к товарищу на слѣдующій день, — Софья Яковлевна не хотѣла, чтобы ея сын был в Петербургѣ в день операціи. Коля отвѣчал односложно. Почему-то Мамонтову теперь всегда бывало неловко в обществѣ этого мальчика, — точно так же, как в обществѣ Чернякова.

«Кажется, никакой перемѣны нѣт», — думала Софья Яковлевна, тихо разговаривая со стоявшим рядом с ней знакомым, обмѣниваясь улыбками со знакомыми, стоявшими подальше. «Нѣт, конечно, здѣсь этого не показывают». Ей приходило в голову, что послѣ отставки Юрія Павловича ея положеніе может стать иным. Софья Яковлевна часто бывала на выходах, и радость, которую она испытала когда-то, впервые попав во дворец, теперь была далеким воспоминаніем, уже не

совсѣм ей понятным. Но и своей она себя здѣсь никогда не чувствовала; впрочем, ей по долгим наблюденіем казалось, что своими себя здѣсь чувствует развѣ двадцать или тридцать человѣк. «Если я 'парвеню', то еще тысячи двѣ человѣк — такіе же парвеню. Быть может, и Анна», — думала она с улыбкой, разумѣя Анну Каренину. Теперь она смотрѣла на все здѣсь как бы со стороны, почти как на прошлое. Не обо всем было пріятно вспоминать. Она знала, что ея муж отчасти обязан своей карьерой ей: без него она сюда не попала бы, но без нея карьера Юрія Павловича, вѣроятно, шла бы менѣе успѣшно. «Конечно, кое-в-чем он прав», — неожиданно подумала она о Мамонтовѣ и вспомнила, что он ее дразнил Анной: «всѣ эти Каренины и Облонскіе органичны в этом обществѣ, а вы нѣт, прежде всего потому, что вы умнѣе, и потому, что вы чужеродное тѣло»... «Да, быть может, кое-в-чем он прав. Но они так все преувеличивают, так сгущают краски, так не способны оглянуться на самих себя. Может быть, как люди, эти не хуже, а лучше их», — думала она, улыбаясь знакомым, почтительно кланявшимся ей издали. Ее занимал вопрос, кто она без мужа: «Все-таки кто-нибудь или совсѣм никто? Нѣт, почти то же самое».

— ...Ну, слава Богу! — горячо говорил ей сосѣд, справлявшійся, как всѣ, о здоровьи Юрія Павловича. Софья Павловна знала, что его зовут Игорь. Имя осталось у нея в памяти потому, что было рѣдкое, но отчества она не помнила. Этот человѣк в свое время бывал у них довольно часто на засѣданіях кружка. В прежніе годы у Дюммлера собирался кружок с длинным и скучным названіем, — что-то вродѣ любителей — или ревнителей — генеалогіи и геральдики. Софья Яковлевна показывалась там лишь на нѣсколько минут до начала засѣданія и исчезала. В кружкѣ обсуждались вопросы о гербах, о том, кто на ком женился в восемнадцатом вѣкѣ, о пропусках в Бархатной книгѣ. По ея наблюденіям, членами кружка состояли преимущественно люди, фамиліи которых, по случайному пропуску, в Бархатную книгу не попали. «Игорь» был очень благодушный человѣк из разряда «добрых сплетников»

(этих она любила; ей были непріятны только злые сплетники). Он перестал их посѣщать с тѣх пор, как Юрій Павлович заболѣл; но Софьѣ Яковлевнѣ было понятно, что этот веселый, бодрый и здоровый человѣк просто не выносит визитов к тяжело больным людям. «Я сама б ы л а такой»... Он приблизительно выражал среднія мысли и чувства того общества, мѣсто в котором она завоевала. Ей было бы пріятно, еслиб теперь это общество совершенно ее не интересовало. Но, по своей правдивости, она обманывать себя не могла. «Правда, меньше, гораздо меньше. Его вліяніе? Нисколько!»

— ...Да, доктора находят улучшеніе.

— Вы очень, очень меня успокоили. Я увѣрен, что все окажется пустяками, вѣдь у Юрія Павловича очень крѣпкій организм. А то кто-то разсказывал, будто вы выписали из Вѣны какую-то знаменитость.

— Это правда. Я настояла на том, чтобы выписать профессора Билльрота для окончательнаго діагноза. Юрій Павлович ни за что не хотѣл, но я поставила на своем. Он пріѣзжает в концѣ будущей недѣли.

— Ну вот видите, как хорошо. Я знаю много таких случаев. Главное: организм — говорил член генеалогическаго кружка. Как ни пусты были его слова, они дѣйствовали на Софью Яковлевну успокоительно. Она произносила отчетливо его имя, а отчество старательно скрадывала в скороговоркѣ (ей было извѣстно, что люди из за ошибки в отчествѣ, вообще из за любого пустяка, иногда становятся врагами на всю жизнь). Член генеалогическаго кружка обратил ея вниманіе на стоявшую не очень далеко от них даму: брилліанты у нея были дѣйствительно сверх'естественных размѣров.

— ...Каждым можно убить человѣка!

Ей казалось, что он сказал эти слова с внутренним умиленіем. Она знала, что этот небогатый человѣк наивно влюблен в богатство. «Помнится, он всегда как-то особенно говорил: «страшный богач!», «фантастическіе богачи!». Точно он гордится чужими милліонами!.. Но, может быть, мнѣ теперь все

представляется по иному. И не потому, что я становлюсь лучше. Скорѣе потому, что я становлюсь хуже».

— А кто, Игорь ...вич, генерал, который с ней разговаривает?

— Как? Вы не знаете армяшку? Это граф Михаил Таріелович Лорис-Меликов, — сказал «Игорь ...вич», благодушно-иронически подчеркивая слова «граф» и «Таріелович». — Военный геній! Новый Наполеон! Ночной штурм Карса, поход на Эрзерум, одним словом tous les hauts faits! Правда, злые языки говорят, что под Карсом он дѣйствовал не столько наступательно, сколько подкупательно, как кто-то кому-то рекомендует в «Капитанской Дочкѣ»: паша будто бы ему сдался за большія деньги.

— Мало ли вздора говорят люди! — сказала Софья Яковлевна сухо. — Так это знаменитый граф Лорис-Меликов? Я его себѣ представляла другим.

Вдоль зеркальной стѣны проходил невысокій, очень худой человѣк восточнаго типа, с болѣзненным лицом оливковаго цвѣта, с зачесанными налѣво, почти прилизанными волосами, с большим мясистым носом, с густой черной сѣдѣющей бородой. «Довольно невзрачный, не похож на героя», — подувала Софья Яковлевна. — «Странная голова, какая-то квадратная. А глаза очень умные»... О генералѣ Лорис-Меликовѣ много говорили в Россіи. За военныя заслуги он в теченіе одного года получил графскій титул, Георгія третьей и второй степени и Владиміра первой. Послѣ войны с турками государь назначил его генерал-губернатором трех волжских губерній для борьбы с чумой. Ему было ассигновано на это четыре миллиона, он израсходовал 300 тысяч и положил конец эпидеміи. Впрочем, враги и тут утверждали, что никакой эпидеміи не было: чуму выдумал Лорис-Меликов для полученія наград. Софья Яковлевна знала, что такую злобу вызывают только выдающіеся люди. Теперь Лорис-Меликов был харьковским генерал-губернатором и на этой должности тоже преуспѣл, установив добрыя отношенія с либеральным обществом, — это совершенно не удалось двум другим новым генерал-губер-

наторам, Гурко и Тотлебену. Защитники и почитатели Лорис-Меликова говорили, что он умный человѣк очень передовых взглядов и что он очаровал царя своим краснорѣчіем. Говорили также, что средства у него крайне скромныя, а здоровье плохое.

— ...Оратор он в самом дѣлѣ очень хорошій, только ужасно любит народныя изрѣченія и чисто-русскія поговорки, которых мы, русскіе, и не знаем... Его отец чѣм-то торговал на Кавказѣ. Кажется, суконцем, если не халвой и кишмишем, — сказал вполголоса член генеалогическаго кружка. — А его предки всѣ были по нашему пристава, а по ихнему мелики.

— Я слышала, что он очень замѣчательный человѣк, сказала Софья Яковлевна еще холоднѣе.

— Он сюда идет. Хотите, я вас познакомлю?

— Очень хочу.

Лорис-Меликов подходил к ним. Софья Яковлевна успѣла замѣтить, что свитскій мундир плохо на нем сидит, что на нем мягкія чувяки, которые носили при дворѣ только кавказскіе князья. Вслѣдствіе этого походка у него была уж совсѣм неслышная, «кошачья». Когда он поровнялся с ними, «Игорь ...вич» остановил его. Лорис-Меликов любезно с ним поздоровался, хотя, как показалось Софьѣ Яковлевнѣ, не помнил, кто это.

— Только что о вас говорили, Михаил Таріелович. О вас всѣ говорят.

— Говорят, но что? — весело спросил Лорис-Меликов. — Ничего не подѣлаешь. Заглаза, как говорится, и архіерея бранят.

Член генеалогическаго кружка, так же весело засмѣявшись, представил его Софьѣ Яковлевнѣ. Лорис-Меликов освѣдомился о здоровьи Юрія Павловича, с которым когда-то познакомился в провинціи, и сказал: «Ну слава Богу!» тоже очень радостно. Затѣм он шутливо поговорил о русских платьях, изумляясь тому, как дамы могут ходить с такими шлейфами. «Игорь ...вич» перевел разговор на политику.

...Как вы там ни хотите, а с Англіей мы рано или поздно

сцѣпимся. Британское правительство ведет против нас цѣпь интриг вездѣ, гдѣ только может, — убѣжденно сказал он. Он всегда очень горячо говорил то, что говорили всѣ в его обществѣ.

— Да, коварный Альбіон гадит, — сказал с улыбкой Лорис-Меликов и упомянул о смерти принца Наполеона.

— Говорят, он был очень способный юноша, этот принц Лулу, он же так называемый Наполеон IV. Однако, я склонен думать, что династія Бонапартов слишком скомпрометирована во Франціи и ни на что больше разсчитывать не может.

— А нам какое дѣло? Пусть сажают хоть династію Гамбетты, — повторил пришедшую из Берлина шутку «Игорь ...вич». Лорис-Меликов посмотрѣл на него.

— Я не раздѣляю равнодушія к западным и особенно к французским дѣлам, — замѣтил он и обратился к Софьѣ Яковлевнѣ, одобрительно кивнувшей ему головой. — Я новый человѣк в Петербургѣ, а тѣм паче в Царском Селѣ. Когда кончится сегодняшнее торжество?

— В два часа. Вы спѣшите?

— Пріѣхал всего на день, хотѣл бы сегодня же уѣхать. Мужик проказник работает и в праздник, — сказал он и, поклонившись, пошел дальше вдоль зеркальной стѣны.

— Чѣм не Гладстон? А вот будущій Биконсфильд, кажется, нынче не появился.

— Кто это?

— Константин Петрович... Как «кто такой Константин Петрович»? Побѣдоносцев! Ума палата: он этого армяшку вокруг пальца обведет. Жаль только, что попович. У наслѣдника цесаревича он первый человѣк.

— Но вѣдь государь терпѣть не может Побѣдоносцева. Он его считает ханжей и обскурантом.

— Будто? Во всяком случаѣ, если, чего не дай Боже, у нас будет парламент, то за Биконсфильдами и Гладстонами дѣло не станет.

— Почему «не дай Боже»? Было бы очень хорошо, еслиб у нас был парламент.

— Ах, Господи, я и забыл: вѣдь вы либералка. Нѣт, никак не могу с вами согласиться: конституція совершенно не соотвѣтствует историческим началам Россіи и духу русскаго народа, — горячо сказал Игорь.

— А новгородское вѣче? — спросила Софья Яковлевна, подавляя зѣвок.

— Вѣче, — начал он и не докончил. — Вы видите эту жемчужину на княгинѣ Юсуповой? Это знаменитая «Пелегрина», она принадлежала Филиппу II. За нее Юсуповы в прошлом вѣкѣ заплатили двѣсти тысяч рублей, а теперь ей цѣны нѣт!

— Да, я знаю... А ея діадема принадлежала Каролинѣ Мюрат... Кажется, идут, — прошептала Софья Яковлевна.

Царь шел в шестом раздѣлѣ процессіи, послѣ двора Владиміра Александровича и своего собственнаго двора. Софья Яковлевна, давно не видѣвшая Александра II, чуть не ахнула при его появленіи: так он осунулся в лицѣ. «Но еще красивѣе, чѣм прежде!»... На царѣ был кавалергардскій мундир, — караульную службу несли в этот день кавалергарды. Он играл свою роль хорошо, как всегда, благосклонно и величественно отвѣчал на поклоны людей, стоявших в нѣсколько рядов вдоль стѣн колоссальной залы; всѣ низко кланялись при прохожденіи шестого раздѣла. Эта волна поклонов, медленно шедшая по рядам вмѣстѣ с государем, всегда напоминала Софьѣ Яковлевнѣ волны, пробѣгавшія по колосьям нивы в вѣтренный день.

У императрицы был ея обычный в послѣдніе годы вид умирающей женщины; она, видимо, дѣлала над собой усилія, чтобы не кашлять. За ними, вслѣд за министром двора и тремя дежурными офицерами свиты, шел наслѣдник престола с женой. Он был еще чуть выше ростом, чѣм император; но кромѣ гигантскаго роста в нем ничего величественнаго не было. Лицо его ничего не выражало. «Ох, не то будет, когда он вступит на престол. Как жаль, что умер Николай Александрович!» — подумала Софья Яковлевна. Далѣе шли великія князья и княгини в полагавшемся им порядкѣ. «Зачѣм она надѣла свои

сапфиры? На розовом хороши только брилліанты и жемчуг»... Несмотря на свои новыя чувства, Софья Яковлевна, по долголѣтней привычкѣ, все замѣчала и заносила в память.

Легкій веселый шопот вызвал новорожденный, котораго в пятнадцатом раздѣлѣ несла графиня Адлерберг; она держала ребенка на подушкѣ еще с Запаснаго дворца и была видимо совершенно измучена, хотя подушку незамѣтно поддерживали шедшіе рядом с ней генерал-ад'ютанты, князь Суворов и Толстой, нарочно для того приставленные. Ребенок горько заплакал, нарушая церемоніал и традицію тишины, вызывая общія улыбки. «Первая не-театральная нота в грандіозном спектаклѣ», — подумала Софья Яковлевна, всматриваясь в подходивший восемнадцатый раздѣл, в котором шли статс-дамы, гофмейстерины и фрейлины. Как и всѣх, ее интересовало, появится ли в процессіи Долгорукая. Княжна шла в послѣдних рядах. Она была очень блѣдна и не поднимала глаз. Никаких драгоцѣнностей на ней не было, хотя всѣм было извѣстно, что царь забрасывает ее подарками. Уже недалеко от выходной двери она оглянулась на Эрберовы часы и тотчас снова опустила голову, не замѣчая или стараясь не замѣтить, что ей почтительно кланялось нѣсколько человѣк. Нѣкоторые другіе, напротив, демонстративно от нея отворачивались. Процессія медленно прошла по направленію к дворцовой церкви.

Перед выходом император Александр II в своих комнатах перваго этажа прочел нѣсколько вѣрноподданнических адресов. Хотя со дня покушенія Соловьева прошло уже немало времени, адресы по случаю спасенія царя еще приходили каждый день с разных концов Россіи. Как ни много их было, он читал их от перваго слова до послѣдняго. Теперь царь вѣрил им меньше, чѣм прежде; все-же чувства, высказывавшіяся в адресах, вызывали у него удовлетвореніе и благодарность. В этот день министр двора представил шесть адресов: от двух дворянских собраній, от трех городских дум и от владикавказской еврейской общины. Царь написал на каждом нѣсколько благодарственных слов. Затѣм он еще раз про-

смотрѣл обряд крещенія: на листѣ великолѣпной бумаги великолѣпным почерком было написано все, что ему полагалось дѣлать. Узнав от министра, что нѣкоторые придворные чины по нездоровью сегодня не явились, он подумал и приказал взыскать с каждаго по 25 рублей «на молебен об их скорѣйшем выздоровленіи».

— Так дѣлала матушка Екатерина, у которой мы нынче в гостях. Ея апартаменты как раз над этими. Там, бывало, «изволила забавляться в карты и танцовала контр-танец, и играно бывало на скрипицах», — сказал он с усмѣшкой, показывая рукой на потолок. — Умная была дама, но во многом ошибалась. Польшу раздѣлила, что было печальной ошибкой, за которую довелось расплачиваться мнѣ. Так всегда бывает. Внуки платят по счетам дѣдов.

Граф Адлерберг слабо улыбнулся, сочувственно на него поглядывая, и взял со стола бумаги.

— Пожалуй, время, ваше величество. Двадцать минут одиннадцатаго.

Позднѣе знакомые говорили Софьѣ Яковлевнѣ, что безвыходное положеніе между императрицей и княжной сильно отражается на здоровьи царя, что на нем очень сказалось пребываніе на фронтѣ в пору турецкой войны. — «По добротѣ своей, государь плакал на виду у всѣх, провожая в бой каждую дивизію», — об'яснил кто-то Софья Яковлевнѣ. Никто не говорил, что император страдает от всеобщаго к нему охлажденія и еще больше от всеобщей ненависти к княжнѣ.

Александр II никогда не был мизантропом. Но как всѣ правители, долго бывшіе у власти, он знал и, быть может, даже преувеличивал человѣческое раболѣпство. В этой залѣ собрались тысячи раззолоченных, знатных, чиновных, в большинствѣ богатых людей; но проходя мимо них и благожелательно отвѣчая на их низкіе поклоны, царь устало думал, что всѣ они — или почти всѣ — стремятся к полученію от него должностей, чинов, наград, денег. По настоящему теперь его любила лишь одна женщина.

Никто не говорил и о том, что здоровье императора могли подорвать шедшіе глухіе слухи, будто на него готовятся новыя покушенія. Александр II часто думал об этих неизвѣстных ему таинственных людях, которые собирались его убить. По полицейским донесеніям, это были в большинствѣ студенты или бывшіе студенты. На фронтѣ полтора года тому назад он видѣл немало студентов, работавших добровольцами в санитарных дружинах, и они своим самоотверженным, тяжелым, грязным трудом приводили его в восторг, о котором он говорил и писал близким людям. Солдатское дѣло было ему привычно — в той формѣ, в которой оно может быть привычно царям. Он сам был всю жизнь офицером, знал, понимал и любил жизнь офицерства. Но в походных лазаретах на Балканах грязь и ужасный воздух вызывали в нем такое отвращеніе, что он едва мог оставаться с ранеными требовавшіяся десять или двадцать минут: поспѣшно раздавал награды, поспѣшно говорил полагавшіяся слова и уѣзжал, при чем в самом дѣлѣ нерѣдко плакал: быть может, все-таки было бы лучше пренебречь требованіями общества, предоставить славян их судьбѣ и не об'являть войны туркам. Он знал также, что студентами были до призыва очень многіе новые офицеры, уступавшіе кадровым по выправкѣ и знанію дѣла, но не уступавшіе им в храбрости и старавшіеся им подражать в манерах. «Кто же эти? Конечно, в семьѣ не без урода», — старался себя утѣшить он, читая рапорты, которые ему представлялись ежедневно. Иногда на его утвержденіе представлялись приговоры судов, — он то утверждал их, то не утверждал и чувствовал, что запутывается все больше. Когда он смягчал приговоры, казавшіеся ему слишком жестокими, против этого почтительно возражало Третье Отдѣленіе. Он знал цѣну людям Третьяго Отдѣленія, но они охраняли его и княжну. Царь склонялся то к либеральным, то к реакціонным мѣрам, то шел на уступки, то брал их назад и совершенно не знал, что ему дѣлать.

«Кажется, он и его отец и довели пышность до этих нигдѣ невиданных высот». — Софьѣ Яковлевнѣ не раз при-

ходилось слушать техническіе споры старых дипломатов о том, кто лучше в своей роли: Николай или Александр? «Какой это французскій актер говорил о Николаѣ: "Il a le physique de son métier?"... Нѣт, он, вѣрно, еще лучше! И в Европѣ сейчас такого нѣт. Вильгельм слишком бюргер, Франц-Іосиф недостаточно высок ростом, о Викторіи говорить нечего», — восторженно думала Софья Яковлевна, провожая царя влюбленным взглядом. Несчастная любовь к «пышности» не очень вязалась с перемѣной в ея чувствах, но она знала, что никогда ея в себѣ не преодолѣет. — «И какая величественная благожелательность ко всѣм!» Она не догадывалась, что царь держал на лицѣ эту маску просто по долголѣтней привычкѣ. В дѣйствительности, все здѣсь ему надоѣло, тяготило его и утомляло.

В церковь допускались только самые высокопоставленные люди. Софья Яковлевна рѣшила не дожидаться конца богослуженія. Мысли о болѣзни царя теперь смѣшались у нея с мыслями о болѣзни Юрія Павловича. При выходѣ из ворот дворца она на мгновеніе остановилась, придерживая рукой шлейф. В сильно порѣдѣвшей толпѣ, поглядывавшей на нее, как ей казалось, со злобой и насмѣшкой, Мамонтова не было. «Ну, разумѣется! Какой вздор! Конечно, это было шутка, и слава Богу, что он не пріѣхал!»... Ей теперь было ясно, что он не выходил у нея из памяти даже тогда, когда она говорила и думала о другом.

Мамонтов был утром в Царском Селѣ. Он проспал, проклинал себя за это и поспѣл к воротам дворца уже послѣ того, как проѣхали придворныя кареты, доставившія с вокзала приглашенных. Николай Сергѣевич в дурном и все ухудшавшемся настроеніи духа постоял с полчаса у ворот, погулял вдоль дворца, растянувшагося фасадом чуть не на полверсты. В сады никого не пускали. Вездѣ стояла охрана, — этого прежде не бывало. Люди мрачнаго вида подозрительно оглядывали Мамонтова.

Он думал, что этот несимметричный дворец с золотыми

каріатидами у окон, с фантастическими галлереями и садами, с янтарными комнатами и зеркальными залами — настоящее чудо русскаго искусства. «Весь этот пейзаж не менѣе русскій, чѣм московскій Кремль, и уж конечно болѣе русскій, чѣм какая-нибудь Кострома: тут настоящая, уже цивилизованная, Россія, а не предисловіе к Россіи, длиннѣйшее, скучноватое, нам теперь непонятное. Что в том, что строителем дворца был итальянец? Во первых, Растрелли дал только идею, планы ансамбля, нѣкоторые чертежи, а в с е чудо создали тысячи никому не извѣстных русских людей, не оставивших потомству и своего имени. А кромѣ того Растрелли, быть может, чувствовал Россію, русскую душу, русскій пейзаж гораздо лучше, чѣм какой-нибудь московскій боярин, отроду не выѣзжавшій с Остоженки или с Лубянки. Только у геніального человѣка. почувствовавшаго все это, могла явиться мысль — построить на сѣверных снѣгах южный дворец и сдѣлать русским итальянское»...

Со стороны Запаснаго дворца показался поѣзд новорожденнаго. Вид золотых карет, придворных, конвоя, лакеев в красных ливреях и в треуголках с перьями, вызвал у Николая Сергѣевича крайнее раздраженіе. «Хвастают своим богатством не лучше, чѣм богачи из мѣщан. Покойный отец удивлял купцов-сосѣдей фаэтоном от Іохима, а они — золотыми каретами... Ей же все это нужно как воздух! Она почти так же мало принадлежит к этому міру, как я. Да в сущности, за исключеніем одной семьи, здѣсь всѣ — тѣ же лакеи, здѣсь рюриковичи отличаются от «скороходов» только видом и цвѣтом ливреи. Дѣйствительный аристократизм ненамного лучше мнимаго, а уж у нея-то он совершенно мнимый. Нѣт, ждать как идіот до третьяго часа я не буду!». Экстренный поѣзд приглашенных отходил назад в Петербург лишь в 2 часа 25 минут. — «Не буду ждать, я ей не мальчишка!» — думал он, точно Софья Яковлевна пригласила его в Царское Село. «И с ней тоже все вздор! Разбита жизнь, не удалась жизнь!»...

По дорогѣ домой Мамонтов почти рѣшил, что присоединится к революціонному движенію.

VIII.

Софья Яковлевна предполагала сама встрѣтить на вокзалѣ профессора Билльрота. Но в день его пріѣзда у нея сильно разболѣлась голова. Чернякова, которому послали записку, не оказалось дома, и пришлось попросить поѣхать на вокзал Петра Алексѣевича.

— Я не возлагала бы на вас эту обузу, дорогой доктор, еслиб не чувствовала себя т а к плохо, — сказала Софья Яковлевна, сидѣвшая в гостиной, против обыкновенія, не на стулѣ, а на диванѣ, с флаконом солей в рукѣ. — Надо беречь силы перед завтрашним днем.

— Да, вам надо себя поберечь, — отвѣтил Петр Алексѣевич. Он посмотрѣл на нее и вздохнул. — Разумѣется, я поѣду на вокзал. Одно только: по нѣмецки я читаю болѣе или менѣе свободно, но по части разговора совсѣм швах. Вѣроятно, Билльрот говорит по французски. Ничего, как-нибудь сговоримся.

— Я вам страшно благодарна... Впрочем, мнѣ наскучило постоянно вас благодарить. Но узнаете ли вы его на вокзалѣ?

— Если я не узнаю, то вѣдь не узнаете и вы. Я видѣл его фотографіи, он, говорят, немного похож на Леонардо да Винчи... Кромѣ того, как врачу чутьем не узнать Билльрота! От него вѣрно исходит этакое медицинское сіяніе, — говорил Петр Алексѣевич, старавшійся шутливым тоном подбодрить Софью Яковлевну. — Кстати, об его пріѣздѣ уже прошел слух по всему Петербургу. Меня человѣк восемь коллег умоляли «дать им Билльрота» для их паціентов. Другіе просто желали бы предстать пред свѣтлыя очи. Вѣдь он в хирургіи тот же царь. Надѣюсь, вы ничего не будете имѣть против того, чтобы они завтра к нему сюда заѣхали?

— Разумѣется, ничего... Но вѣдь п о с л ѣ ? — спросила Софья Яковлевна, разумѣя «послѣ операціи». Теперь в домѣ говорили просто: «до», «послѣ».

— Большинство — послѣ. А трое хотѣли бы видѣть, как оперирует Билльрот.

— Это уж пусть он сам рѣшает. Конечно, пусть другіе больные воспользуются его пріѣздом. Конечно! — горячо сказала она. «Как подобрѣла, бѣдняжка... Вот и своего Билльрота отдает напрокат страждущим», — подумал доктор. Он очень любил Софью Яковлевну, в послѣднее время полюбил даже Дюммлера, но всю эту недѣлю был настроен раздраженно-саркастически.

По дорогѣ на вокзал Петр Алексѣевич волновался. Предполагалось, что он изложит Билльроту исторію болѣзни. «Как же я это ему к чорту изложу, хотя бы даже и по французски?» — сердито думал он. Для храбрости доктор выпил в вокзальном буфетѣ бутылку пива, — было очень жарко. — «И неужто ему говорить «Ваше Превосходительство»? Нѣт, лопну, а не скажу!» Как всегда при встрѣчѣ с незнакомым человѣком, Петр Алексѣевич конфузился из за своего крошечнаго роста.

Он гулял по перрону, готовя начальную фразу, и одновременно думал все о том же, о странной новости, недавно сообщенной ему Софьей Яковлевной. Доктор не был влюблен в Лизу Муравьеву или был в нее влюблен не больше, чѣм в нѣкоторых других женщин. Тѣм не менѣе ему было непріятно, что она выходит замуж за Чернякова. Елизавета Павловна еще не вернулась из Липецка. «Воды оказались ей очень полезны», — низким баритоном говорил тогда Михаил Яковлевич за ужином у сестры. Софья Яковлевна, повидимому, не находила ничего страннаго в том, что невѣста ея брата не пріѣхала с ним в Петербург. Но Петр Алексѣевич отлично знал, что Лиза совершенно здорова и что Липецк они же с ней сами выдумали.

За ужином Черняков почему-то счел нужным показать телеграмму, полученную им из Эмса от его будущаго тестя. Павел Васильевич выражал радость довольно горячо, — хотя как будто ее можно было бы выразить еще чуть горячѣе, — поздравлял дочь и Михаила Яковлевича, без настойчивости предлагал ускорить свое возвращеніе в Россію. «Все это стран-

ная исторія», думал доктор, гуляя по перрону, нервно поглядывая на часы и стараясь угадать, гдѣ остановятся вагоны перваго класса. «Впрочем, так и быть, скажу ему «Эксцелленц». Маслом каши не испортишь»...

Когда длинный поѣзд подошел, доктор побѣжал вдоль вагонов, всматриваясь в выходивших людей, и встрѣтил Билльрота в концѣ перрона. Петр Алексѣевич тотчас его узнал, хотя сходство с Леонардо было весьма небольшое, — узнал даже не по фотографіи, а просто нельзя было не узнать, — «в самом дѣлѣ в нем что-то такое есть!», — подумал доктор, подбѣгая. Билльрот, плотный осанистый человѣк с большой сѣдѣющей бородой, с очень умным, благодушным лицом, быстро шел к выходу, держа в лѣвой рукѣ дорожный несессер, а в правой небольшой кожаный ящик, очевидно, с инструментами. Увидѣв подбѣгавшаго к нему растеряннаго человѣка, он остановился с вопросительной улыбкой. Петр Алексѣевич что-то говорил якобы по нѣмецки, стараясь отобрать у него ящик. Билльрот отдал ему несессер, взял ящик в лѣвую руку и, сняв ею перчатку с правой, крѣпко пожал руку доктору.

— Я знаю, у вас снимают перчатку, я был в Россіи, — сказал он. — Очень рад познакомиться, коллега. Как больной?

Однако Петру Алексѣевичу не пришлось ни сообщать о больном, ни об'яснять, почему не пріѣхала на вокзал госпожа фон Дюммлер (об этом его настойчиво просили и Софья Яковлевна, и Юрій Павлович): к ним быстро подходил Черняков, который, вернувшись домой, получил записку сестры и успѣл во время пріѣхать на лихачѣ.

— Дас — брудер геррин Дюммлер, — запинаясь, сказал Петр Алексѣевич.

— Профессор Билльрот? Чрезвычайно рад знакомству, — поспѣшно сказал Черняков и только посмотрѣл на доктора. Теперь все пошло прекрасно. Михаил Яковлевич говорил по нѣмецки совершенно свободно.

— ...Да что вы, зачѣм же было пріѣзжать женѣ паціента? И вы напрасно побезпокоились. Вѣдь я знаю адрес, — сказал

Билльрот и назвал по русски улицу Дюммлеров, смѣшно произнося русскія слова. — Очень рад буду увидѣть опять Петербург. Какой прекрасный город! Мнѣ его показывал профессор Богдановскій, когда я пріѣзжал к этому бѣдному поэту... Да, да, Некрасов... Я знаю, мнѣ писали, что он умер. Очень, очень его жаль. Говорят, это был замѣчательный поэт? Но его страданія были невыносимы, смерть его от них избавила, — говорил он поглядывая по сторонам, очевидно всѣм интересуясь.

Носильщик принес довольно потертый чемодан. Они вышли из вокзала. Билльрот, не переставая разговаривать, с любопытством оглядѣл орловских рысаков Дюммлера, предложил Чернякову сѣсть в коляску первым, — от чего тот отказался, — предложив доктору сѣсть между ними, — от чего тот тоже отказался (на скамейку сѣл Михаил Яковлевич). Экипаж покатил по улицам. Билльрот не переставал любоваться ими и, разспрашивая о положеніи больного, вставлял: «Ах, какая прекрасная площадь!» или «А это чей же дворец?»

Познакомившись с Софьей Яковлевной, на красоту которой он видимо обратил вниманіе, Билльрот внимательно выслушал ея разсказ о болѣзни, задал нѣсколько вопросов и прошел к себѣ. Ему были отведены в первом этажѣ, рядом с гостиной, кабинет Юрія Михайловича и сосѣдняя с кабинетом комната. Умывшись и выпив чашку чаю, он в старомодном черном сюртукѣ с бордюром поднялся во второй этаж, по дорогѣ поглядывая на мебель и на картины.

На порогѣ спальной он на мгновеніе остановился и впился глазами в больного, затѣм подошел к кровати, представился и заговорил, плотно усѣвшись в креслѣ, которое ему пододвинул доктор. Петр Алексѣевич сначала слушал с благоговѣйным вниманіем, точно Билльрот должен был и разспрашивать больного не так, как другіе врачи. Задавал он свои вопросы очень бѣгло, но ни одного из них не повторил и за все время ни разу не свел с больного своих блестящих глаз. Послѣ каждаго отвѣта он радостно кивал головой и говорил: «Хорошо»... «Очень хорошо»... «Превосходно»... Когда Дюммлер прошептал, что в послѣдній раз боли были ужасающія,

Билльрот мягко прикоснулся к его рукѣ и сказал: «Да, да, я знаю, разумѣется»... Лицо Юрія Павловича прояснялось. Вскользь Билльрот сообщил, что, по странному совпаденію, на прошлой недѣлѣ три раза вырѣзывал в Вѣнѣ больным камни из желчнаго пузыря.

— И они живы? — еле слышно спросил Юрій Павлович. На лицѣ Билльрота выразилось изумленіе.

— То есть как живы ли они? Разумѣется, живы и здоровы. — Он засмѣялся. — От этой операціи не умирают!... Ну, теперь позвольте немного вас потревожить, — сказал он и принялся осматривать больного, при чем опять все время повторял: "Gut"... "Sehr gut"... "Ausgezeichnet"...

— Так как же вы рѣшаете, господин профессор? — спросил Юрій Павлович уже гораздо болѣе ясным голосом.

— Тут и рѣшать нечего, — весело отвѣтил Билльрот. — Завтра же вырѣжем вам эти горошинки... В сущности я не понимаю, для чего вы меня выписали? — обратился он к Софьѣ Яковлевнѣ. — Операція не серьезная, да у вас вдобавок есть превосходные хирурги. Я многому мог бы, например, научиться у профессора Пирогова... А вот, до завтра вам придется поголодать, ѣсть ничего нельзя, — сказал он Дюммлеру сочувственно, точно это во всем дѣлѣ было самое непріятное.

В спальную поспѣшно, без стука в дверь, вошел русскій профессор, лѣчившій Юрія Павловича. Почти одновременно пріѣхали и другіе врачи. Софья Яковлевна представляла их Билльроту. Одного из них он встрѣтил, как стараго друга. Но когда доктор упомянул об их встрѣчѣ у постели Некрасова, Билльрот мгновенно заговорил о красотѣ Петербурга. Он никогда в присутствіи больных не говорил о скончавшихся паціентах.

Врачи удалились в кабинет Юрія Павловича. Начался консиліум, — быть может, двадцатый по счету в этом кабинетѣ. «Завтра утром... Завтра утром», — думала Софья Яковлевна. Голова у нея болѣла все сильнѣе. Все собственно было предрѣшено еще до пріѣзда Билльрота, но у нея до сих пор оставалась маленькая надежда: что если этот знаменитый че-

ловѣк вдруг все отмѣнит, назначит другое, и Юрій Павлович выздоровѣет без операціи? Чуть пошатываясь, она вышла в гостиную. Черняков, читавшій газету, быстро поднялся навстрѣчу сестрѣ.

— Ну что? Что он сказал?

— Завтра операція, — тихо отвѣтила она, опускаясь в кресло. — Миша, прошу тебя, останься с ним вечером, я больше не в силах... Я больше не в силах.

Она заплакала. Михаил Яковлевич смотрѣл на нее, вздыхал и не знал, что сказать.

— Хочешь воды? — придумал он.

— Нѣт... Спасибо.

— Конечно, я останусь. Но почему ты нервничаешь? Вѣдь его и вызвали для операціи.

— Да... Да, да...

— Бог даст, все сойдет хорошо. Вѣдь он маг и волшебник.

— Бог даст... Бог даст... Миша, позаботься о том, чтобы он всѣм был доволен... Я не в силах... Я просто не в силах...

— Может быть, и чек ему сунуть на его десять тысяч, чтобы он не волновался: все-таки нѣмец? Хотя нѣт, ты права, не надо: он, конечно, вѣрит, да еще обидѣлся бы... Будь совершенно спокойна, я все сдѣлаю, — сказал Черняков и с облегченіем вышел в столовую. Там стол был накрыт на четыре прибора.

— Икра сегодняшняя? — спросил Михаил Яковлевич лакея уже веселѣе. Михаил Яковлевич был очень разстроен своей исторіей с Лизой, он волновался также из за болѣзни зятя, но перед хорошим ужином настроеніе у него всегда улучшалось. «Надо, надо сегодня выпить: горя достаточно, и своего, и чужого»...

— Так точно. Утром от Елисѣева привезли.

— Отлично... Вы ее так и оставьте в банкѣ, Никифор. Незачѣм перекладывать в вазочку. На тарелку насыпьте побольше льда, чтоб не согрѣлась...

Он отдал еще нѣсколько распоряженій, спрашивая о блюдах и потирая руки совершенно так, как дѣлают изобража-

ющіе радость актеры. «Как ни как, у нѣмца, послѣ бирзуппе, будь он там хоть разгофрат и разэксцелленц, глаза разбѣгутся от двухфунтовой банки икры», — подумал Черняков и велѣл подать Лафит и Шато Икем, лучшія вина в погребѣ Дюммлеров. Шампанское не годилось в виду праздничнаго характера этого вина.

Михаил Яковлевич вернулся в гостиную лишь тогда, когда оттуда послышались голоса. Консиліум кончился. Было принято рѣшеніе произвести операцію на слѣдующій день в десять утра. Профессора прощались с Софьей Яковлевной и, сочувственно на нее глядя, совѣтовали ей «хорошенько выспаться и отдохнуть». Послѣ их от'ѣзда она увела Билльрота в другую комнату.

Петр Алексѣевич, блѣдный и измученный, прошел в переднюю почему-то на цыпочках. К его удивленію, на консиліумѣ Билльрот выразил мнѣніе, что надежды на благополучный исход операціи очень мало. — «Еслиб это еще были только камни», — сказал он негромко, оглядываясь на дверь, и не докончил фразы. — «Однако, я с вами совершенно согласен: другого выхода нѣт». На этом консиліум и кончился.

— Петр Великій, а Петр Великій, — окликнул доктора Черняков. — Куда вы? Вы хотите отдать меня на с'ѣденіе нѣмцу? Ну, это дудки! Оставайтесь ужинать, все-таки вдвоем легче.

— Софья Яковлевна не ужинает? — спросил доктор, остановившись. Михаил Яковлевич посмотрѣл на него, хотѣл было задать вопрос и не задал. Ему не хотѣлось разстраиваться перед ужином. — Ну, что-ж, я пожалуй, останусь. Я собирался наскоро гдѣ-нибудь перекусить и вернуться.

— А что пріятно, Петр Великій, когда этакій, можете себѣ представить Билльрот называет вас «герр коллеге»?... Кстати, довожу до вашего свѣдѣнія, что госпожа по нѣмецки — «фрау», а «геррин» это «властительница», владычица» и всякое такое.

— Все равно. Один чорт!

Я велѣл подать Шато-Икемцу, — сказал Черняков.

Доктор сердито на него посмотрѣл. — Так вы идите в столовую, а я пойду за ним.

Вид стола с банкой икры и с запыленными бутылками как будто в самом дѣлѣ произвел пріятное впечатлѣніе на Билльрота. Он ѣл и пил за двоих. «Икру слопал прямо, как какую-нибудь Боснію!» — думал Михаил Яковлевич, не отстававшій, впрочем, от гостя. Разговор между ними не умолкал ни на минуту. Доктор почти не принимал в нем участія, и не только потому, что плохо знал нѣмецкій язык. Петр Алексѣевич был очень разстроен. Черняков, с которым он был всегда дружен и который с прошлой недѣли стал ему непріятен, теперь раздражал его тѣм, что больше думал о Шато-Икемѣ, чѣм о сестрѣ и об ея умирающем мужѣ. Нѣкоторое разочарованіе вызвал у Петра Алексѣевича и Билльрот, в особенности своей актерской игрой в разговорѣ с больным. «Конечно, он по существу прав, но я не мог бы, просто не мог бы т а к лгать. Не мог бы и ѣсть с таким аппетитом, еслибы знал, что у меня завтра под ножом умрет паціент, хотя бы совершенно чужой человѣк. А еще говорят, он врач гуманист»... Несмотря на свою уже немалую медицинскую практику, Петр Алексѣевич не понимал, какое душевное облегченіе испытывал за столом, в обществѣ молодых здоровых людей, Билльрот, проводившій всю жизнь в операціонных залах.

— ...Как вы хорошо знаете нѣмецкій язык! А вашего зятя я просто принял бы за нѣмца. Русскіе необыкновенно способны к иностранным языкам. Я все больше прихожу к мысли, что в Европѣ будущее принадлежит вашей странѣ. И врачи у вас превосходные. Я нигдѣ не видѣл таких великолѣпных больниц, как в Петербургѣ, — говорил он совершенно искренне.

— Слышите, доктор, — сказал Черняков и для вѣрности перевел Петру Алексѣевичу слова гостя, пріятно удивившіе их обоих. — Вот только государственныя дѣла у нас не блестящія, — обратился он к гостю. Михаил Яковлевич хотѣл узнать политическіе взгляды Билльрота.

— Ах, да, да... Ради Бога, об'ясните мнѣ, что такое у вас происходит. Что означают эти ужасныя покушенія?

Узнав, что в молодой русской интеллигенціи многіе сочувствуют террору, Билльрот высоко поднял брови и даже открыл рот.

— Как же так? Я не понимаю... Зачѣм убивать чиновников- Бѣдь они дѣлают то, что им приказано.

— Не каждое приказаніе надо исполнять, — вставил по французски доктор. Билльрот смотрѣл на него изумленно.

— Как не каждое предписаніе надо исполнять? Но вѣдь человѣк лишится куска хлѣба... Ну, хорошо, а покушеніе на царя? — Доктор чуть развел руками. Он о покушеніи Соловьева не высказывался и еще не имѣл твердаго мнѣнія. — Вѣдь ваш царь преобразовал Россію! Вспомните, какой была Россія при его отцѣ... Нѣт, скажите мнѣ, что такое вообще происходит в мірѣ с молодежью! — сказал Билльрот и даже отодвинул бокал, в который ему подливал вина Михаил Яковлевич. — Вы знаете, мнѣ иногда кажется, что мое поколѣніе — послѣднее. На смѣну ему, быть может, идут люди, которые не будут ни любить, ни понимать культуру, искусство, радости жизни. Я говорю, разумѣется, не о вас. Но я положительно больше не нахожу общаго языка с молодежью, особенно в Пруссіи, хотя я сам сѣверный нѣмец... А эта общая національная ненависть!... Не понимаю, просто не понимаю! Вѣдь я либерал и раціоналист восемнадцатаго вѣка, случайно задержавшійся на землѣ, — сказал он с истинным сокрушеніем. Доктор хотѣл было отвѣтить, что либерализм и раціонализм восемнадцатаго вѣка кончились именно кровью, но не знал, как это об'яснить на иностранном языкѣ. Он за столом говорил не то, что хотѣл сказать, а то, что мог сказать.

— Меглих. Аллес меглих, — сказал он.

— А как насчет политики Австро-Венгріи? Или вы ею не интересуетесь? — спросил Черняков, желавшій ругнуть австрійское правительство за Боснію и Герцеговину. Билльрот засмѣялся.

Was versteht der Bauer in Gurkensalat? — сказал

он. — Впрочем, я и рад бы не интересоваться политикой, да развѣ это возможно, господин профессор? Вспомните слова Буркгардта: «Политика ломится в окно к тѣм, кто ее не пускает на порог». Но какая у нас в Вѣнѣ политика? Основной принцип австро-венгерской государственной жизни: никаких важных вопросов не ставить, а на менѣе важные не давать ясных отвѣтов... Нѣт, нѣт, мое поколѣніе послѣднее, — опять повторил он то, о чем видно много думал.

Лакей принес бутылку коньяку. Билльрот приподнял ее с подноса, взглянул на надпись, радостно ахнул и, взяв штопор, сам в одно мгновеніе очень ловко откупорил бутылку. «Руки у него дѣйствительно золотыя», — подумал Михаил Яковлевич, которому все больше нравился гость. Отпив с наслажденіем из рюмки, Билльрот заговорил об Италіи, гдѣ теперь находилась его жена с больной дочерью, об искусствѣ, о своем ближайшем другѣ Брамсѣ, при чем разсказал о нем нѣсколько анекдотов.

— Phantasie, Exzentricität, Narrheit, Genialität, wie liegt das alles so nahe beisammen. Nicht wahr, Herr Professor? — спросил он Чернякова. Михаил Яковлевич, мало интересовавшійся Брамсом, что-то промычал и подлил Билльроту коньяку. «Не много ли будет перед завтрашней операціей? — с сомнѣніем подумал Петр Алексѣевич.

— Да, да, послѣднее поколѣніе... А все-таки надо принимать жизнь. Ich bin doch ein Weltbejaher, — весело сказал Билльрот.

Послѣ кофе Черняков пошел наверх за сестрой. Вѣнскій профессор, немного понизив голос, с любопытством спросил Петра Алексѣевича по французски:

— Скажите, пожалуйста, кто эти люди? Что это за принцы? Они всегда так ѣдят?

Доктор отвѣтил, что Дюммлер не принц, но русскій министр и богатый человѣк. Билльрот вздохнул.

— Боюсь, что ему недолго осталось пользоваться своим богатством, — сказал он.

Вечером Билльрот, в сопровожденіи Софьи Яковлевны, Чернякова и доктора, обошел дом в поисках комнаты, которая лучше всего подходила бы для операціи. Он предпочел бы сдѣлать операцію в больницѣ, но большого значенія этому не придавал и по долгому опыту знал, что богатые люди никогда на это не соглашаются. Петр Алексѣевич предложил угловую гостиную. Билльрот не любил освѣщенія с двух сторон. Зала была недостаточно свѣтла.

— Не проще ли произвести опéрацію в спальной, чтобы не переносить его? — сказала Софья Яковлевна.

— Это совершенно невозможно, — кратко отвѣтил Билльрот. За столом, в гостиной, на вокзалѣ он разговаривал очень скромно. Но на консиліумѣ и тут, при отдачѣ распоряженій, тон у него был совершенно другой, чрезвычайно внушительный. Петр Алексѣевич позавидовал: чувствовал, что у него не будет авторитетнаго тона, даже если он станет знаменитостью. «На сіе впрочем мало надежды». — Больной ни в каком случаѣ не должен видѣть приготовленій к операціи. Моральное состояніе паціента имѣет огромное значеніе, еще недостаточно оцѣненное наукой. Неправда ли, коллега?

— О я. Вихтиг! — сказал польщенный Петр Алексѣевич.

— Очень важна воля к жизни у больного, — подтвердил Черняков больше для того, чтобы не молчать все время. Послѣ плотнаго ужина его клонило к отдыху. Билльрот на него покосился. Он не встрѣчал паціентов, у которых не хватало бы воли к жизни.

— Скажем проще: не надо волновать больного, он и так перед операціей волнуется достаточно. Ну, так вот что: из комнат, которыя вы мнѣ показали, я выбираю ту, синюю, с тремя окнами. Только одно... — Он немного замялся, а затѣм сказал рѣшительно: — В этой комнатѣ прекрасная мебель, дорогіе ковры. Как бы чисто хирург ни работал, остаются слѣды крови, карболки... Нѣт, нѣт, не говорите, что это не имѣет никакого значенія. Так всегда говорят п е р е д операціей. А когда больной выздоровѣл, ругают хирурга: зачѣм испортил!

— Нѣт, я все-таки прошу вас с этим совершенно не считаться, — сказала Софья Яковлевна. Несмотря на благоговѣніе, которым был окружен в домѣ Билльрот, в ея голосѣ послышалось раздраженіе. «Вот, наконец, сказался нѣмец, а то он до неприличія был на нѣмца не похож», — подумал Черняков. Петр Алексѣевич не сразу понял, смутился и поспѣшно в полувопросительной формѣ высказал мнѣніе, что в синей диванной слишком много ковров, гардин, мягкой мебели. Билльрот похлопал его по плечу.

— Я рад, что вы такой передовой врач, — сказал он. — Антисептика, да, да... Тот французскій химик, который учит хирургов, как им надо дѣлать операціи... Милѣйшій Джозеф Листер... Все это, конечно, очень цѣнно. Но у хирурга могут быть и другія соображенія, кромѣ антисептики. Повѣрьте, самое главное в нашем дѣлѣ: вѣрный взгляд, познанія, хорошія руки, быстрота работы. Я слышал, что Листер немного на меня сердится, — смѣясь добавил он. — Нѣт, если вы не возражаете, мы остановимся на синей комнатѣ.

Петр Алексѣевич не возражал. В спорѣ двух школ он был всецѣло на сторонѣ новой. Ему было извѣстно, кого разумѣет Билльрот под французским химиком. Один петербургскій ученый врач, пробывшій полтора года в командировкѣ в Парижѣ, разсказывал Петру Алексѣевичу о борьбѣ, которую вел с врачами-практиками Пастер, никогда врачем не бывшій. Хирурги, не вѣрившіе в существованіе микробов, доводили его до припадков дикаго бѣшенства, вызывавших ужас у его учеников (эти припадки назывались "les fureurs de Monsieur Pasteur"). Впрочем, в послѣднее время Пастер добился нѣкоторых результатов: большинство хирургов теперь перед операціями мыли руки. Вѣнская школа, во главѣ которой стоял Билльрот, тоже пошла на уступки.

— О я, дас нихт зер вихтиг, — сказал доктор.

— Найдется ли у вас в домѣ четырехугольный стол длиной в два с лишним метра и не очень широкій?

Софья Яковлевна в недоумѣніи смотрѣла на Билльрота,

на Петра Алексѣевича. Она плохо представляла себѣ размѣры столов в метрах.

— Но развѣ на столѣ не будет слишком твердо? — нерѣшительно спросила она.

— Мы положим матрац. Впрочем, это не так важно. Я половину операцій произвожу на кушетках. Вот эта, пожалуй, подходит, только она немного низка. Надо, чтобы пацієнт был на такой высотѣ, — показал он рукой. — Мы поставим эту кушетку на сложенные ковры. Разумѣется, их надо свернуть подкладкой вверх. Вот и все. Теперь еще нѣсколько слов вам, дорогой коллега, — обратился он к доктору. — Вѣдь вы будете ассистировать, правда? Отлично, очень вас благодарю. Есть ли у вас фельдшерица, владѣющая нѣмецким или французским языком? Отлично. Но, пожалуйста, чтоб была очень спокойная женщина: нѣт ничего хуже нервных сидѣлок. Инструменты я привез с собой. Мнѣ нужны будут двѣ миски с водой и мыло. Два-три чистых полотенца, если можно даже четыре. Однако главное: опытная, хорошая, спокойная фельдшерица.

Узнав, что три петербургских хирурга просили разрѣшенія присутствовать при операціи, Билльрот вздохнул.

— Я сдѣлаю то, что так же хорошо сдѣлал бы любой из них, — сказал он своим первым, скромным тоном. — Но, разумѣется, я ничего против этого не имѣю.

С разрѣшенія Болльрота и Софьи Яковлевны, Черняков зашел к зятю. — «Только, прошу вас, без волнующих разговоров», — внушительно сказал Билльрот. Михаил Яковлевич поднялся во второй этаж и постучал в дверь спальной. Сидѣлка поднялась ему навстрѣчу.

— Ради Бога, сидите, я не сяду... Я к тебѣ только на минуту, Юрій Павлович, — начал Черняков и остановился: так поразило его измученное лицо больного. Он хотѣл говорить бодрым тоном, но сразу лишился самообладанія. Сидѣлка, воспользовавшись случаем, вышла из комнаты. Михаил Яковлевич сѣл в ея кресло. Он не знал, что сказать. Ну, слава

Богу, завтра операція, ты избавишься, наконец, от этих болей. Билльрот совершенно нас всѣх успокоил.

— Да... Да... Успокоил, — прошептал Юрій Павлович.

— Он не велѣл утомлять тебя разговорами и разрѣшил мнѣ посидѣть у тебя лишь одну минуту, — солгал Черняков, чувствовавшій, что он просто не мог бы долго оставаться в этой комнатѣ. Только теперь ему стало вполнѣ ясно, как тяжела жизнь его сестры. — Тебѣ нужно хорошенько отдохнуть.

— Спасибо тебѣ... За все... твое вниманіе. — Дюммлер скосил глаза на дверь. Повернуться он не мог. Он хотѣл сказать: «передай привѣт твоей невѣстѣ», но это было слишком трудно выговорить. — Кланяйся... невѣ... Миша, если... что, случится, я очень... на тебя надѣюсь, — еле выговорил он. Михаил Яковлевич неожиданно почувствовал, что у него подступают к горлу рыданья. «Что это? Однако изнервничался я с Липецка!».

— Ничего не может случиться, Юрій Павлович. Операція пустяковая, а Билльрот первый хирург в мірѣ... Я надѣюсь, что ты проведешь ночь хорошо, — сказал Черняков, удивляясь глупости своих слов. — Извини меня, я пойду... Он не велѣл... Так до завтра... — Михаил Яковлевич осторожно прикоснулся к рукаву ночной сорочки больного. Из рукава жалко торчала исхудавшая кисть руки. Дюммлер видимо хотѣл приподнять руку и не мог. — "Bonne chance", — почему-то по французски сказал Черняков и поспѣшно встал. Его волненіе все росло, он почувствовал, что больше совершенно собой не владѣет. — Так до завтра, — повторил он и на цыпочках направился к двери. На порогѣ он вдруг повернулся и бросил быстрый взгляд в сторону кровати.

— Миша, — уж совсѣм еле слышно прошептал больной, опять скосив глаза.

— Что, дорогой? — срывающимся голосом спросил Михаил Яковлевич, из послѣдних сил сдерживая рыданья.

— Нѣт... Ничего... Прощай, Миша...

В гостиной Билльрот стоял у рояля с поднятой крышкой.

Больше никого в комнатѣ не было. Черняков, просидѣвшій пять минут в комнатѣ Коли (это была первая неосвѣщенная комната послѣ спальной), вошел в гостиную, уже немного успокоившись. Он был рад, что не встрѣтил сестры, которая с Петром Алексѣевичем распоряжалась в диванной.

— Вы вѣрно устали с дороги и рано ляжете? — спросил он.

— Устал? Я! Я только в вагонѣ и отдыхаю, — отвѣтил Билльрот, внимательно на него глядя. Он протянул Чернякову портсигар. Михаил Яковлевич закурил сигару, затянулся и вынул ее изо рта. Сигара была хорошая, но совершенно невыносимой крѣпости.

— Что, слишком крѣпка? Меня поддерживают только эти сигары.

— Дѣйствительно, очень крѣпка, но прекрасная сигара. Спасибо... Вы играете на роялѣ?

— Я страстный музыкант. Мое настоящее призваніе не медицина, а музыка. Без нея мнѣ очень трудно... Настолько трудно, что еслибы я не боялся помѣшать? — полувопросительно сказал Билльрот.

— Спальная моего зятя, как вы видѣли, очень далеко отсюда, там ровно ничего не будет слышно, — отвѣтил Михаил Яковлевич. Почему-то ему показалось непріятным, что Билльрот страстный музыкант и собирается играть в домѣ больного. — Сдѣлайте одолженіе.

— О нѣт, не сейчас... Я всегда ложусь очень поздно и сплю не болѣе четырех часов в сутки. Вдобавок плохо сплю. Обыкновенно я с музыки и начинаю свой день... Особенно, если предстоит что-либо очень тяжелое, — сказал Билльрот. Черняков взглянул на него и тотчас опустил глаза. Они помолчали. Михаил Яковлевич чувствовал, что ему сейчас хочется одного: возможно скорѣе уѣхать из этого дома.

— Да... Да, да, — безсмысленно произнес он.

— Вѣдь теперь, в іюнѣ, в Петербургѣ навѣрное никакой музыки нѣт?

— Только в ночных ресторанах, и плохая.

— Что, еслиб мы посидѣли гдѣ-нибудь на свѣжем воздухѣ?

— Это прекрасная мысль! — сказал Черняков, встрепенувшись. «Повезу его на острова и в одиннадцать буду дома». — Но я все-таки боюсь, что вы устанете. Развѣ, если рано вернуться?

— Конечно. Посидим гдѣ-нибудь под открытым небом, выпьем по стакану пива, а?

— С величайшим удовольствіем, — сказал Михаил Яковлевич, изумленно глядя на этого пожилого человѣка, который послѣ двух ночей в вагонѣ, послѣ обильнаго ужина, собирался пить пиво на свѣжем воздухѣ, а затѣм ночью играть на роялѣ, за нѣсколько часов до тяжелой операціи.

IX.

Послѣ ухода Михаила Яковлевича Дюммлер устало закрыл глаза и велѣл сидѣлкѣ потушить одну из двух горѣвших в комнатѣ свѣчей. Свѣт не рѣзал глаз, но почему-то ему казалось, что чѣм темнѣе, тѣм лучше. «Теперь остается «хорошо провести ночь». Кажется, он так сказал», — с мысленной усмѣшкой подумал Юрій Павлович, слѣдя за движеніями сидѣлки, которая, как раз на линіи его неподвижнаго взгляда, дула снизу вверх под абажур, наивно вытягивая губы. Еще наканунѣ Дюммлер возненавидѣл бы сидѣлку за одно вытягиванье губ: эти женщины вообще чрезвычайно его раздражали, — как он думал, тѣм, что старались показать, будто онѣ очень заняты, тогда как на самом дѣлѣ почти все время спокойно отдыхали в креслах; он не понимал, что послѣ восьми, а то и десяти, часов такого отдыха онѣ возвращаются домой совершенно разбитыми. Но теперь он больше не был способен и на раздраженіе. Потушив свѣчу, сидѣлка подошла к нему и поправила подушку, — он и на это не обратил вниманія, не измѣнил направленія взгляда.

Затѣм пришли Софья Яковлевна и доктор. Они оставались у него не болѣе пяти минут. Билльрот сказал Софьѣ Яков-

левнѣ: «Я категорически запрещаю всякія проявленія чувств. Помните, что самое главное: не волновать больного». Разговор с женой не взволновал Юрія Павловича: он знал, что ее еще увидит д о.

— Все же... маленькій процент... смертности есть, — тихо сказал он в отвѣт на замѣчаніе Петра Алексѣевича о том, что операція пустяковая.

— Маленькій процент смертности, Юрій Павлович, есть и тогда, когда срѣзают мозоль: может, вѣдь сдѣлаться зараженіе крови. Когда вы выходите на улицу, есть возможность, что вам на голову с крыши упадет тяжелый камень... Ну, может быть, один процент смертности эта операція и дает, — говорил доктор. Софья Яковлевна быстро на него взглянула. — Это у обыкновеннаго хирурга. А у Билльрота тут процент смертности можно считать равным нулю.

Юрій Павлович сдѣлал попытку улыбнуться, но она не удалась.

— Я не боюсь, — прошептал он.

Уходя, Софья Яковлевна поцѣловала мужа в лоб. И по одному тому, что она не сказала «надѣюсь, ты проведешь ночь хорошо», Юрій Павлович в тысячный раз почувствовал, что человѣчество дѣлится на двѣ части: весь мір и жена.

— Значит, помните: если что, все равно какой пустяк, непремѣнно меня разбудите, — сказала сидѣлкѣ Софья Яковлевна. Послѣ ея ухода сидѣлка поставила свѣчу дальше, на комод, и неслышно придвинула к нему свое кресло (она читала «Петербургскія Трущобы»). Юрій Павлович закрыл глаза.

Хотя Билльрот немного его успокоил, он понимал, что операція в его возрастѣ опасна. Голова у Дюммлера в послѣднее время ослабѣла от безсмысленной животной жизни и от сильных болей. Он часто плакал. До болѣзни, взрослым человѣком, Юрій Павлович плакал четыре раза в жизни: послѣ смерти матери, отца, графа Канкрина и императора Николая. Но именно теперь ум у него работал лучше, чѣм прежде. «Быть может, послѣдняя ночь в этом мірѣ», — думал он. Слова «в этом мірѣ» скользнули у него механически, как чужое

готовое выраженіе. Мысли о будущей жизни и теперь были ему слишком странны и непонятны; онѣ натыкались на слишком простыя реалистическія представленія. «Как же я нашел бы там душу графа Егора Францевича?» (Послѣ отца и матери ему всего больше хотѣлось встрѣтить там Канкрина). «Вѣдь за тысячелѣтія там должны были собраться десятки милліардов людей»... На мгновеніе он занялся провѣркой цыфры. «Да, конечно, десятки милліардов». И опять он поймал себя на грубых и глупых вопросах, вродѣ того, есть ли там адресный стол. «Завтра, может быть, все буду знать навѣрное»...

Юрій Павлович стал думать о том, о чем изрѣдка думал еще со времени берлинской лечебницы: о мифическом будущем историкѣ, о своих вѣдомственных преобразованіях, об интересѣ к ним в Германіи. Почему-то именно в эту ночь в его памяти всплыли нѣкоторыя подробности. Пять лѣт тому назад об его реформаторской дѣятельности появилась статья в большой нѣмецкой газетѣ. Никакого подкупа тут не было, газета взяток не брала, и Дюммлер никогда не согласился бы заплатить за статью деньги, — ни свои, ни еще менѣе казенныя. Редактор газеты пріѣзжал в Россію для освѣдомленія. Юрій Павлович принял его в министерствѣ и пригласил к себѣ на чашку чаю. Бесѣду с редактором он начал с комплиментов газетѣ. Хотя они были искренни, об этом позже было непріятно вспоминать; затѣм подробно изложил нововведенія в своем вѣдомствѣ и в заключеніе горячо — и уж совершенно искренне — высказался в пользу вѣчнаго русско-германскаго союза. Послѣднія свои соображенія он впрочем сообщил редактору довѣрительно, обязав его честным словом об этом не писать: русско-германскій союз относился к дѣлам министерства иностранных дѣл, и Дюммлер всегда был особенно корректен и щепетилен в междувѣдомственных отношеніях. Лестная статья о нем нѣмецкаго журналиста прошла совершенно незамѣченной. Юрій Павлович понимал, что в Германіи читатели ее забыли в самый день ея появленія. Русскія газеты ея не перепечатали и даже не упо-

мянули о ней, что он приписывал враждѣ радикалов. В том обществѣ, которое уже начинали называть «высшими сферами», статьи как будто не прочел никто. По крайней мѣрѣ никто о ней с ним не говорил. Дюммлер знал, что в двух-трех канцеляріях его статья зарегистрирована и наклеена на бумагу. Но он знал и то, что в этих канцеляріях собраны и наклеены тысячи или десятки тысяч статей, в которыя никто никогда не заглядывает, которыя не нужны даже будущему историку.

Он подумал еще о «п о с л ѣ», теперь разумѣя это слово уже в другом, самом страшном, смыслѣ. «Государь император будет, вѣроятно, огорчен, хотя я ему надоѣл, как мы всѣ... Вѣроятно, он выразит сочувствіе Софи»... Юрій Павлович точно увидѣл слова «...о кончинѣ вашего незабвеннаго супруга» — и прослезился. Он хотѣл было вытереть слезы, но для того, чтобы поднять руку к глазам, требовалось слишком большое усиліе. «У Ростовцевой, послѣ кончины Якова Ивановича, государь император побывал лично... Дальше что? Человѣк десять будут огорчены. Человѣк десять обрадуются... Нѣт, не десять, а меньше», — подумал Дюммлер, перебирая в памяти знакомых. С той поры, как он ушел в отставку, радость, связанная с освобожденіем должности, очевидно отпадала. В либеральных газетах появятся короткія, сухія статейки, вродѣ послужных списков. В консервативной печати должны были появиться теплыя статьи. «...С ним уходит не только выдающійся государственный дѣятель, но и большой патріот, горячо любившій Россію». Это было бы пріятно прочесть при жизни. Но... Юрій Павлович опять тоскливо подумал об адресном столѣ. В этих мыслях было не больше утѣшенія, чѣм в воспоминаніях о реформах в его вѣдомствѣ. О Софьѣ Яковлевнѣ и о сынѣ он теперь старался не думать, — э т о было тысячу раз передумано. «Что же? Что?» — спрашивал он себя. Вопрос приблизительно означал: гдѣ искать сил, чтобы провести предстоящую страшную ночь? Он чувствовал себя почти как осужденный наканунѣ эшафота. Отвѣта не было. Единственное с в ѣ т л о е, что теперь оставалось

было в мыслях об этом вѣнском чародѣѣ. «Вот такой человѣк многое оправдывает в жизни!» — думал Юрій Павлович.

В эту ночь болей у него не было. Он и мечтать не мог бы, что она пройдет так быстро. Часов в десять Юрій Павлович задремал и проснулся только послѣ полуночи, плохо понимая, что с ним происходит, — смутно чувствовал, что происходит что-то очень нехорошее. Одновременно проснулась и сидѣлка, — непонятным образом она почти всегда просыпалась, когда просыпались ея больные. — «Чаю... Чаю с лимоном», — прошептал Юрій Павлович. Сидѣлка вздохнула и на том идіотском языкѣ, на котором она говорила с больными почти независимо от их возраста и положенія, об'яснила, что сегодня н а м ничего нельзя ни пить, ни ѣсть. Юрій Павлович в с п о м н и л и еле слышно ахнул, — втянул в себя воздух. «Господи, что же это? Что же это?» — подумал он. — «Быть может, послѣдняя ночь, с о в с ѣ м послѣдняя, а я сплю!» Ему казалось, что нужно обдумать еще многое, очень многое, очень важное. Но он не мог сообразить, что именно: обдумывать было нечего.

Через нѣсколько минут он опять уснул тяжелым сном. Ему снилось, что гдѣ-то играет музыка, — вѣроятно, на разводѣ или на Марсовом полѣ. Глухо били барабаны. Далеко в домѣ дворник, по распоряженію Петра Алексѣевича, выбивал пыль из ковров, на которые рѣшено было поставить кушетку для операціи.

X.

Вернувшись с прогулки, Билльрот написал нѣсколько писем в разные концы Европы. Он не имѣл секретарей, вел большую переписку и занимался ею в вечерніе часы. Затѣм, наглухо затворив двери, он сыграл на роялѣ рапсодію, как раз перед его от'ѣздом из Вѣны присланную ему на суд Брамсом. Произведенія Брамса всегда впервые исполнялись в домѣ Билльрота; в Вѣнѣ шутили, что он имѣет на Брамсову музыку

право первой ночи. Рапсодія показалась ему изумительной Он был счастлив, что создал этот шедевр его лучшій друг.

Спал он плохо, — хуже, чѣм Юрій Павлович. Билльрот, ежедневно дѣлавшій по нѣсколько операцій, волновался перед каждой из них. Но эта операція волновала его больше других: дошедшіе до отчаянія люди выписали его из Вѣны как спасителя, и медицинскій мір Петербурга ждал операціи с интересом. Между тѣм он был почти увѣрен, что выжить больной не может. В виду возраста паціента, его общаго состоянія и тяжелаго характера болѣзни, никто не мог поставить в вину хирургу то, что называлось роковым исходом. Тѣм не менѣе Билльроту было тяжело так разочаровывать людей.

Он был доволен вечером, проведенным в обществѣ Чернякова. «Не слишком глубокій ум, но пріятный и любезный человѣк. Жаль, что не интересуется музыкой». В душѣ Билльрот считал не-музыкальных людей низшей породой, — почти как Дюммлер считал низшей породой не-дворян. «Что за странныя дѣла у них творятся», — думал он с недоумѣніем, вспоминая разсказ Чернякова о террористах. «Война отвратительна, но бомбы и казни еще хуже... Собственно почему?» — провѣрил он себя по привычкѣ к логическому мышленію. — «Оттого ли, что войны больше отвѣчают эстетическим навыкам человѣчества? Однако на чем основаны эти навыки?» Билльрот страстно любил искусство и никогда не мог логически понять, что такое красота. Сам он находил красоту даже в нѣкоторых хирургических операціях, иногда и в неудачных, — как знатоки шахматной игры порою любуются красотой проигранных партій. «Между тѣм у не-врачей всякая операція вызывает только отвращеніе... Нѣт, логически тот, кто признает дѣла Наполеонов и Мольтке, не может огульно отрицать дѣла революціонеров. Но почему политическая борьба не может осуществляться в культурных формах? Я могу представить себѣ пріятную, учтивую, джентльменскую политическую борьбу. Например, между Брамсом, Гансликом, Листером, мной, — с улыбкой думал он. — «Жаль, что именно к нам-то и не обращаются... Вѣрнѣе же, я просто потерял способность понимать

молодых людей»... В худшія минуты ему дѣйствительно казалось, что человѣчество идет назад во всем, кромѣ науки и техники, и что это парадоксальным образом связано с самой сущностью прогресса: культура растет вширь и вниз; развиваясь количественно, она теряет в качествѣ.

Заснул Билльрот в третьем часу и проснулся в седьмом с неясно-тяжелым чувством. Он первым дѣлом раздвинул портьеры, поднял шторы непривычнаго ему устройства и увидѣл, что на смѣну ясной звѣздной ночи пришло дождливое хмурое утро. «Да, сейчас операція. Бѣдный человѣк, бѣдные люди»...

В семь часов он уже был готов, — надѣл тот же короткій сюртук с бордюром и черный галстух бабочкой. В домѣ еще было тихо. Билльрот открыл кожаный ящик и осмотрѣл инструменты. Между ними у него были свои любимцы: так, не будучи суевѣрным, он особенно любил один ни разу не давшій рокового исхода bistouri, — почему-то ему нравились французскія хирургическія названія; слово "bistouri" было чрезвычайно выразительно и музыкально. Привез он с собой и свою карболку, лучшаго качества, почти без запаха; такую можно было достать только в Вѣнѣ. Карболка была уступкой, сдѣланной Билльротом антисептической школѣ. В послѣднее время он стал колебаться. Старый французскій химик был никак не сумасшедшій. Билльрот вполнѣ признавал существованіе микробов, но считал неосновательным и отчасти вредным модное увлеченіе антисептикой. Полусознательной причиной этого его взгляда был напрашивавшійся, пусть невѣрный, вывод: будто и он сам, и всѣ врачи за три тысячи лѣт лечили не зная от чего они лечат. Возможно, была еще другая, уж совсѣм безотчетная, причина его непріятнаго чувства: Билльроту, по его раціоналистическим взглядам, по его оптимистическому міровоззрѣнію, по его жизнерадостной природѣ, была тяжела мысль, будто у человѣка есть какіе-то невидимые враги, на каждом шагу его подстерегающіе.

Доктор, ночевавшій в домѣ Дюммлеров, робко постучал в дверь и пожелал добраго утра.

— Гут хабен зи гешлафен? — спросил он. Петр Алексѣевич уже не подготовлял нѣмецких фраз и больше не чувствовал робости. Билльрот крѣпко пожал ему руку, освѣдомился о больном и, узнав, что он еще спит, удовлетворенно кивнул головой. От доктора не приходилось скрывать, что операція чрезвычайно опасна. Тѣм не менѣе Билльрот всегда старался нагнать бодрое настроеніе на всѣх своих помощников.

— Нѣт, я ничего не буду ѣсть, только выпью кофе. Если можно, очень крѣпкое кофе и побольше, — сказал он. Билльрот не любил ѣсть перед очень серьезными операціями; послѣ них, в случаѣ успѣха, выпивал двѣ рюмки коньяку. Этого он Петру Алексѣевичу не сказал: предполагал, что сегодня пить коньяк не придется.

В девять часов, узнав, что больной проснулся, Билльрот ненадолго зашел к нему и весело с ним поговорил. В глазах Юрія Павловича было столь знакомое хирургам выраженіе страха, надежды и мольбы, точно он просил чародѣя на этот раз превзойти самого себя.

— ...А вот недѣли три, к сожалѣнію, вам придется потом полежать. Но зато будете совершенно здоровы на всю жизнь! А еслиб вы могли еще затѣм с'ѣздить на мѣсяц в Швейцарію или к нам в Тироль, то было бы совсѣм хорошо, — говорил беззаботно Билльрот. Юрій Павлович подумал, что был бы счастлив, еслиб ему пришлось провести в с ю ж и з н ь хоть в Сибири, не то что в Тиролѣ или в Швейцаріи: «Лишь бы не э т о! Лишь бы не э т о!».

В диванной распоряжалась Софья Яковлевна. У нея в лицѣ не было ни кровинки. Она что-то быстро говорила то брату, пріѣхавшему в восьмом часу утра, то доктору, то лакеям. Эта дѣловитость, от которой было очень недалеко до истерики, была тоже хорошо знакома Билльроту. Он молча поздоровался с Софьей Яковлевной. Черняков крѣпко пожал ему руку. Глаза у Михаила Яковлевича были красные. Он заснул поздно; ему снился Дюммлер; Михаил Яковлевич про-

снулся, ахнул, вспомнив «кланяйся... невѣ...», заснул опять, и снова ему снилось то же: Юрій Павлович, операція.

Билльрот окинул взглядом комнату. Все было в порядкѣ. Он только велѣл передвинуть подставку тяжелаго пульверизатора и приказал зажечь свѣчи и лампы: несмотря на три окна, свѣта было недостаточно. Комната стала еще болѣе странной и печальной. Билльрот чуть передвинул кушетку на коврах, разложил инструменты на бархатной подушкѣ и накрыл их салфеткой, чтобы их не увидѣл больной. Затѣм он пододвинул к изголовью кресло, к спинкѣ котораго должна была прилегать подушка кушетки; это был его обычный пріем при операціях на дому у паціента.

— Надо крѣпко привязать кресло к ножкам шэзлонга, — сказал он. Софья Яковлевна, Черняков, Петр Алексѣевич, перебивая и повторяя друг друга, перевели слугам его распоряженіе. Лакей, швейцар, горничная суетились, бѣгая за веревками, приносили то шнурки, то какіе-то канаты. — О, незачѣм спѣшить, все в совершенном порядкѣ, дайте я сдѣлаю, — сказал Билльрот и, низко наклонившись, так ловко связал кресло с покрытой простыней кушеткой, что подушка дѣйствительно не могла сдвинуться. «Совершенно не нужно ему утомляться, еще руку натрет веревками», — сказал Черняков доктору вполголоса (как говорили в комнатѣ всѣ, кромѣ Билльрота). — «Вы хотите ему давать совѣты?» — сердито прошептал Петр Алексѣевич, сам об этом подумавшій.

— Ну вот, превосходно. Все очень хорошо... Значит, она там? Я с ней поговорю, — сказал Билльрот и вышел в сосѣднюю комнату. Его ждала фельдшерица. Он сказал ей какое-то из вѣнских привѣтственных словечек и с удовлетвореніем почувствовал, что скорѣе могла бы взволноваться стѣна Петропавловской крѣпости, мимо которой они вчера проѣзжали с Черняковым, чѣм эта огромная пожилая балтійская нѣмка.

Вернувшись в диванную, он еще поговорил с Софьей Яковлевной и приказал ей оставаться в первом этажѣ во все время операціи. Говорил он самым внушительным своим тоном, но догадывался, что это его приказаніе исполнено не будет,

что она будет стоять в сосѣдней комнатѣ у дверей. Черняков издали на них поглядывал. Ему казалось, что Софья Яковлевна сейчас упадет в обморок. Он и сам чувствовал тоску, почти переходившую в физическую тошноту. «Господи! хоть скорѣе бы!».

Билльрот вернулся в свои комнаты и написал еще какое-то письмо, допивая остаток остывшаго кофе, дѣйствительно чрезвычайно крѣпкаго. Издали слабо звучали звонки. Это робко звонили с'ѣжавшіеся на операцію врачи. Он вышел к ним в гостиную и побесѣдовал с ними о посторонних предметах, изрѣдка поглядывая на часы. Петру Алексѣевичу казалось, что Билльрот волнуется.

Без пяти минут десять он надѣл халат, умыл руки, прошел в диванную в сопровожденіи всѣх врачей и привел в движеніе пульверизатор: по послѣднему слову науки, вокруг кушетки создавалась атмосфера карболоваго тумана. Врачи стояли как на Рембрандтовом «Урокѣ Анатоміи».

Лакеи, тяжело ступая, внесли на носилках Юрія Павловича. Слѣва шел Петр Алексѣевич. Он был очень блѣден и в халатѣ казался почти карликом. Справа шла Софья Яковлевна. В дверях стоял Черняков. «Сейчас, сейчас упадет!» — замирая, думал он.

— N-na, da ist er, — сказал Билльрот так громко и радостно, точно Дюммлер пріѣхал на именинный обѣд. Всѣ в диванной вздрогнули от неожиданности. Софья Яковлевна вышла, брат повел ее под руку, она шаталась.

— ...Ну вот, отлично, так и полежите, ваше превосходительство, — шутливо сказал Билльрот. В глазах у Юрія Павловича теперь был только смертельный ужас. «Я не боюсь», — прошептал он. — И нечего бояться, операція пустяковая... Пульс отличный... Все идет превосходно, — говорил Билльрот, глазами показывая Петру Алексѣевичу на маску с хлороформом. Он слѣдил за каждым движеньем доктора и фельдшерицы. Петр Алексѣевич наложил маску. — Ну вот, прекрасно... Теперь ваше превосходительство, благоволите считать до десяти... По нѣмецки, если вам все равно, а то я по

русски, к сожалѣнію, не понимаю. «Я не боюсь», — повторил Дюммлер обрывающимся шопотом. — Конечно, нѣт, чего же тут бояться?...

Лишь только больной потерял сознаніе, Билльрот быстрым движеніем снял салфетку с инструментов, взял в одну руку нож, в другую щипцы. Мгновенно выраженіе его лица совершенно измѣнилось: из радостнаго, шутливаго оно вдруг стало очень серьезным и напряженным. Он принялся за свою страшную работу, мѣняя положеніе, мѣняя инструменты, вполголоса отдавая короткія, точныя, спокойныя приказанія фельдшерицѣ. Билльрот работал то правой, то лѣвой рукой, держал скальпель то на подобіе карандаша, то на подобіе смычка. Врачи впились глазами в его руки совершенно так, как Іосиф Рубинштейн смотрѣл на руки игравшаго Листа. Дѣйствительно Билльрот дѣлал свое дѣло с необыкновенным искусством. Петра Алексѣевича больше всего поражало то, что он работал так быстро, не проявляя никакой торопливости.

Вдруг его лицо измѣнилось.

— Himmelsakrament! — глухо сказал он.

Петербургскій профессор, стоявшій у изголовья кушетки, наклонился к тѣлу и покачал головой. — "Himmelsakrament!" — повторил Билльрот и на мгновеніе опустил руку с окровавленным ножом, так что в первый раз кровь капнула на ковры. Русскіе врачи переглядывались и сокрушенно шептались. «Может быть в с е - т а к и не злокачественная?» — сказал один из них вполголоса. Другой пожал плечами.

Выраженіе напряженности на лицѣ Билльрота еще усилилось. При всей своей скромности, он знал себѣ цѣну, безгранично вѣрил в свое чутье, знанія и опыт. В комнатѣ было нѣсколько врачей, он ни к кому не обратился за совѣтом: рѣшеніе и отвѣтственность лежали только на нем. Подумав не болѣе минуты, совершенно измѣнив план операціи, он на мгновеніе низко наклонился к посинѣвшему под маской лицу больного, приподнял вѣко глаза, заглянул в зрачек и стал работать с еще большей быстротой и увѣренностью. Напряженное выраженіе его лица стало почти злобным.

Юрій Павлович умер к концу дня. Вечером об его смерти говорил весь чиновный Петербург. По словам одних, он так и не пришел в себя, другіе шопотом сообщали, что в бреду он был ужасен, — «чуть не буйствовал». По разному об'ясняли и причину его смерти. Нѣкоторые произносили короткое страшное слово. Но передавали также, будто Дюммлер скончался от піогенной инфекціи, назывались слова «кахексія» и «піэмія», которых никто, кромѣ врачей, не понимал. — «Все-таки не стоило за 10 тысяч выписывать из Вѣны Билльрота для того, чтобы зарѣзать человѣка. Это могли сдѣлать и наши!» — сказал кто-то. Слово повторялось по разным домам Петербурга в теченіе трех дней: ровно столько времени, сколько еще говорили в мірѣ о Юріи Павловичѣ Дюммлерѣ.

(продолженіе слѣдует)

М. Алданов.

ПОЛ-ПУТИ

1.

Посередине странствия земного...

Данте.

Я возвращался обычно поздней ночью. Брел мимо запертого, незнакомого, темно-курчавого люксембургского сада, равнодушно (полумертвый) нюхая, очищенную, причастную тайнам, обновленную свежесть дерев и кустов. В эти минуты кто-то просыпался во мне, глубоко на дне тюрьмы слабо потрясал колодкой, скулил, покаянно требовал воли и смолкал неуслышанный. Произошла странная вещь: я почти лишился инстинкта самосохранения. Соблазнительно-жутко. Как в чужом доме проснуться и целую вечность не уметь припомнить направление, петлить, кружа и отклоняясь. Сладостный отдых для души. Ибо нет ничего желаннее для нее как быть потерянною. И в то же время нужно мужество, — чтобы не ускорить шаги, не взмолиться, не напречься, и тем самым положить конец опасному блужданию. (Некий голос: «дольше ты продержишься, — ценнее твоя душа... Этою же мерой, в решительную минуту, тебе отмерят и отвесят»). Перед музеем с дремлющими во дворе состарившимися, каменными героями, — писсуар. Нищенски гудит газовый рожок, вода стекает с вешним шумом; на облупленных, жестяных стенках искусно изображены голые торсы; похабные надписи... и: a bas les juifs, vive les soviets, au poteau (на гильотину). Кого именно не разобрать: целый столбец... Карандашем, словно кинжалом,

перечеркивается одно имя, ожесточенно выводится другое. Огибаю Сенат с тенями стражи, врезаюсь в сеть загадочных улочек меж театром Одеон и площадью Сэн-Мишель. Здесь каждое здание напоминает морг. Вот-вот из старого, решетчатого окна вдруг глянет, склонится голова Марата (как из ванны, на картине Давида). В темных подвалах медицинского факультета (старая школа) шумит проточная вода. Там под кранами хранятся трупы; в глубоких ваннах плавают мертвецы, — большие селедки, огурцы, — их мешают огромной ложкою. Когда подадут на диссекционный стол, их кожа будет беловато-мягкая, обработанная рассолом, как тончайшее шевро или замша. Подадут, убирают, меняют, взвалив на плечи полкорпуса, уносят в кабинет к просектору, — обыкновенные, вытренированные люди. Сторож моего отделения ничем не отличался от любого рабочего конт-метра. И только глаза его: поражали. Он пил много, — всегда, — не хмелея, но огромная масса поглощенного им алкоголя точно собиралась, оседала, в его зрачках: ширились, вздувались, безумели. Один, в сумерках (мы уходили в 5-м часу), он убирал, подготавливал амфитеатр к следующему дню, расхаживал меж столами, сортировал конечности, черепа. Если ему дать пятерку, он выберет лучший труп, без внешних из'янов... Я огибаю темный факультет, оттуда, со двора слышен автоматический лай собак, бездушный вой: они живут в клетках при лабораториях, обездоленные, лишенные разных частей и органов. На улице Мазарин призрак в цилиндре перебегает улицу и, безплотный, пропадает в стенах, землистых, пятнистых, — как ткани умершего от бубонной чумы. А вот монастырь, — подворье книгохранилища. Сколько весен (сирень, черемуха) отдано этим сводам. Я жил тогда в 6-м квартале, еще не знал Жана Дута и целыми днями дремал в Библиотеке. «О, Фауст, не оставляй меня. Фауст, ты умрешь. Прижмись ко мне ненаглядный»... — пела Беатриче с льняными волосами, дитя, матерински баюкающая куклу, а в углу на пустой бочке мирно храпел Мефистофель. Яков Бэме шептал белыми губами древние формулы. Ориген стыдил Тертулиана, Ангел Силесский

поверял тайны Мейстеру Экхарту; неприкаянно бродил Спиноза; Николай Федоров любовно рылся в библиотечных шкафах; Парацельс зажигал свечи на уровне второго этажа, шагая по воздуху как по тверди. Я питался тогда кониной. Четверть стоила 1.30. Спал в студенческой комнатке под грудой лохмотьев на rue Boutebrie. Конина пахла женщиной. Ко мне приходил Блаженный Августин: протягивал корпус темной рабыни, — без головы с отпиленными конечностями. Я просыпался, крестясь и чертыхаясь... Скоро набережная. За спиною осталось дымное кафе или сомнительный клуб. Я хватал карты с непонятным интересом, непрестанно курил, щупал прикуп, впитывал гомон, похабные анекдоты, порождая ответно смрад и копоть. Китайцы играли в жуткие кости с цветными драконами; потные незнакомцы тасовали талмудическую колоду: таро... 72 карты, где 20 изображают буквы еврейского алфавита, а первый знак свидетельствует о человеке, повисшем меж небом и землею. Они ковыряли в носу, грызли ногти, ругались и отрыгали. Внизу, — подвал, — засели бриджеры: старики, вдовы, уроды. У них такие лица, словно, в прошлом, на столе у каждого осталась длинная, «отыгранная» масть, — но уже нет перехода. «Что-же это, что»? — обжигало меня порою, выбрасывало на поверхность. Я порывался что-то сделать, изменить, но тотчас-же потерянно замирал, испытывая чувство, должно быть, знакомое рыбе (когда, вынырнув из дебрей аквариума, на свет, она утыкается тупою мордой в мутное, толстое стекло, а дальше пятна и чудовищные, мешковатые тени). Но чем дальше разверзалась трясина, тем слышней и слышней звучал навстречу предсущий голос. Спасение казалось совсем близким. (Почему небо мне открывалось, когда я падал навзничь)... Шагаю дальше, мимо башень Консьержери; истошный трепет подступает ко мне. Здесь в Palais de Justice судили Марию-Антуанету; усталая, к концу дня, она попросила пить. Увы, не нашлось охотника удовлетворить эту просьбу. (В подвале Ипатьевского дома стены убрызганы мозгами целой семьи). Ее везли на казнь мимо церкви St-Roche; на крыльце храма молодая женщина харкнула себе

в ладонь и бросила плевок через головы толпы в королеву. Сансон, — по 15 франков, — не мог нанять достаточное число повозок: пришлось обещать каждому вознице пять франков чаевых. Толпы любопытных всегда запружали площадь во время экзекуции, но раз хлынул сильный проливень и зрители разбежались. Перехожу Pont au Change; внизу Сена с опрокинутым городом и маслянистыми пятнами отраженных огней; откуда-то слева, — с моря или Лувра (где потрошили гугенотов), — тянет ледяным, набатным ветром. К площади Шатлэ подкатывают крайние волны Центрального рынка: грузовики с ящиками, скот, бабы. Спускаюсь в подземную уборную. Там вповалку, на каменном, наслеженном паркете, с относительным уютом, спят нищие. Вода течет из кранов. Вдруг кроткая зависть шевелится, крепнет в душе: о если бы и мне так лежать. Тихо спать у чьих то ног, укрыв лицо картузом, ничего не желать, — на завтра. Знакомый образ прорезает тьму: веще вздрагиваю. Вижу, вижу тебя моя смерть. На ступеньках храма, вокзала или библиотеки. Вечером повалят юные (что готовятся к экзаменам), как помнишь... Сколько весен и сиреней, сколько десятков весен я тоже провел внутри под сводами, где священная тишь и скука. Теплым, плодоносным вечером, — неповторимо пахнувшим детством, — выходили мы, последние, на волю, жадно дыша, порываясь на грех и на подвиг. В последней нищете, убогая, душа моя прорвется, вспомнит, наконец («прощай», из этой, знаю, неповторимой жизни). Шагая через тела, выбираюсь наружу, — где бабы, ночные шоферы и крайние волны из Halles. Пересекаю площадь, за спиною вдруг раздается тихое ржание запряженного коня и я содрогаюсь от этого задушевного, человеческого голоса. В молчаньи, в полутьме, хмурые грузчики опорожняют тяжелые камионы, несут пухлые тюки, ставят на землю круглые ящики (луна бледная на выцветшем небе); не все движения понятны. Мнится: то разгружают, прибывшие издалека, удушливые сны, инфекционные болезни, а город спит. Проститутка зовет, ложно-страстно чмокает языком, и душа целое мгновение беспомощно, на цыпочках сле-

дует за нею. У дымной башни сквера Сэн-Жак (где витают черти), едва уловимо распространяется трупный запах: меня не обманешь, то не листья осенние, — здесь зарывали расстрелянных или заморенных, прикрыв останки тонким пластом земли! С блеклых дерев несется птичий гомон. Можно дивиться, откуда берется в городе такое сонмище, — как они помещаются на одном кусте. Только в предрассветье это обнаружишь. Верещат, возятся, кричат, ссорятся, — ведут себя как граждане в будни нищей страны, где, скажем, один примус или уборная на многих. Их говор, увы, слишком понятен: места в обрез. Дерево это селение, колония, надоевших друг другу мудрецов и младенцев. Озабоченно чистятся, дают советы младшим, одеваются, полощат рты, готовятся к полному случайностями дню разночинцев. Поворачиваю на улицу Риволи, соединяющую дворец с тюрьмою. Близка сеть узких переулков, притаившихся, как змеи; там в праздничные ночи народ строит баррикады, а в будни трепыхаются, словно помятые крысы, проститутки: кровью и еще чем то пахнет от подворотен. Справа остается госпиталь Отель-Дьэ: к темному, холодному фронтону его меня на веки припаяли. Там я узнал эту грусть больших палат, огней и сумерок, юных и уродов, зимы и лета (а за стеною, — жизнь). О, как жадно я держал стынущую руку обреченного. С таким чувством, взрослые толпятся возле клетки с оранг-утангом, мучительно распознавая отдаленно-схожие черты. Над северо-востоком Парижа стоит зарево (горят доки, арсенал, быть может рушится Бастилия). Жмурюсь, затыкаю уши. Убивали, жгли, рубили, взрывали, предавали, с живых драли шкуру и салом мазали свои раны, шилом кололи глаза племенным жеребцам и пускали их под лед; сносили церкви, взрывали памятники, жгли книги, цветы, кружева, гобелены перекраивали в попоны, сапожищами топтали фарфор, детей; пилою отделяли туловища инакомыслящих, отрезали груди, вспарывали животы, грабили. Ветер многих бунтов меня подхватывает. На площади Hotel de Ville, преображенной луною, меня встречает свинцовый окрик: — Где ты был бы в день 14-го Декабря... «На Сенатской площади,

все таки». Одинокая фигура самодержца мечется по плану, смешно перебегает от шеренги к шеренге. Раздается пушечный выстрел. «Фора, фора», — кричат гвардейские офицеры, побывавшие за-границей (позже Раскольников даст залп в обратном направлении). Пушкин на снегу, смертельно ранен, не поднять пистолет. Судорожно сгребает ладонью снег, подносит ко рту, глотает, — воспрянуть бы еще на мгновение. (В эту единственную дарованную минуту...). «Ты веришь?» — спрашивает Савинков. «Да», — отвечает Сазонов и отходит с бомбою. Через некоторое время (какое ожидание): стук кареты и взрыв. Не выдерживая боле Савинков выбегает на Измайловский проспект. На тротуаре бьется лошадь с распоротым брюхом. (Помню, в деревне, по жижице грязи, навоза и хвои, — раздвоенные следы, — однажды, возвращалось стадо; меж темными и бурыми трусил пегий бычок с вывалившимися, свисающими внутренностями: пузыри, сосиски, стекляные грибы, розовато-коричневых, перламутровых кишек... Бугай его пырнул рогами. Полуторагодовалый бычок бежал стороною, путаясь, хромая, томительно скучно, вяло, рассеяно озираясь. О, характерная обособленность, одиночество, — словно невидимая, плотная стена уже выросла, — обреченных. Он спешил, не узнавая своих, приставая вдруг к чужой матке, дружно трясясь следом за бугаем-убийцей. А стадо, бычка будто не замечая, — изолируя, опережая, — трусило по ароматно-хвойной жиже, неся великий страх, неосознанный и человечьи, в душе)... «Замордовано Плевего»! — кричат варшавские газетчики. «Что значит: замордовано?» — спрашивает взволнованный прохожий у лавочника, и его, всегда, казалось, не бритые, сырые, холодно-жирные, щеки трясутся над тучным, водянистым телом. «До победного ура». Железному Милюкову не везет. Керенского захлестнуло валом. А комиссар Черноморского флота едет в Севастополь. У него такое чувство, как у Ипполита (из романа Достоевского) — пусть только дадут сказать, — из окна: толпе, — выслушают, и все спас но: истина восторжествует. Но уже слышен рев черни: то с финляндского вокзала, в апрельские сумерки,

ликующие матросы везут, на освещенном факелами грузовике, убедительно картавящего дворянина. "Es schwindelt", — говорит Ленин своему соседу, укладываясь на полу в Смольном (о, как в ту ночь даже его голова, должно быть, кружилась). Перебегаю набитую тенями мостовую. Я проделываю путь в свой 20-й квартал, — вслед за откормленными мясом версальцами. На каждом углу патрули; треск старинных ружей, дробь барабана, стук прикладов, проклятия, гимны, вскрики и яростная тишина: шумы баррикадной мистерии, — лоб в лоб, в потемках, на дне. Солдаты брали очаг за очагом, в ожесточенном, городском бою. Оставшийся, последний, защитник разряжает карабин себе в рот. Улицы, улицы от Republique до Vincennes и выше, — к докам. Obercampf, St-Maur, Angoulême, Menilmontant. Последнюю баррикаду, — на rue Ramponneau, — смела картечь. Кладбище Père-Lachaise: бой идет за каждую пядь могильной земли, за каждый надгробный памятник. "Concession à perpetuée". Покойников в мундирах поднимают, выбрасывают: кончена относительная вечность. В решетки фамильных склепов суют длинные дула ружей, расходуют последние патроны. Где Мадонны, Терезы и распятья — дерутся штыками и ломами; взлетают головы, руки, берцовые кости. Раздетых коммунаров (быть может трупы статских советников?) влекут к стене. Залп. Повторный: свинец об камень... и покой, братский, добротный покой под жесткой периною. От Китая до Вестминстера, — то же: как лозунги и рисунки в уборных. «Что ждет тебя, Земля! — вопрошаю вдруг молитвенно. — Какая судьба? Устроившись, организовав отдельные части, достигнув равновесия, превратишься ли ты в муравейник с одною маткою, в улей... Уподобятся ли Твои сыны африканским термитам, умеющим добывать H_2O из воздуха или угрям, знающим секрет электричества, — медленно коченея под стынущим солнцем... А то в разгаре гульбы и поножевщины, жидкий хвост случайной кометы стегнет тебя по щекам, — сметет все. Раскаленная или черноледяная ты долго опять будешь болтаться мертвою кошкой по вселенной пока первая инфузория не шевельнется, — она

раздвоится и Каин убьет Авеля... Или ты удостоишься, наконец, другого... Сколько культур и дорог позади: все прешли, пресеклись, — тупики, — иные иссякли, иных поглотили моря. Только ты, христианская Европа, скользя меж сотнями топоров, удержалась, тысячелетья преодолевая, — улыбаясь сквозь боль, — косность, биологию, ледники. Дотянешься ли, сумеют ли боги тебе помочь... Не в силках же, не по манежу нам все бегать, — вечно возвращаясь на то же место. Что за перевалом? Гряди, Господи. Алую кровь готов отдать, — Аллилуя, — грешным дыханием дунуть в твои хлопающие паруса. Гляжу с недоумением и страхом. Слепой сын, Земля, почтительно лобызает Твой матерински-хладный лоб, не узнавая его. Жду чуда. Но как приложиться. Ей, Господи, помилуй»... Промчалось вверх, шумя второй скоростью, темное такси, глаза тоскливо просверлили номер: 2917. «Где, чем ты будешь в 2917 году»... При бесконечном продолжении должна еще раз создаться такая комбинация: я, — тождественный мне, — в такую же ночь, так же, на тех же шарнирах, по тем же колеям сознания и памяти, пробреду по такой же земле (не это ли «тысячелетний град»)... Тогда, надо предположить, что это случалось уже, — позади, — где то, когда то, в таком же чередовании мыслей и страстей: я уже был, в старом пальто, сутулясь, один под пустынным небом, и листья, и шорох воды, и жар в пятках, и «Бог ты мой»... все это очередное совпадение. Бессмыслица. Разглядываю свою короткую жизнь и ясно вижу: покоюсь стержнем в своем, исключительном прошлом и оно нерушимо. Самое реальное там, хотя «притронуться» не могу, — нечто верное и безотносительное, крепче сегодняшнего и действеннее будущего. Вот столовая, на стене которой я, раз вечером, заметил силуэт сестры: четкий профиль, склоненный над книгой. Мне пришло в голову обвести тень карандашем: легко и быстро сфабрикую ее портрет. Не медля, взялся за работу. По отражению можно было узнать: сестра. Я точно следовал за контуром, а выходило, — непохоже. Бросил, не докончив. Так и остался этот недоделанный профиль на обоях: через войны и революции. Тех стен верно уже нет, и мальчика

того нет, сестра далеко, стара, а профиль тут (с горбинкою нос), — звучит все требовательнее, явственнее. Разной ценности, в чем то утвердившиеся, образы, по которым можно восстановить целое. Рыжий с веснушками, поздней ночью сдававший карты, в кафэ, своим ощетинившимся партнерам: ничего особенного (я разглядел его в окно) и вдруг попал в фокус, уплотнился, ожил, оброс плотью и навсегда погрузился неот'емлемой частью в мой мир: узелок. Все, что между такими точками, — пучина, темень, небытие. Я скачу по ним, — кочки, торчащие из воды (жую эту сгущенную, конденсированную пищу). Снова писсуар. Здесь, в противоположность «люксембургскому» преобладают левые, красные лозунги. Не нужен плебисцит, чтобы узнать глас народа: достаточно обойти уборные. Только на рубеже кварталов, — буржуазного и рабочего, — чаши колеблются, идет поножевщина цветными карандашами, а порнографические схемы те же. Застегиваю, распахнувшееся пальто, из подмышек доносится волнующе-знакомый запах отца (когда я прилипал, обнимал, обвивал). «Где, кто он теперь, что я ему?» — и замираю, сердце крошится. У него были свои «кочки», уплотненная лава, поддерживавшая свод. (Провалилось, выветрилось?). Рассказывал мне и блаженно улыбался, передавая неважные подробности (будто притрагиваясь, — вот, вот, — рукою к прошлому). Я тогда слушал невнимательно, слегка смешило. Зато теперь, яростно стараюсь вернуться вспять, очистить, наполнить соками, благоговейно приобщиться, сметливо пропустить сквозь себя, отцедить, сохранить долю улыбки, слова: не дать потухнуть последней искре, ведь достаточно одной, чтобы на ново раздуть все пламя (и восстанет человек)! По биологическим причинам мы за раз мыслим только одну вещь (или группу), — из миллионов усвоенных нами. Если бы все, что существо знает и помнит вдруг обрушилось, хлынуло на него: сразу, мгновенно (река, прорвавшая защитную дамбу)... можно ли себе представить взрыв сокрушительнее. Что динамит, игрушка! Здесь каждое ядрышко в отдельности будет расплющено Ниагарой. Откуда же моя жестокая бравада, — у

бикфордова шнура с огнем. Гипертрофированные центры мои уже начинают пропускать по 2-3 группы одновременно. А я продолжаю упоенно раскуривать трубку в пороховом складе. Еще поворот; церковка с поддельным, старино-загробным боем часов. Я больше не живу в клинике д-ра Бира: снимаю комнату в том же старом доме, на 4-м этаже. Вхожу в сени, общие с одной соседкою (чудится, сейчас сзади, долгожданные руки, — Лоренса, — обнимут, обовьют шею. Не это ли путь). Вставляю ключ, ворочаю, но замок дешевый, обратный (скудоумные любят сложность), — не отворяется. Чем то наша жизнь подобна этому: замок, и ключ к нему, а крутишь не туда. Меняю направление. Щелк. Но раньше, чем толкнуть дверь, замираю, мучительно прислушиваюсь: так проигравшийся в рулетку бросает последний жетон, не дожидаясь отходит, но у порога вдруг останавливается на мгновение. Мною овладевает уверенность, — предчувствие: сейчас произойдет нечто важное, непоправимое (уж больно этого хочется?)... ворвется в мою жизнь, внезапно смешает все фигуры, по новому расставит (так будет, будет)! «Что может»? — безрассудно ищу, мысленно обследую горизонт, шарю в самых неожиданных направлениях: драгоценные руки Лоренсы, Руссо укусит, мать, Жан, вернулся Жан Дут... Перебрав все, и не удовлетворившись, я застываю еще на время, в молчании, уронив веки, прислонив голову к острому косяку, без единой мысли, чувства, — стараясь однако освоить, впитать и это состояние (похожий, отчасти ,на слепого, силящегося воспроизвести краски). Волочится минута. Как вобрать ее, впитать?... Можно внедриться сознанием, зацепить только выступы, бугры, расщелины, края, карнизы (образов, чувств, интуиций). Но данное состояние характерно именно своим «отсутствием», пустотою, выкаченным, — межпланетно, — воздухом, буднями, однотоною скукой, усталостью, темной, ленивой, первозданной инерцией. Оторвавшись, ступаю вперед; щелкает выключатель. Оглядываюсь: письмо ли, знак, человек-невидимка... что-то должно еще (хоть раз) сверкнуть в моей жизни. Так рассуждает солдат иностранного легиона, в отпуску,

уже прогуляв свои сбережения. Вдруг, я безотчетно опять упираюсь, цепко напрягаюсь: знаю, только что за дверью, оригинальная мысль, ощущение, прошли мимо меня, дохнули мне в лицо, — но не уследил, не зафиксировал, потерял. «Ладно, ладно, — говорю с усмешкою: — В другой. Не стоит мучаться. Закон больших чисел (в который раз) снова вывезет. Благодаря ему я опять окажусь в таком же настроении, в непосредственной близости к тем же ассоциациям, и это твое важное наблюдение тогда неминуемо всплывет, придвинется, — обязательно до него доберешься». Я готов уже сдаться, уступить, когда проносится соображение: «Но буду ли я тогда тем же?... Ведь мы ежесекундно меняемся, наполняемся новым, добавочным содержанием (либо пустеем) и эта искомая мысль в нынешней среде должна породить не тот разряд, что в будущей. Следует докопаться сейчас же». Упрямыми, четкими движениями маниака-лунатика, жонглера, акробата, скользящего по канату, я начинаю перебирать пядь за пядью, звено за звеном, цепь моих ощущений, медленно и систематически пятясь назад, — попадая стопами в еще не запорошенные собственные следы. Добравшись безрезультатно к улице, снова преодолев черную, общую лестницу и мысленно постояв за дверью (руки Лоренсы, Руссо, возвращение Жана, гроб, — косяк, резавший лоб), я вынужден, наконец, сдаться; но в этот самый миг признания своего бессилия, нечто, сверкая вроде солнечного зайчика, проносится, и я, — подобно коллекционеру бабочек, застигнутый врасплох (неудобно перегнувшись, с полным едою ртом, он хлопает сачком), — овладеваю на лету драгоценною находкой. В данном случае заключалась она в любопытном об'яснении всегдашней тупости, проявляемой нами, — в поисках самого важного, главного. Известна порочная особенность людей не замечать предметы, положенные тут же перед ними: замысловато, жадно ищешь карандаш, а он покоится на белом листе писчей бумаги посреди стола. Это и открылось мне в другом плане: чем серьезнее и нужнее нам внутренняя правда, тем она «бесхитростнее» спрятана, — близко, сверху... оттого ее трудно найти хитрецам. А самое

основное, естественное, положено совсем под носом (или даже в носу) и потому его невозможно заметить. Умелыми рывками холостяка открываю постель, бросаю еще сверху пальто и, раздевшись, с отвращением, устало, зарываюсь в подушки. Иногда я возвращался раньше, иногда ехал ночным автобусом или такси в складчину. Тогда впечатления, переживания несколько отличались, но в моей памяти все они сложились подобно прозрачным пластинкам с пестрыми рисунками, — давая одно общее, тусклое кирпично-синее пятно очертаний. Пустой ночью автобус мчался, нелепо подпрыгивая. Озлобленный, пузатый, бешено сворачивал в косые улочки, — казалось неминуемо разобьется, скользнет, опрокинется. Но я не делал зачаточных движений для сохранения равновесия... И в этом истреблении инстинкта, в этом освобождении из под власти предсущих, косных сил была такая губительная прелесть отдохновения: законы душевной механики и гравитации отмирали, дух очищался от физики, — было жутко и обновленно. Часто, под утро, я возвращался с первым метро. Армию рабочих увозили к станкам: после отдыха, теплой постели, грубого завтрака (уже с алкоголем), они мясистые, внутрене оскопленные, использованные, отправлялись по назначению. С апломбом исковерканных тяжким трудом людей, они, по одежде, по глазам, по цвету лица, узнавали во мне «чужого», лодыря, и запросто вычеркивали непонятную им жизнь (я рядом начинал себя чувствовать теннисным мячиком, прыгающим в ауте). Тогда мне становился ненавистен самый облик существ, принявших рабство и возведших его в добродетель. Обезумевший, я брезгливо сторонился этих монстров, краснорожих, потерявших форму, атлетов третьеразрядного ринга, — готовый защищать свою жизнь, право на такую. Среди армии круглощеких мелькало два-три таких же усталых, предсмертно-бодрых лица: отщепенцев, шатунов-неудачников, художников, самоубийц, — людей, услышавших некий голос, шагнувших навстречу (но очевидно не в ту сторону). Мы обменивались равнодушно-заговорческим взглядом, как братья-масоны, как рекруты того же набора, как клейменные одним

тавром арестанты, как генералы неудачно осаждавшие, в разное время, ту же крепость. Имея перед собою толпу, я всегда испытывал чувство обмана, неполноты, точно при виде звездного неба: как здесь так и там воспринимаешь, сглаживая, свет разных эпох, планов, глубин. Даже каждое существо в отдельности подобно звездному миру: переливают огнями, рядом, тела (чувства, идеи) на самом деле далекие друг другу, иногда уже потухшие, а лучи новых солнц еще не дошли. Изредка, лица окружающих начинали «передвигаться», двоиться: я видел их второе издание, — женский дубликат. Лишь на 5-м месяце эмбрион в чреве матери избирает свой пол. Если-б тогда, под влиянием случайностей, вот этот, например, развился в сторону женщины, как бы он выглядел теперь... что осталось бы общего?... Когда мне удавалось, сквозь «оболочку», распознать 2-ой вариант (легче юноши, чем взрослого), я испытывал таинственно-радостный ужас, словно прикоснувшись к запретному. Случалось, я менял направление, пробирался домой другими улицами: там мостик лег над полотном окружной железной дороги, рельсы умытые блестели в девственно очищенном воздухе, шумели кроткие липы. Возрождение дня, воскресение света, красок, дрожание звуковых волн: зеленая, серая, голубая протоплазма рассвета незаметными толкчами разливающаяся. Войлок неба и деловитое чирикание птиц. Утро печальное, как новая жизнь Лазаря. А я с таким цельным сознанием зря потраченных суток, месяцев, испорченной жизни, полусмерти, измены. Покаянные слезы сердца... и вдруг, — с льдистым, предостерегающим ветерком, — вскрик, клятва, обет веры: восстановить, успеть вернуться по собственным следам, еще раз пройти и уже все тогда исправить. В сорных баках старушки копошатся, тихо ворча и пришептывая, за гаражем встает солнце. Далеко, в свинцовых швах горизонта еще прячется боль непреодоленной ночи. Господи. И весь мир Твой, первозданно тихий, целомудренно раскрытый, доверчиво ждет человека.

2.

Я готовился ко сну всегда со страхом. Сон так относится к смерти, как сновидения к жизни. Человек подготовляется, постепенно приучается к вечному покою. Лежу пластом на постели. Точно под наркозом, под стеклом, под бегущей тяжелой водою. Ни живой, ни мертвый в общепринятом смысле, ни бесчувственный, ни бодрствующий. Выключен из жизни, она юлит где-то за экраном, несется, светит: я изолирован, — только отдельные формы ее меня еще задевают (и даже с удвоенной силою). Так, в этом состоянии я особенно подвержен действию звуков. Шумы эти, в зависимости от часа, разные, — чем дальше за полночь, тем знакомее и содержательнее. Я все изучил, впитал; собственные грезы и думы прилепил к этим насечкам (подобие условного рефлекса). Если бы даже часы на 3-х близких церквах не хоронили меня, безжалостно отбивая каждую четверть, то и тогда я знал бы точное время. В полночь проходит несколько групп, пар: это возвращаются из синематографа (песенка, вскрик, смех, неотрывные поцелуи у порога). После, медленно шаркая, пробредут 2 старушки, они кормятсся от церкви: торгуют свечами или сдают в наем кресла... Бог ведает чем заняты так поздно (может, сидят за бутыкою вина). Они веско шлепают, останавливаются, тихо кашляя шепчутся, горбатые, на фарфоровых ножках, — им бы покойников обмывать. Через отворенное окно доносятся их размеренные, ночные голоса; приблизительно так: «И ее мать, она умирает», — сообщает одна, несколько громче. «Нет, сын должно быть женат»... Им весело от вина, покойно, благодаря близости к святым; хитро осклабясь они лижут банку жизни с остатками меда на дне,—скупо, опасливо, чтобы хватило подольше. Долго копошатся на углу, прощаются, слышно мышиное, — скребки, писк. За стенкою у меня такая соседка, — совсем под мышь. Мягко промелькнет в темноте, хозяйничает, часами моет салат и взгляд у нее при встрече трусливо-поникший, мудрый: «ты думаешь, молод, так

обязательно меня переживешь. Нет братец, неизвестно у кого в кишках рак». Она развела у себя клопов особой породы: толстых, брюхатых, деловито-радостно подвижных (даже зимою). Однажды ей пришла в голову странная фантазия, — выкурить их серою. Через какие то излучины отара клопов проникла ко мне: моя и старушки кровь смешалась, как в мистерии. Потом тишина, нарушаемая изредка шагами 2—3 прохожих (там, где-то, метро выбрасывает последних пассажиров, как слабеющее сердце, сжимаясь, запоздало посылает очередную волну прерывисто пульсирующей крови). К 2-м часам раздастся по дневному резкий треск, опускаемой железной шторы: где-то вблизи запирают таинственный магазин. Так и вошел он в мою жизнь, — загадочным новым Летучим Голландцем. Вскоре к лавке, что напротив, под'езжает тяжелая машина, гремят цинковые, пустые бидоны. "Sales brutes"! — кричит в отворенное окно булочница, разбуженная тяжелыми сапогами возниц (шаги санитаров в зачумленной местности). Они смеются, переговариваются особыми, свежими голосами бодрствующих. Топ, топ, — случайный, одинокий прохожий (поспешные, мелкие шлепки, — женщина). Кто, кто удаляется за стеною, даже не догадываясь обо мне, столь близком в эту минуту... Есть нечто ранящее в ночных, гулких шагах. Вообще звук шагов страшен: он производится почти непосредственно костями, скелетом человека, — о деревянном гробе, аршине, что снимают мерку, нашептывает. Мне бередят сердце нежность, жалость к судьбе этого «чужого», так неосмысленно проносящего свой скелет. Оттого, что я ничего верного о нем не знаю, боль только чище и острее. Приходилось ли кому нибудь так подумать обо мне, — с действующей силой и любовью...? Приходилось ли и мне вот так пробрести мимо чего-то близкого, желанного? Много раз при мне родные или чужие совершали ошибку: теряли что-то, отвечали не то, вредили себе по недомыслию, мчались вперед, когда их ждали позади. И сердце сжималось: ведь должно быть я тоже ошибался, портил свою игру, ступал в помет, пропускал случай (другие видели, как, дорожа ко-

пейкой, ронял кошелек и отходил, слепец). Ищешь кого-то усиленно, не замечая, — вот он машет напрасно тебе с противоположной стороны: так человек не слышит голоса тихо окликающей его судьбы... Внове это чувство ярче: самой чудовищной пыткою, отравляющей детство, должно считать пропажи. Ребенком, я часто портил вещи, игрушки, безутешно оплакивая их потом. Однажды потерял ручные часики и это было похоже на умирание: до поздних сумерок искал в состоянии близком к самоубийству. (Даже теперь, всякий раз, когда случается обнаружить в траве детский брелок или мяч, я содрогаюсь от знакомой тоски). Около 3-х часов раздается океанский гудок паровоза (над городом, ночью); всю жизнь мне верно суждено будет засыпать, имея под стеною железнодорожную линию. В самых неожиданных местах, стоит мне поселиться, оказывается она здесь, рядом. Мною изучен этот могучий крик локомотива, пронзительный, усталый (на пол пути), — моя колыбельная песня. Я подвержен, главным образом, влиянию звуков. Они действуют на меня с лютой силою, бесцеремонно высекая древние зовы-огоньки. Целый ряд их. Таков для меня крик петуха. Ночью. Русь. Тьма, тьма, огромная, незащищенная равнина, непролазная грязь, в стойле глухо стукнет об мягкий настил лошадь, во сне перебрав ногами, в ответ укоризнено вздохнет корова, сверчок только что угомонился... вдруг, из неуемной тьмы, неустойчивости, жути, — ветхозаветный, пронзительно - апокалиптический, дальний вскрик петуха: «люди спят и боятся, укрылись и заперлись, отлично делают, не по добру лазят теперь Каины; на дворе первородный мрак и грязь, мне это все доподлино известно; спите, милые, покамест, когда будет надо, я опять скажу». Затем, по убедительности, следует плач младенца в сумерках, рядом: в избе, комнате, где пятеро, душно и бедно, а он, неземным ужасом об'ятый жалуется: там (откуда вернулся) было мрачно и холодно, долго обижали, гнали без передышки, а самое трудное впереди. Весною, кошки, сцепившись, падают с крыш и так стонут, — космическим, преджизненным голосом душ, уставших скитаться и жаждущих

последнего воплощения. Летним утром, очнешься и голоса доносятся со двора: особенные, прохладно-солнечные, росистые. Или: синий, прозрачный закат, — поля опустошены, похолодало, убрались уже со скотиною, — вдруг раздается издалека материнский крик: «Галиииина, Галиии»! Вой собаки, — в ночь, снег огромной вселенской мертвецкой (увы, увы, ув, ув). Печаль вечерней зори: за городской чертой, в казармах за пустырями, трубач, трубач, — потрошишь душу. Шума поезда не слышно: не дошел, обогнул, испарился. Вот подросток, возвращаясь с первого свидания просвистит: il pleut sur la route, dans la nuit j'écoute, le coer en deroute, le bruit de tes pas... И шарахнется кровь в благодарной тоске, представив себе человека в тиши, одиноко дожидающегося возвращения женщины; «с заблудшим сердцем» прислушивается к мелким, передающим треск костей, шагам: «нет, не она» (эту ждет другой). Отчаяние, клятва отомстить, ах, суметь заслужить, вернуть. Какую нежность я чувствовал ко всем поджидающим верно (и зря). В сущности вся наша жизнь это ночное внимание к шагам за окном. Раньше ждешь: счастья, женщин, удачи, карьеры, затем смерти. А в стекло барабанит дождик, колдует, вызывает образ Лоренсы. Проковыляет случайный пьянчужка: ругаясь, скандаля (а через минуту добродушно усовещивая призрачного друга). Однажды, старый матрос уселся напротив у под'езда и упрямо-плачущим, детским альтом запел. Повторялось: «Где молодые матросы, где бравые марсовые... они в пучине». Бормотание, плач и снова: «Где молодые матросы, где бравые марсовые, они в пучине». Он искал следы своего прошлого, друзей, радости, и не находя, безутешно, с прозорливостью пьяного, рыдал. Его стыдили, гнали, ругали пьяницей, алкоголиком. «Это неверно», — возражал он кротко, потому что раньше почувствовал себя обокраденым, потом запил (как особо чуткие люди, сперва узревают правду земных отношений, затем сходят с'ума и среди всевозможной чепухи вдруг прорываются таинственно-верным замечанием). Я обираюсь руками, нечто живое трепыхается в пальцах. Это клопы, толстые, брюхатые. Вначале я пробовал их травить,

потом опрыскивал белье, сыпал порошок; следующий этап — казнить их при помощи бумажек, тряпочек. А затем, все более и более уступая, примиряясь, проваливаясь в эту мою неверную жизнь, я начал без плана давить рукой наиболее докучливых. (А старушка, мышиная старушка, смотрит за стеною и девичьи-радостно, стыдливо смеется). Я стараюсь еще делать отбор, найти исключения, не просто крошить, а внести порядок, единство. Клопа поскромнее, забитее, я изредка милую. Иных выбрасываю за окно. Погибнут... Пусть. Не я создал мир, не я ответствен за «до» и «после» встречи. Оккультные школы учат, что паразиты появились, как следствие (материализация) разных дурных, низменных инстинктов. Так, например, коховские палочки — отражение классовой ненависти. В этом случае мои клопы, — злоба среднего рантье, потерявшего на русских бумагах часть состояния... В это время кругом подготовляется перемена: воздух дрогнул, сдвинулся и застыл в ожидании близкого суда. То, с ночной убедительностью, часы медленно начинают отбивать четыре четверти; затем, помявшись немного, будто испытывая раскаяние, следуют четыре гробовых удара. Я падаю на бок беззвучно кровоточа: «У ж е , больше у ж е ничего не будет»! — и пораженная этой самоистиною душа заливается слезами. Еще чуть больше или меньше, хуже или лучше. Как все, даже мельче. О, с каким ужасом, я, ребенком, глядел на взрослых (моя судьба особая). Что же я должен был делать... (посередине странствия земного каждому надлежит прошибить лбом стенку). Я горестно тискаю сердце, выдавливаю хоть какой нибудь ответ. Я спрашиваю, как мог случиться и со мною этот анекдот, что происходит со всеми. Куда девалась моя жизнь, почему она ушла меж пальцев?... Что я делал, чего не понял, где вина... Уже, больше ничего не будет. Что-же это? Но вот, — всегда неожиданно, — знакомо ударяют другие часы, на новой церкви с архистаринным боем. Их не слышно весь день и пол-ночи: только в какую то часть, прозрачный, убедительный звон начинает сгущаться, крепнуть, — подобно гласу средневекового фантома, раздающийся вдруг sub galia cantu. Колокол медленно отбивает

свои четверти. Приблизительно так: «напрасно люди спят. О, если бы они догадывались. Я знаю в чем истина»... и снова: «напрасно люди спят. О, если бы вы догадывались. Я знаю, в чем истина». После многозначительной паузы (словно колеблясь: поведать ли) опять ударяют: Рраз (содрогаюсь, привстаю). Дддва (готов поспешить навстречу). Трррри (никнешь, убеждаясь: не по силам). Тогда, сжалившись, они смолкают: четыре. Однажды, в полночь, я пробирался к этому храму. Но опоздал, должно быть (хотя расчитал время). Еще издалека меня встретили, оглушили первые удары, — я с'ежился и побежал прочь, затыкая уши, не сумев вынести и доли лютой правды. Ночь поблескивает, поскрипывает, тикая переваливается. Окно, толчком, поседело, засеребрилось. Только что ночь казалась смуглой, лживой, пахнущей госпиталем и вином, подозрительной и желанною незнакомкою, а вот уже, нежным цветком, она проходит за стеною, подобная бледной невесте, у которой после венчания хлынет кровь из горла. В пятом часу чирикают птицы: сонм их, республика. Чудовищная молочница, отпирая лавку, сообщает свое мнение о погоде. Я замираю, жду в своем странном сне: вот пастушья свирель, очищенно-праведная, — как музыка Грига, — раздается совсем близко. То человек, торгующий сыром, гонит свой выводок коз. «Смотри, это день уже пришел». Вдохновляемый этой свирелью, я по частям (годами) сочинил пленившую меня сказку. О времени бегущем... Я хочу воспрянуть, встретить день, сесть и написать эту, быть может, замечательную поэму, но лень и сомнения парализуют. Лицом в подушку, вспоминаю эпизод из жизни Шумана: ночью пришла пора ему сочинить песню, не желая будить жену, он карандашем, тут же на наволочке, записал свое произведение. Нежность, благодарность овладевают душою: я ликую и кланяюсь музыканту, — за выдержку, самоограничение, кротость и многое другое. Не песней только он обогатил землю. Да, так измеряется людское сердце. Я понимаю, и отсюда горделивая радость. «Иисусе, — шепчу.

Как дико. Я верю любому Твоему слову. А не знаю, что делать. Прими жертву, наконец, не делай из меня Каина». И

вот, со дна моего колодца, вижу: оконце, — оттуда свежий ветерок. Мне что-то обещано важное, строгое (выберусь, выкарабкаюсь, да). Как потерявшего аппетит горожанина нужно хитростью или силою сперва несколько раз подкормить, чтобы окреп: лишь тогда он примется по настоящему за еду... так меня усталого, только после долгой дремоты, провалов и пробуждений, брала наконец охота к подлинному сну. Он был плотен, подобно свинцу и вначале без сновидений; но развиваясь, как живое существо, где-то к 4-му часу пополудни, поднимал меня или опускал в слои, насыщенные видениями. Я просыпаюсь обычно на самом интересном месте: хочется знать, — что дальше. Начинаю сознательно доплетать узор, логично развивать прерванный сон, тем самым удаляясь от него, подобно человеку, который желая нарисовать весь предмет, торчащий наполовину из воды, не принял бы во внимание законы преломления. Но вот непостижимо близко, за окном, раздается вдруг, горне-дальний посвист пастушечьей свирели; ее несложная песенка похожа на алгебраическое уравнение, превращенное (после редукции) в: а—а=0. (Жизнь и смерть в совокупности). То пастух гонит уже домой свой выводок коз. «Смотри, это день прошел за твоими плечами», — говорю я. «Это день уходит в сумерки и не догнать уже». Восстановил ли я уже необходимый запас или другое... но выждав еще несколько мгновений, я, наконец, чувствую потребность шевельнуться, принюхаться, ощупать пальцами окружение. Я лежу еще некоторое время по инерции, деланно отупелый, разучившийся ориентироваться, не понимая значения всех предметов: как вновь преставившийся в потустороннем мире. Случайно, мой взор падает на землистую, волосатую ногу, протянутую поперек кровати; она так похожа на другие, виденные мною в лазаретах и ночлежках, сотни конечностей, что, брезгливо вздрогнув, я стараюсь отодвинуться. Но это не удается. Тогда я соображаю: это моя нога. Шатаясь, бреду к окну, поднимаю штору. Наступает мой день, по своему размеренный, согласованный, цепкий. Обедаю в ресторане, клубе или у стойки, в зависимости от средств. Гуляю, еду на сви-

дания. К вечеру оказываюсь среди света, тепла, зеркал, людей, радостно меня приветствующих. (В эту минуту все почти любят друг друга, мы точно взаимно страхуемся, утешаемся общностью гибельной судьбы: исчезновение, отход одного воспринимается, как угроза, измена, подвох, грубый толчек). Длилось это состояние не месяц, не два, не пять, а почти три года, без перерыва, без проблеска и отдохновения. Все труднее, все тише звучал таинственный, подземный ключ, с детства пробивавший себе путь в моей жизни. Только на рассвете, иногда, возвращаясь, я еще верил в спасение и клялся когда нибудь вернуться по собственным следам, вторично пройти, все наверстать, переделать, исправить. Но и это начинало походить на обман. Иногда меня навещал отставной друг Свифтсон. Он думал, что я опасно болен, что мне нужна помощь, но проявлял большую осторожность, полагая, что иное вмешательство может только повредить. Постепенно он начинал развивать свои любимые мысли. «Все это верно, — соглашался я вежливо. — Но почему то меня больше не интересует». Именно это мое замечание однажды не на шутку разгневало Свифтсона. «Вы замкнулись, ушли в себя, отрезаны от целого, — начал он волнуясь. Это грех жадности и ненасытного самолюбия. Вас ждет наказание. Подумайте, вы биолог, что будет, если отдельные клетки и органы начнут размножаться, ни с чем не сообразуясь. Это и есть злокачественная опухоль, вам подобная». Чтобы поддержать разговор, я ответил: «Напрасно вы так судите обо мне, я ведь теперь тружусь над своей диссертацией, делаю выписки, вот вы мне напомнили»... и достав свою пыльную тетрадь, прочитал вслух: Раковая клетка — это гениальная клетка, почувствовавшая преступность смерти, бунтарски восставшая против слепого порядка жизни, — где во имя мифического целого, части жертвуют собою и гибнут; она отделилась от коллектива, симбиоза, махнула рукою на клеток-баранов (повернулась спиною) и начала неистово размножаться, решив дорого продать свое существование; раковая клетка — это великая клетка, на свой страх и риск затеявшая борьбу за бессмертие (не удовлетворяясь чахлой вечностью

рода, вида). К сожалению это не идет в прок организму, как слишком острые идеи философов и героев вредят обществу. Но однако, здесь рычаг воможной бессменной молодости, постоянного обновления, — сей порыв надо использовать, организовать... «Чье это?» — брезгливо осведомился Свифтсон. «Англичанин один, Бамбук». («Бамбук? Странное имя»)... «Псевдоним, — неохотно пояснил я. — Кстати поспешил я переменить тему. — Кстати, давно собираюсь вас спросить, вы не можете мне напомнить слова пророка Исаии: там, где про волка, что ляжет рядом с барашком... или сообщить место, главу?» Свифтсон приподнялся: «Я помню их, 11-я глава. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море... — и сделав паузу Свифтсон добавил: — Вы знаете, вы знаете, мы еще будем с вами рядом, вместе, определенно, сердце мне говорит». Я почувствовал, как челюсти мои свела судорога и, не ручаясь за свой голос, молча протянул ему руку, — с признательностью, с благоговением. (О, если бы меня в ту минуту взяли за ворот, встряхнули, поволокли. А может Свифтсон прав: я ушел бы, — тогда навсегда).

В. С. Яновский.

СВЯТАЯ МОГИЛА

Старо-Крымская легенда

I.

1. Три сотни лѣт — не малый срок,
Но триста лѣт назад, как нынѣ,
Со скал сбѣгающій поток
В камнях змѣился по долинѣ.
И также триста лѣт назад
Шумѣл безсонно лѣс зеленый,
Одѣв, как свѣжій Божій сад,
Окружных гор крутые склоны.
А четкій в небѣ минарет
У пестрой каменной мечети
Уже и в дни тѣх давних лѣт
Повит был памятью столѣтій.

2. И Курд Тадэ-хаджи в тѣ дни,
Спокойный в мірѣ суетливом,
Уединенно жил в тѣни
Густого сада над обрывом.
Хаджи был мудр. В толпѣ людской
Никто, ни раньше, ни позднѣе,
Не встрѣтил благости такой,
Души теплѣй, ума яснѣе.
Не исходило слово лжи
Из уст Тадэ. Участлив в горѣ,
Судьей правдивым был хаджи
И благосклонным в приговорѣ.

3. Земных соблазнов зная сѣть,
Прощать умѣл он человѣку...
Не потому-ль ему узрѣть
Судил Аллах три раза Мекку.

И, по обѣту, он в пути
Колодезь вырыл, чтобы каждый
Усталый путник мог найти
Там утоленье жгучей жажды.
Святое дѣло. Кто зарок
Такой исполнил, — умирая,
Тот будет счастлив: сам Пророк
Пред ним раскроет двери рая.

4. Премудрых чтить — велит Коран.
И, Курд Тадэ завидя, люди
Пред стариком склоняли стан,
Прижав смиренно руку к груди.
Когда через аул старик
В часы намаза шел к мечети,
Его встрѣчал ребячій крик, —
Незлобных сердцем любят дѣти.
И поднимался от земли
На минарет он без усилья,
Как будто к небу, в высь, несли
Святого ангельскія крылья.

II.

5. Но никогда сказать нельзя,
Что жизнь окончена, доколѣ
Ея судьбы земной стезя
Не прервалась по Высшей волѣ.
Как Курд Тадэ ни стар, но вдруг
Весь озарялся он улыбкой,
Когда Раймэ среди подруг
Скользила в пляскѣ змѣйкой гибкой,
Когда порой ея напѣв
Тревожил грустью сон ущелья,
Иль смѣх ласкался, прозвенѣв,
Как колокольчик, в миг веселья.

6. Он, воплотив мечту свою,
Обрѣл в Раймэ прообраз гурій,
Сужденных праведным в раю,
В благоухающей лазури.

Когда же падала фата
И, в самовластьи горделивом,
Очей бездонных темнота
Манила сладостным призывом,
Смущался праведный старик
Пред женской вкрадчивою властью
И в сердцѣ, чистом как родник,
Невольно кровь вскипала страстью.

7. Едва Раймэ любви слова
Ему шептать украдкой стала,
Сдался он чарам колдовства
И словно начал жизнь сначала.
Как прежде, снились счастья сны
И мір был молод, как бывало...
И было-б так. Вѣдь в дни весны
Чье-б сердце вновь не ликовало,
Что пробужденная земля
Срывает узы спячки зимней,
Кто-б не был счастлив вновь, внемля
Привѣт любви в весеннем гимнѣ.

8. Любовь хаджи была ярка
Всей мощью страстнаго горѣнья,
И знало сердце старика,
Что нужных слов благодаренья
В безсильной нашей рѣчи нѣт,
Чтоб принести к стопам Пророка
За клад любви на склонѣ лѣт,
За сказку счастья — послѣ срока.
А время шло. И, как волной,
Смывала дни рука Господня:
Что завтра даст удѣл земной,
Никто не вѣдает сегодня.

III.

9. С работ в саду вернувшись раз,
Хаджи застал Раймэ в печали:
Потухшій взор любимых глаз
Туманом слезы застилали;

Зловѣщей тѣнью налегла
Печать невѣдомых страданій
На очерк чистаго чела,
И грудь терзал наплыв рыданій.
«Раймэ, Раймэ, о, что с тобой», —
Вскричал хаджи, но смолк мгновенно,
Уста Раймэ, с нѣмой мольбой,
Замкнулись в думѣ сокровенной.

10. А ночью, в лунной тишинѣ,
Пахнул душистый вѣтер горный
И старику в тревожном снѣ
Навѣял скорбь, как призрак черный.
Он слышал стон и зов в тиши;
«Люблю, — шептало эхо ночи, —
«Вернись, желанный, — жизнь души!
«Недолго ждать: уж скоро очи
«Смежит старик, и нас любовь,
«Как раньше, сблизит неразлучно...»
Опять и снова зов, и вновь
«Люблю!» — вздыхает эхо звучно.

11. Хаджи очнулся. Страшный сон...
И вдруг душа похолодѣла:
Не ощутил на ложѣ он
Своей подруги юной тѣла.
Спѣша, он встал. Дрожат уста,
Трясутся старыя колѣни.
А сакля тихая пуста
И настежь дверь из сада в сѣни.
А на скамьѣ из гладких плит,
В туманной дымкѣ у обрыва,
Раймэ рыдает и твердит
Слова любовнаго призыва.

12. Еще темно в низах долин,
Но уж свѣтлѣет над мечетью,
И, вѣрно, скоро муэдзин
Уже споет молитву третью.
Тайком, боясь Раймэ вспугнуть
В ея печали одинокой,
Хаджи ушел, направив путь
К горам, к Папас Тепэ высокой.

Взойдя тропинкою меж скал,
Старик на дремлющей вершинѣ
К ея груди нѣмой припал,
Безмолвный в ропщущей кручинѣ.

IV.

13. Как тайный яд, двуличья ложь
Сжигала кровь его пожаром,
Меж тѣм, как ледяная дрожь
Росла ознобом в сердцѣ старом.
Хаджи в смятеньи изнемог;
В чаду ревниваго тумана
Уже, казалось, он не мог
Простить змѣинаго обмана,
Он, тот, кто все прощать привык...
Но вдруг душа прозрѣла снова
И громче совѣсти язык
Был человѣческаго слова:

14. «Я знал весь круг земных утѣх,
«Давно свою извѣдал часть я
«Восторгов сладостных, и грѣх
«У юных вырвать кубок счастья.
«Пусть молодое с молодым
«Соединяется побѣдно,
«Пусть жизнь моя, как легкій дым,
«Теперь развѣется безслѣдно,
«И, если прав я, пусть Творец,
«Благословив мое рѣшенье,
«Для счастья любящих сердец,
«Дарует помыслу — свершенье».

15. Так, сам возставши на себя
И побѣдив в неравной битвѣ,
Томясь, прощая и любя,
Забылся Курд Тадэ в молитвѣ.
И отошла его душа
От обезсилѣвшаго тѣла:
Блаженной радостью дыша,
Она, как птица, отлетѣла

Туда, гдѣ вѣчен и един
Царит Аллах в безсмертном свѣтѣ...
А в это время муэдзин
Пѣл третій раз на минаретѣ.

16. Велик Аллах. Прошли вѣка,
Забылось все, что прежде было,
Но холм могильный старика
Поднесь слывет Святой Могилой.
И вѣра есть у жен и дѣв,
Что, если грудь тѣснит утрата
И сердце ждет, осиротѣв,
Любви потерянной возврата,
Тогда над гробовой плитой
Цѣлебен жемчуг слез влюбленных:
В раю внимает им святой
И вновь сближает раздѣленных.

Г. Голохвастов.

***

Знаю то, что прошло,
А что будет — не знаю, не вижу...
Черный вал облаков,
Тишину разрывающий свет...
И опять темнота,
Но ползущая ближе и ближе.
Это — кара и месть
Уходящих в историю лет.

Нет! Сперва заалевший
И сразу померкнувший вечер.
...Покрасневшая длань
В опрокинутый вниз небосклон...
И убийство уставших от зрелищ и хлеба,
И сеча
Неудачливых предков моих...
Я Лаокоон.

Темнота. Немота.
Змеевидные клубы пожара.
Перевернутый лес.
Перебитые кости дорог.
Разнесенные крыши жилищ.
О, знакомая издавна свара
Неудачных потомков моих.
На дозоре — всевидящий рог
И слезливые звездные свечи
Над погостом мечты вековой,
Над простором усопших полей.
Кто сказать слово «завтра» посмел
В этот смрадный и мертвенный вечер?
Кто сегодня дерзнул произнесть
Безвозвратное слово людей?

Темнота. Немота. Никогда.
Только комья тяжелого праха
Оседают на землю
В гнилые трясины болот.
Нет! В жующие челюсти
Молоха — Бога — Аллаха!...
«Никогда. Темнота». — произнес
Уходящий в историю год.

Татиана Остроумова.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

1.

«Сущность американского президентства, — говорит Гарольд Ласки, — в том, что это американский институт, функционирующий в американской среде и оформленный силами американской истории. Судить о нем нужно по американским критериям и исходя из американских нужд... Его нельзя сравнивать ни с каким институтом вне границ Соединенных Штатов»[1]).

Американский президент «и царствует и управляет». Он — глава государства и в качестве такового несет все обычные функции по представительству, заведыванию внешними сношениями, командованию вооруженными силами и т. д. Но в то же время президент — не только свой собственный премьер-министр, но согласно американской конституции он единоличный носитель всей исполнительной власти. Министры и другие высшие чины администрации являются его помощниками по управлению, но отнюдь не сотрудниками по политическому руководству.

Правда, наряду с президентом, — не выше, но и не ниже его, — конституция поставила орган законодательства — конгресс, и орган правового контроля — верховный суд. Но в новейшее время президент стал играть все более руководящую роль также и в законодательстве: почти все важные проекты, вносимые в конгресс, исходят от него. Конгресс с его правами ратификаций, по бюджету и т. д., и суд с правом отмены законов, противоречащих конституции, — могут проявлять свой суверенитет только в негативной форме. Инициатива ко всякому движению вперед, творческие директивы в области внутренней и внешней политики исходят только от президента.

Конечно, президент Соединенных Штатов не сверх-человек, могущий единолично исполнять все те функции, которыми

1) Harold Laski. The American Presidency — an Interpretation, p. 7, 11.

его наделила конституция. Поэтому необходимым свойством каждого президента является умение выбирать надлежащих сотрудников и делегировать им достаточные полномочия. Но все же, в свете новейшего развития американского президентства, нельзя не удивиться замечанию Брайса: «президент не должен быть человеком блестящих интеллектуальных дарований».[2]) «Америке нужно сильное правительство, — справедливо указывает Ласки, — а сильное правительство требует сильных руководителей. Только президент может быть тем руководителем, в котором она нуждается».[3])

Специфически «американский» характер президентства особенно наглядно проявился в системе президентских выборов. Европейские наблюдатели обыкновенно недостаточно ясно дают себе отчет в том, что президент Соединенных Штатов избирается не единым американским народом, а отдельными штатами. Это отразилось, прежде всего, на арифметическом составе «электорального колледжа», т. е. той коллегии выборщиков, которая, по существующей системе двустепенных выборов, выбирает президента и вице-президента. Каждый штат посылает в эту коллегию столько выборщиков, сколько на его долю приходится депутатов и сенаторов. Но так как число сенаторов, избираемых каждым штатом, одинаково (по два сенатора), то эта избирательная система явно усиливает значение малых штатов. Общее число выборщиков 531; из них 96 (свыше 18-ти проц.) избираются на паритетных началах всеми штатами — Нью-Иорком с 13 милл. жителей и Невадой с 90 тыс. жителей.

Далее, самый порядок избрания выборщиков всецело предоставлен штатным законодательствам. В первые десятилетия в большинстве штатов выборщики назначались местными законодательными собраниями. Только начиная с 1830-тых годов избрание выборщиков стало производиться почти во всех штатах народным голосованием. Однако, и в наше время каждый штат имеет свое собственное избирательное право и может ввести любой избирательный ценз. Только ограничение избирательных прав негров и женщин воспрещено специальными добавлениями к конституции, — но восемь южных штатов все же фактически не дают своим неграм права голоса.[4]) На

---

2) Bryce. The American Commonwealth, 2nd ed. 1908, vol. I, p. 87.

3) Указ. соч., p. 243.

4) В этих штатах право участия в выборах обусловлено взносом подушной подати, которую большинство черного населения по бед-

выборах 1944 года играл большую роль вопрос об избирательных правах солдат. Попытка Конгресса установить единообразный порядок закончилась полной неудачей (штаты отказались применять изданный Конгрессом федеральный закон) и вопрос был разрешен каждым штатом по-своему: каждый солдат посылал с фронта в столицу своего родного штата избирательную записку выработанного этим штатом образца.

На президентских выборах каждый штат является единым избирательным округом, в котором избиратели подают голоса за весь список выборщиков от данного штата. Большинство хотя бы одного голоса в штате приводит к избранию всего списка той или другой партии. Поэтому большинство победоносного кандидата в коллегии выборщиков обычно гораздо внушительнее большинства голосов, поданных за него отдельными избирателями во всех штатах, взятых вместе. На многих выборах голоса избирателей разбивались почти поровну. В 1916 году Вильсон был избран только потому, что вопреки всем ожиданиям, победил ничтожным большинством в штате Калифорния: несколько тысяч калифорнийцев, весьма далеких от европейских дел и наверно не подозревавших о планах создания Лиги Наций, в известной степени повлияли на ход истории Европы и всего мира. В двух случаях — на выборах 1876 и 1888 годов — победившие кандидаты имели за собой меньшинство голосов избирателей. Общественное мнение принимает такие — кажущиеся европейцам парадоксальными — результаты выборов безропотно и как должное: ведь таков порядок, установленный конституцией.[5])

В первые десятилетия кандидаты в президенты намечались партиями во фракционных собраниях членов Конгресса (так называемых "caucus"), но со времени президента Джэксона (1829—1837) эта функция перешла к общепартийным «конвенциям». Конвенции обеих партий, каждые четыре года назначающие кандидатов в президенты, относятся к числу самых своеобразных и красочных институтов американской политической жизни. В них участвуют свыше тысячи делегатов, и внешняя картина конвенций — с бурными овациями,

---

ности не в состоянии уплачивать. Все попытки бороться с этим явным нарушением гарантированных конституцией прав оказывались до сих пор безуспешными.

5) Уже после нынешних выборов, в конгресс внесен законопроект о введении в штатах пропорциональной системы голосования при избрании президентских выборщиков.

шествиями, флагами и прочими атрибутами политического карнавала — много раз описана. Много писалось также о закулисных интригах, соглашениях, торговле и коррупции, связанных с назначением президентских кандидатов. Очень часто цитируют, например, предсказание, которое «мэнэджер» президентской кандидатуры Гардинга и его будущий министр юстиции, Догерти, имел дерзость опубликовать в нью-иоркском «Таймсе» незадолго до открытия республиканской конвенции 1920 года. «В надлежащий момент во время сессий конвенции, — предсказывал Догерти, — 15—20 человек, с красными глазами от бессонных ночей и обливающиеся потом от невыносимой жары, усядутся вокруг стола в небольшом, полном табачного дыма номере гостиницы. Я предложу им об'единиться на кандидатуре сенатора Гардинга и на следующий день эта кандидатура будет принята конвенцией». Это предсказание в точности осуществилось в 1920 году, но с тех пор произошло некоторое оздоровление царящей на конвенциях атмосферы.

Но европейские наблюдатели обычно проходят мимо действительного политического значения американской системы выбора кандидатов в президенты. Этому вопросу уделяется в Америке очень много внимания, и как показал опыт, конвенции являются сравнительно удачной формой подлинно-демократического избрания. В конвенции участвуют свыше тысячи делегатов, в том числе все видные деятели партии — министры, губернаторы, сенаторы и т. д. Порядок избрания делегатов установлен законами (конечно, штатными[6]). Собрания происходят открыто, за подачей голосов следит с лихорадочным интересом вся страна. Не закрывая глаз на отрицательные черты этих шумных сборищ, нельзя все же не признать, что конвенции являются несравненно более действительным органом выявления политической воли организованных в партии народных масс, чем, например, заседающие келейно центральные партийные комитеты, которые назначают кандидатов на выборные должности в большинстве стран Европы.

---

6) Делегаты избираются либо на штатных партийных конвенциях, либо прямым голосованием всех зарегистрированных членов партии (так наз. «праймари»). Претенденты на президентство начинают кампанию уже в этом фазисе; покойный Вендель Вилки отказался от кандидатуры после неудачного для него исхода «президентских праймари» в штате Висконсин.

Система президентских выборов и назначения президентских кандидатов издавна служит благодарной мишенью для критики. Привела ли эта система к избранию в президенты достойнейших? Мнения по этому вопросу расходятся. Одна из глав в знаменитом труде Брайса «Американская республика» называется: «Отчего великих людей не выбирают президентами». (Т. I., гл. 8). Он об'ясняет такой результат тем, что конвенции, намечая кандидата в президенты, обращают больше внимания на качества данного лица, как кандидата, способного собрать возможно больше голосов, чем на его способность исполнять многотрудные обязанности президента.

Однако, Брайс писал свою книгу в 1880-тых годах. Если прибавить к полю его наблюдений опыт последующих шестидесяти лет, то беспристрастная оценка должна привести к иному выводу: на протяжении полутора века существования Соединенных Штатов, президентские выборы в большинстве случаев давали весьма удовлетворительные результаты. Первые американские президенты — Вашингтон, Джон Адамс, Джефферсон, Мэдисон, Монро, Джон Квинси Адамс — несомненно были естественными вождями страны в начальный период ее существования, как независимого государства. С избранием в 1828 году генерала Джэксона начинается снижение уровня президентов и про последующие тридцать лет Брайс не без основания говорит, что в эту эпоху «президенты казались интеллектуальными пигмеями рядом с истинными вождями того поколения, как Клэй, Калхун и Вебстер»[7]). Но в самый опасный момент истории Соед. Штатов, накануне гражданской войны 1861—1865 г.г., судьбе было угодно поставить во главе правительства Линкольна, бесспорно величайшего из американских президентов. С 70-тых по 90-тые годы уровень снова несколько падает, но зато в более близкую к нам эпоху, начиная с 1901 года, большинство президентов — Т. Рузвельт, Тафт, Вильсон, Хувер, Ф. Рузвельт — были несомненно людьми выдающимися, и только двое — Гардинг и Кулидж — незначительными. Явный вред стране принесли своей бездарностью только два президента: Бьюкенэн (1857—1861), который своей пассивностью сделал гражданскую войну непредотвратимой, и Гардинг (1921—1923), по слабоволию и вследствие принятых перед выборами обязательств окруживший себя нечестными сотрудниками.

Такой итог совсем не так уж плох. Многие сравнивают

7) American Commonwealth, v. I, p. 92.

президентов, по интеллектуальному уровню, с английскими премьерами и обычно делают выводы не в пользу Америки. Но от президента требуются иные квалификации, чем от премьера парламентарной демократии. Питт не мог бы стать президентом Соед. Штатов в 24 года, а Дизраэли не был бы даже кандидатом в президенты. Кроме того, триада английских премьеров в самую близкую к нам эпоху — Бонар Лоу, Болдвин и Чемберлен — едва ли служит показателем того, что в Англии становятся премьерами самые выдающиеся государственные деятели страны.

«Выборщики для избрания президента и вице-президента, — гласит закон, — избираются в каждом штате во вторник следующий после первого понедельника, в каждый четвертый год после предшествующих выборов». Этот порядок не был нарушен в течение 156 лет существования американской республики. Президентские выборы производились регулярно — вот уже сорок раз — каждые четыре года, в спокойные и в бурные времена, в годы мира и в годы войны. Система неподвижного срока выборов легко уязвима для критики: выборы, — замечает Брайс, — «нарушают преемственность в политическом руководстве... Страна каждые четыре года на несколько месяцев бросается в водоворот избирательной кампании».[8]) В нынешнем году — вполне естественно — приходилось слышать жалобы также на то, что выборы в разгар войны отвлекают внимание властей и народа от важнейшего дела, от которого зависит вся будущность страны, к политическим спорам, дрязгам и взаимным нападкам.

Но при оценке американской системы следует подумать также и о другой стороне вопроса. «Выборы, — признает тот же Брайс, — как ничто иное, возбуждают и воодушевляют население... Они освежают сознание национального долга, а в эпохи кризисов укрепляют патриотизм».[9]) «Каким бы мерилом ни измерять участие народных масс в выборах, — говорит другой исследователь, — президентские выборные кампании в этом отношении оставляют далеко позади все, что наблюдается в подобных случаях где бы то ни было в мире».[10]) Мы только что имели случай убедиться в том, что и во время войны, под знаком всяческих цензур и умолчаний, президент-

---

8) Ук. соч. I, 76.

9) Ук. соч. I, 79.

10) H. R. Bruce. Presidential campaigns в сборнике "The American political sc n " (1938), p. 128.

ская выборная кампания в Америке протекает в атмосфере полнейшей свободы.

Человечество ищет путей, чтобы сделать демократию действенной. Думается, что американские президентские выборы, с их неумолимой регулярностью, являются одним из оправдавшихся на опыте путей к этой цели. Повторяющаяся с неизбежностью рока необходимость дать стране полный отчет в своих действиях и предстать на суд свободных избирателей — полезное memento mori для всякого демократического правительства. А в самый день выборов, — в который население целого материка своим свободным вотумом выносит приговор старой власти и назначает новую, — пред нами открывается не лишенная импозантности картина «демократии в действии».

II.

На выборах, произведенных «во вторник после первого понедельника в ноябре» 1944 года, борьба за президентство велась не между республиканцами и демократами, а между республиканцами и Франклином Рузвельтом. Спор, который велся во время кампании и который был поставлен на разрешении избирателей в день выборов, сводился к вопросу: сместить ли Рузвельта после двенадцати лет президентства или оставить его у власти еще на четыре года?

Группы, голосовавшие 7 ноября за кандидата республиканской партии Томаса Дьюи, сравнительно однородны по своей политической физиономии. Можно перечислить четыре группы таких избирателей:

1. Фермеры и помещики (кроме южан). Аграрное население Америки традиционно тяготеет к республиканской партии, а в настоящее время эти круги недовольны экономической политикой администрации Рузвельта.

2. Крупная буржуазия — финансовая, промышленная и торговая — и непосредственно связанные с нею по интересам группы, как, например, высшие служащие акционерных обществ, банковские и биржевые круги. Эти круги ненавидят Рузвельта с первого дня его президентства и находятся в неизменной оппозиции к его внутренней политике. Против Рузвельта голосовала также значительная часть владельцев средних и мелких торгово-промышленных предприятий, недовольных заведенной Рузвельтом «казенной регламентацией хозяйства» и его поддержкой рабочих союзов.

3. Консервативно или изоляционистски настроенные интеллигентские группы — значительная часть профессоров, адвокатов, врачей, писателей и редакции большинства газет и популярных иллюстрированных журналов.

4. Часть национальных группировок. Немецкие выходцы (разумеется, кроме недавно натурализованных беженцев) голосовали не столько за Дьюи, сколько против Рузвельта: они подали бы свои голоса за любого оппозиционного кандидата. Итальянцы в прежние времена в большинстве голосовали за демократов, но в нынешнем году они настроены оппозиционно (сказывается недовольство отношением союзников к Италии и ходом войны на итальянской территории). Вероятно, большинство поляков также голосовало за Дьюи — в надежде, что он возьмет более твердый курс в отношении России.

Большинство избирателей, принадлежащих к этим четырем группам, одобряли кандидатуру Дьюи, хотя и относились к нему без особого энтузиазма. Но они голосовали бы за всякого кандидата, выставленного республиканской партией.

Совершенно иную картину представляли собой группы, голосовавшие 7 ноября за Рузвельта. Он был официальным кандидатом демократической партии, — но среди голосовавших за него избирателей наименее горячими его сторонниками были «регулярные» члены демократических партийных организаций. За Рузвельтом стояла не партия и даже не коалиция партий, а пестрый конгломерат группировок, временно и по разным мотивам об'единившихся вокруг его кандидатуры. Можно наметить не менее шести групп избирателей, отдавших свои голоса Рузвельту:

1. Либерально или социалистически настроенная интеллигенция. Это была единственная группа, всецело разделяющая внутреннюю и внешнюю политику Рузвельта. Ее настроения выражала часть американской прессы — «радикальные» еженедельники и меньшинство ежедневных газет.

2. Рабочие и служащие, состоящие членами профессиональных союзов, — беспартийные, социалисты и коммунисты. Этой группе Рузвельт в значительной степени обязан своим избранием. Отношение ее членов к его политике неоднородно: хотя все признают его заслуги, как инициатора социальных реформ, но чем дальше влево, тем отношение становится прохладнее и приближается к формуле «меньшее из зол». Коммунисты голосовали за Рузвельта в соответствии со своей нынешней партийной линией; на выборах 1940 г., в соответствии

с директивами того времени, они были среди самых ярых его противников.

3. Члены демократических партийных организаций (в частности, в крупных городах, как Нью-Иорк, Чикаго, Бостон и т. д.). Как известно, во главе этих организаций стоят пресловутые «боссы» — политики-профессионалы самого дурного разбора, для которых программные вопросы не представляют никакого интереса. Рузвельт им чужд и даже неудобен, так как он, конечно, враг коррупции, а эти господа только ею и существуют. Но в то же время Рузвельт им необходим, как единственный кандидат демократической партии, имеющий шансы на успех. И Рузвельт принимает их поддержку и сам поддерживает их кандидатов на всех местных выборах, так как и он не может обойтись без них. Он поставил на новые рельсы всю внутреннюю и внешнюю политику Америки, но в его собственной партии все осталось по старому... На выборах 7 ноября особенно хорошо поработали два «босса», пользующиеся самой дурной славой: мэр Чикаго Келли и мэр Джерсей-Сити Хэйг. Только благодаря исправному функционированию их «машин», президент победил в штатах Иллинойс и Нью-Джерсей.

4. Белое население южных штатов, неизменно голосующее на всех выборах за демократов. Это одна из самых крепких и устойчивых традиций в политической жизни Соединенных Штатов.

6. Негры. Черное население Юга, как уже упомянуто, в значительной части лишено возможности голосовать. Та часть его, которая осуществляет свое право голоса, голосует за республиканцев, но эти голоса пропадают в виду неизменного демократического большинства в южных штатах. Негры, живущие в восточных и центральных частях страны, на всех последних выборах голосовали за Рузвельта, которого они считают другом всей меньшей братии.

7. Солдаты. О «солдатских голосах» много говорилось во время кампании, притом, главным образом, об их предполагаемом количестве. Было наперед известно, что солдаты будут в значительном большинстве голосовать за Рузвельта: по своему возрастному составу (молодые избиратели обычно голосуют «левее» старших возрастных групп), а также потому, что в армии не было никакой предвыборной агитации и поэтому солдаты знали очень мало о республиканском кандидате и его программе. (Количество присланных солдатами со всех

фронтов бюллетеней превысило все ожидания: солдатами подано около 4,4 миллионов голосов, в том числе около 60% за Рузвельта).

Наряду с этими, более или менее четко очерченными группами избирателей, вотум которых можно было заранее учесть, — отчасти внутри, отчасти вне этих групп, — на выборах 7 ноября голосовала также та неопределенная масса избирателей, о которых известно только то, что их настроения переменчивы и — что именно от них зависит исход выборов. За этой неуловимой массой больше всего охотятся кандидаты и вся предвыборная агитация направлена, главным образом, на то, чтобы склонить ее в свою сторону. На вотум этой массы влияет позиция кандидатов по доступным ее пониманию политическим вопросам. Еще больше влияет на ее голоса впечатление от личности кандидатов.

Политический спор, который открыто велся между двумя кандидатами в президенты во время кампании 1944 года, был концентрирован на следующих вопросах.

Четвертый срок. Этот вопрос более остро стоял на выборах 1940 года, когда впервые была нарушена традиция, ограничивающая срок президентства восемью годами,[11]) но и на последних выборах о нем не мало думали и говорили. Вопрос этот стоит вне партийных программ: почти все американцы — противники третьего и тем более четвертого срока для президентства. Разница лишь в том, что противники Рузвельта могли громогласно выражать свое мнение, а его сторонники были вынуждены стыдливо о нем умалчивать. Американцы воспитаны на недоверии к правительству. Они очень живо ощущают, что сохранение громадной власти, которою наделен президент, в руках одного лица в течение неограниченного периода времени, противоречит духу американской демократии. Президент назначает большое число должностных лиц, которые затем содействуют его переизбранию: чем дольше президент остается у власти, тем больше опасность «самоувековечивания» администрации. Президент назначает судей. Рузвельт уже успел назначить 8 членов Верховного суда

11) В вышедшем в 1936 году, т. е. всего за четыре года до президентских выборов 1940 года, издании своего курса государственного права Соед. Штатов, знаменитый историк Чарльз Бирд говорит, что традиция против третьего срока «почти столь же ненарушима, как прямое предписание Конституции» (Charles Beard. American Government and politics, 7th ed., p. 162).

(больше, чем кто-либо из его предшественников. кроме Вашингтона) и 165 из общего числа 270 федеральных судей. Все эти назначения пожизненные.[11]) Демократов все эти соображения тревожат так же, как республиканцев, и если они все же выставили в 1940 и 1944 г.г. кандидатуру Рузвельта, то только потому, что ни один другой демократ не имел бы никаких шансов на избрание.

Внутренняя политика. Республиканцы протестуют против чрезмерного, по их мнению, вмешательства государственной власти в хозяйство. «Нью Диль», по их словам, был враждебен духу личной инициативы, которому хозяйство Америки обязано своим блестящим развитием. Притом своей главной цели экономическая политика Рузвельта не достигла: в 1940 году в стране было еще 10 милл. безработных и «нужна была война, чтобы дать им занятия». Рузвельт — дурной организатор и администратор, он не выходит из конфликтов с Конгрессом, его ставленники не перестают между собой ссориться, он завел излишний бюрократизм. В ответ на эти обвинения, сторонники президента могли ссылаться на несомненные достижения Рузвельтовской администрации: введение социального обеспечения, обуздание спекуляции, победу над властью биржи и банков и т. д. Несмотря на все дефекты механизма, она блестяще справилась с двумя историческими задачами: борьбой с экономическим кризисом 1930-тых годов и грандиозной мобилизацией военных и промышленных сил в 1940-х. Весьма показательно, что Дьюи в своих речах обещал не только сохранить введенную Рузвельтом систему социального страхования, но даже расширить область ее применения. Противники Дьюи указывали, что он вообще — по крайней мере на словах — принял всю программу Нью-Диля.

Много шума было поднято вокруг вопроса о поддержке кандидатуры Рузвельта коммунистами. Дьюи почти в каждой речи предостерегал против «опасности» коммунистического влияния на правительство Рузвельта, а бульварная пресса, — которая целиком вела пропаганду против Рузвельта, — охотно подхватывала и раздувала эти запугивания. Но весь этот вопрос относится к области предвыборной демагогии: ни Дьюи, ни его сторонники сами не верили в реальность придуманного ими жупела. Более серьезен вопрос о политических

---

11) Указывали на то, что один из членов Верховного суда, назначенный Линкольном, продолжал занимать свой пост еще в 1897 году

последствиях той существенной поддержки, которую оказали Рузвельту рабочие союзы и их «левые» руководители.[12])

Внешняя политика. Между обоими кандидатами почти не было открытых разногласий по вопросу об основной линии внешней политики. Дьюи всячески старался не навлечь на себя упрека в изоляционизме. Он демонстративно взял на себя роль официозного «наблюдателя» на происходившей во время кампании союзной конференции в Дембартон-Окс; постоянно говорил о том, что Соед. Штаты должны играть руководящую роль в будущей международной организации, и т. д. Его нападки на Рузвельта в этой области касались не основных линий, а лишь его политики в отношении к отдельным странам — Франции, Италии, Польше. Действительный спор о будущем направлении внешней политики шел не на ораторских трибунах и не на страницах газет, а где-то в полусознательной области подозрений, страхов и предвкушений.[13]) Рузвельт в каждой речи напоминал об изоляционизме республиканских политиков последнего двад-

---

12) В штате Нью-Иорк, например, Рузвельт получил более 800 тыс. голосов по спискам двух рабочих партий. Без этих голосов он не имел бы никаких шансов получить большинство в этом важнейшем штате с его 47-ю выборщиками. В Детройте и других фабричных центрах, по наблюдению газетных корреспондентов, демократическая партия в дни кампании приняла облик английской Лэйбор-парти. Еще рано делать какие-либо предсказания, но есть все основания полагать, что нынешние выборы ускорят давно назревшую перегруппировку партий в Соединенных Штатах.

13) В области внешней политики, говорили противники изоляционизма, Дьюи — новичек и оппортунист. В данную минуту он отгораживается от изоляционистов, но можно ли поручиться за его позицию в будущем? Изоляционизм в настоящий момент придушен, но он даст о себе знать в первый же день после окончания войны. Дьюи в своей предвыборной кампании не сумел рассеять опасений, что он не сможет или не захочет бороться с этой послевоенной реакцией общественного мнения. Внешне-политические выступления Дьюи были неудачны и, повидимому, не внушили доверия ни той, ни другой стороне. Влиятельнейшая американская газета «Нью-Иорк Таймс», после долгих колебаний, об'явила о поддержке кандидатуры Рузвельта, с ссылкой на непрозрачность внешне-политической позиции Дьюи. Вальтер Липпман, еще недавно настаивавший на желательности смены власти, также отвернулся от Дьюи, убедившись в его непригодности в качестве руководителя внешней политики.

цатилетия и предостерегал против передачи в эти ненадежные руки дела заключения мира и создания международной организации. Восторженный отклик на его избрание, донесшийся из всех союзных стран, заставляет думать, что самый факт победы Дьюи привел бы к серьезному омрачению международной атмосферы.

Война. Во время выборов 1864 года, происходивших во время гражданской войны, Линкольн произнес фразу, которую затем кстати и некстати повторяли едва ли не на всех президентских выборах: «Нельзя менять лошадей во время переправы». Пред нынешними выборами это изречение было, если не на устах, то в сознании каждого избирателя. Этот вопрос несомненно имел решающее значение для исхода выборов. Очевидная для каждого опасность смены главнокомандующего вооруженными силами в разгар войны и руководителя внешними сношениями во время начавшихся переговоров об основах будущего мира не могла не смущать всех тех, кто хотел голосовать против Рузвельта. Сводя к простейшей формуле сомнения, волновавшие неискушенного в политике американского избирателя, можно себе представить, что в уединении избирательной будки ему слышались два голоса. «Пора переменить администрацию, — говорил один голос, — нельзя давать одному президенту засиживаться в Белом Доме шестнадцать лет». «Но можно ли менять главнокомандующего во время боя?» — предостерегал второй голос...

Перехожу к личностям кандидатов.

Английский политический писатель Бэджгот как-то заметил, что главой демократического правительства должен быть «незаурядный человек с заурядными взглядами». Томас Дьюи, республиканский кандидат в президенты на выборах 1944 года, хорошо укладывается в рамки этого определения. Он, несомненно, человек выдающихся способностей. Его ум работает, как точный технический инструмент. Он прекрасный организатор и очень дельный администратор. На посту нью-иоркского прокурора он добился больших успехов в деле сокрушения преступных шаек и покровительствовавших им продажных политических «боссов». За два года пребывания на посту губернатора штата Нью-Иорка он проявил себя, как образцовый руководитель администрации этого штата, который по территории, населению и бюджету превосходит большинство европейских государств.

По своему мировоззрению, — насколько он нашел нужным раскрыть его во время кампании, — Дьюи вполне соответ-

ствует идеалам современного среднего американца. Он отнюдь не реакционер и даже не консерватор. Но охотно усваивая всякое кажущееся ему полезным новшество, он сам не ищет новых путей, потому что не видит в них надобности: жизнь и так хороша, в особенности наша американская жизнь. Верность американской политической традиции и, прежде всего, сохранение свободы частно-хозяйственной инициативы вполне гарантируют, в его глазах, осуществление любимого американского идеала «широких возможностей для всех и каждого».

Во время кампании много говорилось о том, что Дьюи «не подготовлен» к исполнению обязанностей президента. Но какой кандидат в американские президенты (кроме тех, кто уже занимал этот пост) был когда-либо подготовлен к президентству? В политическом укладе Соединенных Штатов не существует должности или функции, которая служила бы школой для будущих президентов (подобно тому, как пребывание в кабинете и в палате общин является школой для будущих английских премьеров). Американская традиция требует, чтобы каждые четыре или восемь лет президентом становился свежий человек. Она относится с подозрением к многоопытным политикам, долго остающимся у власти и слишком хорошо изучившим все приемы этого ремесла. Поэтому каждая смена президентов — прыжок в неизвестность. Но страна сознательно и смело идет на этот риск.

Американский избиратель во время президентской кампании пристально вглядывается в личные свойства кандидатов. Его вотум часто зависит от произведенного кандидатом впечатления. Поэтому кандидаты, несмотря на чудеса радио, вынуждены «показывать себя» — раз'езжать по всей стране, выступать в сотнях собраний, появляться на площадке своего поезда. Кампания, проведенная Дьюи, была хорошо организована и проведена с большой энергией. Но все же она признается неудачной. Дьюи не с'умел показать себя человеком «президентского калибра». Развивая свою положительную программу, он оставался в сфере общих мест, а в критике и нападках проявил мелочность и несколько больше полемической недобросовестности, чем обычно допускается на выборах. Его задача была нелегкой и подошел он к ней так, как это нравится американцам: «агрессивно» и с кажущейся уверенностью в победе. Но несмотря на то, что он в совершенстве владеет ораторской техникой, его речи не увлекают; за ними не чувствуется искреннего душевного под'ема, не говоря уже о теплоте. Логически построенные и нередко хорошо обосно-

ванные, его речи порой убеждали, но никогда не воодушевляли слушателей.

О Рузвельте, как президенте, я здесь говорить не буду. Скажу лишь несколько слов о Рузвельте, как кандидате. Принимая кандидатуру от демократической конвенции 1944 года, Рузвельт заявил, что «не будет вести кампании в обычном смысле слова». То же он сказал в 1940 году, принимая кандидатуру на третий срок. Это не помешало ему теперь, как и четыре года назад, в подходящий момент сойти с пьедестала и вновь показать себя мастером политической игры. Он произнес несколько речей в наиболее важных штатах, часами ездил под проливным дождем в открытом автомобиле по улицам Нью-Иорка и Филадельфии, из Белого Дома руководил стратегией выборной кампании. Все это делалось с непринужденностью, спокойной уверенностью в своей силе и природным шармом, с которыми не могли конкурировать тщательно продуманные выступления его противника. «Если бы нынешнее словесное единоборство расценивалось по пунктам, — писала накануне дня выборов руководящая республиканская газета «Геральд-Трибюн», — за язвительность сарказма, за умение нанести удар в надлежащий момент, за изобретательность в реплике, — то г. Рузвельт безусловно должен быть признан победителем».

Конечно, эти качества не делают хорошего президента. Но первое, что в американских условиях требуется от президента, это умение быть избранным в президенты. Поэтому, в общей сумме талантов Рузвельта его мастерство в роли кандидата играет далеко не последнюю роль.

III.

Предсказания исхода выборов на основании анкет и пробных голосований производятся в последние годы в Америке солидными и хорошо организованными институтами. Они пользуются строго продуманными, претендующими на научность методами и за результатами их обследований следит вся страна. Пред нынешними выборами почти все предсказания гласили: победа Рузвельта, но незначительным большинством. Руководимый Галлупом «Институт общественного мнения» оценивал ожидаемое большинство Рузвельта в 51% голосов, анкета журнала «Фортюн» — в 53%.

По окончательному подсчету, — законченному лишь в декабре, так как в некоторых штатах избирательные записки

солдат, получаемые по почте, были подсчитаны только четыре недели после выборов, — Рузвельт получил 25,3 милл. голосов, а Дьюи 21,8 милл. Большинство Рузвельта составляет 53,7%. На выборах 1932 года Рузвельт получил 59,1% голосов, в 1936 году — 59.9%, в 1940 году — 54.9%.

Конечно, большинство в 53,7% не очень внушительно (не только по сравнению с большинством в 99.9%, которое получают на выборах современные диктаторы), особенно если принять во внимание все преимущества, которые Рузвельт имел на нынешних выборах: военное время, сравнительно несильный противник, обеспеченное большинство солдатских голосов. Тем не менее, вся Америка реагировала на результат выборов, как на решительную победу Рузвельта, и его престиж, как национального вождя, поднялся после подсчета избирательных голосов. Тут снова сказалась специфически-американская система президентских выборов. Полученное Рузвельтом большинство, незначительное количественно, распределилось так, что он оказался победителем в 36 штатах из общего числа 48-ми, в том числе во всех наиболее значительных штатах (Нью-Иорк, Пеннсильвания и Массачузетс на Востоке, Иллинойс и Мичиган в центре, Калифорния на Западе). Благодаря этому, из избранных во всех штатах выборщиков 432 будут голосовать за Рузвельта и только 99 за Дьюи.[14])

Выборная кампания — шумный эпизод в жизни страны, который быстро забывается. Но результат президентских выборов — исторический факт, а иногда и историческое событие. Рузвельт — новатор в консервативной стране. При нем произошли глубокие сдвиги как во внутренней, так и во внешней политике. Резко поднялось вмешательство государства в социальную и экономическую жизнь. Страна, еще десять лет назад настроенная в подавляющем большинстве изоляционистски, стала важнейшим членом величайшего в истории военного

---

14) В середине декабря изобранные в каждом штате выборщики собираются в столице штата и подают избирательные записки с именами президента и вице-президента. Эти записки 6 января торжественно распечатываются и подсчитываются в соединенном заседании обеих палат Конгресса. Однако, эта процедура только формальность: выборщики обязались голосовать за кандидата своей партии. Если ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов выборщиков, то избрание производится Конгрессом, причем палата представителей выбирает президента, а сенат вице-президента.

союза и готовится к роли главного руководителя всемирной международной организации. Политический талант Рузвельта проявился в том, что несмотря на острые конфликты с общественным мнением, эти сдвиги прошли в общем безболезненно.

Однако, психологическая реакция против нового курса была неизбежна и она наступила. Три выборных кампании давали этой реакции возможность проявиться и, в случае победы, воспрепятствовать дальнейшему развитию нового курса. С 1936 года, когда Рузвельт был триумфально переизбран на второй срок, результат всех выборов (президентских и конгрессных) показывал рост консервативных, анти-новаторских сил.

Выборы 1944 года могли стать моментом исторического перелома. Но, — благодаря ряду благоприятствовавших Рузвельту обстоятельств, — этого не случилось. Новый курс, символом которого оказался президент Рузвельт, имеет еще четыре года срока, чтобы консолидировать и закрепить свои позиции.

Есть еще основание, по которому не только Америка, но весь демократический мир должен с удовлетворением отметить и самый факт президентских выборов и их результат. Во время кампании представители обеих партий много говорили о том, что Соединенные Штаты — единственная в мире страна, которая в разгар грандиозной войны, в момент величайшего напряжения народных сил на фронте и в тылу, может позволить себе произвести свободные выборы главы государства. Это повторялось с гордостью, которую нельзя не признать законной. Теперь, когда пыл предвыборной борьбы остыл и можно спокойно подводить итоги, и победители, и побежденные могут сказать, что кампания ни в чем не нарушила необходимого в нынешний момент национального единения. 7 ноября демократия выдержала еще один исторический экзамен.

Этот смысл выборов президент Рузвельт красноречиво формулировал в заявлении, сделанном на следующий день после победы. «Впервые за 80 лет мы произвели всеобщие выборы во время войны... Важно только одно: мы снова показали миру, что демократия — живая и жизненная сила, что наша вера в американский уклад непоколебима и что совесть, а не насилие, есть источник власти в человеческом общежитии».

А. Гольденвейзер.

ЧЕМ БУДЕТ ФРАНЦИЯ?

I.

Сейчас Франция является той соломинкой, за которую в своем отчаянии цепляется утопающий европеец (даже если он и не сознает, что он тонет). Что будет с Францией или: чем будет Франция, есть, поэтому, проблема не только французская, но и европейская. И эта европейская проблема состоит в том, окажется ли Франция только соломинкой, бессильной противостоять потокам, грозящим смыть европейскую цивилизацию, или же ей удастся стать плотиной достаточно прочной, чтобы сдерживать напор враждебных потоков и дать возможность восстановить и вновь построить могучие очаги цивилизующего влияния.

Франция переживает сейчас смутное время, как это уже много раз было в ее истории. Называть ли его революцией или нет, это — вопрос терминологии. Во всяком случае Франция восстанавливается, как независимое государство, и процесс ее восстановления не предоставляет собою простой реставрации того, что было, а связан и с большой ломкой и с попытками большой перестройки. Процесс этот может превратиться в процесс трансформации, которая затянется на десятилетия. Как будут протекать эти процессы, и какой выйдет Франция из начавшейся реконструкции, это вопросы, чрезвычайно важные не только для самих французов. Революции нашего времени приводили одна за другой к образованию тоталитарных государств. Если таким государством станет и Франция, то будущее Европы окажется на долгое время совершенно безотрадным. Сейчас еще нельзя предвидеть, что выйдет из французского смутного времени, и нельзя д о к а з а т ь, что во Франции предстоит возрождение и обновление демократии, а не торжество тоталитаризма или какой-либо уродливый компромисс между тоталитарным и либеральным — в широком смысле слова — началом. Но не только вера, а и целый ряд об'ективных оснований позволяет считать наиболее вероятным более благополучный исход. Поэтому можно, не впадая в чистый утопизм, занять позицию, так сказать, «услов-

ного оптимизма» и говорить о французских проблемах, предполагая, что теперешняя французская смута — или, если угодно, французская революция — не разовьется в катастрофу, которая совершенно исковеркает лицо страны. Другими словами, можно говорить о проблемах и перспективах переустройства, трансформации, а не о том, как Франция будет изуродована.

Сговоримся еще об одном. Мы должны признать, что мы очень недостаточно, а в особенности, очень односторонне и в значительной мере тенденциозно осведомлены о том, что происходило во Франции за последние годы. Германская оккупация, Виши и, с другой стороны, героическая борьба французского подполья не исчерпывают всего, что там было. В особенности мы очень мало — гораздо меньше, чем это было бы возможно — осведомлены об идейных течениях, об умственной работе, производившейся или одиночками или какими-то группами, в каких-то кружках. К сожалению, попытки организовать серьезное наблюдение французской жизни в пределах имевшихся возможностей не увенчались успехом. Освобождение Франции застало нас очень мало подготовленными в этом отношении. Нам, поэтому, трудно правильно истолковать и ту отрывочную информацию, которая доходит к нам из освобожденной Франции и, что особенно важно, мы не знаем, в какой мере различные программы и заявления, по большей части удручающие своей пустотой и идейным убожеством, исчерпывают результаты произведенной во Франции умственной работы, и не скрывается ли еще там богатство мыслей, не находящих пока каналов для своего выражения. Французское подполье, все еще внешне доминирующее над французской общественной жизнью, выковало множество смелых и самоотверженных бойцов, многих подлинных мастеров своего дела, но оно, очевидно, не создало благоприятной почвы для углубленного анализа и для творческой работы мысли. Не будем, поэтому, считать, что действительные проблемы уже формулированы в этих программах и декларациях. А в особенности запасемся солидной долей недоверия к словесным заявлениям.

«Должна родиться республика более молодая, более человечная, более сильная. Социализм утвердится во всей Европе, и та форма, которую он примет во Франции, будет определена нашим национальным характером». Прекрасные слова! Но, увы! они были произнесены 22-го июня 1942 года Лавалем. Кто только не говорил во Франции о социализме

за эти годы! Марсель Деа развивал, можно сказать, изо дня в день программу «европейского социализма» в его применении к Франции. Но он по крайней мере долго был просто социалистом, а затем стал «нео-социалистом». Но говорилось даже о социализме, «как он выражен в речах Петэна». Быть «социалистом» стало почти что обязательным. Это одно должно было бы побудить заняться точным разграничением понятий, вдуматься в действительное содержание звучащих социалистически программных требований. А между тем и сейчас имеются «социалистические» программы, единогласно принимаемые представителями всех политических течений от крайних правых до крайних левых. Вчерашние кагуляры и монархисты соперничают с социалистами в отстаивании немедленных национализаций, государственных регулирований, рабочего контроля. Это, конечно, само по себе не основание отказываться от тех или иных требований, которые могут быть действительно нужными и разумными. Но все-же: боюсь Данайцев и дары приносящих. А главное то, что все эти каталоги различных требований, принимаемых с таким единодушием, дают какие-то кусочки, обрывки, необ'единенные общей идеей того, чем должна стать новая Франция.

Дело, повторяю, не в том, что все эти требования плохи или нецелесообразны, чего а приори во всяком случае утверждать нельзя, а в том, что за ними не видно ясной цели, которой они должны служить. За ними нет идеи будущей Франции, с ее подлинными проблемами. Даже допустив, что осуществление какой-либо такой программы привело бы к созданию сильного французского государства с рядом отличных учреждений, мы не имели бы еще гарантий того, что Франция тогда снова обретет то, что составляло ее притягательную силу и делало ее могучим мотором цивилизации. Франции нужно вернуть не только ее национальную жизнеспособность, но и ее очарование, без которого немыслима ее европейская миссия. А, может быть, одно от другог и неотделимо, — в чем я лично глубоко убежден. Во Франции необходимы и возможны большие и глубокие преобразования. Но менее, чем в какой-либо другой стране, в ней можно производить какие угодно реформы и какими угодно методами. И во Франции «есть особенная стать», которую «аршином общим не измерить» (но можно понять и умом) и которую надо измерять французскими мерами. К счастью, как сказал один автор, к которому мы еще вернемся, во Франции все статистики неверны, но все меры правильны.

Вряд ли кто-либо из тех, кто жил во Франции и вживался во французскую жизнь, не почувствовал разительного противоречия между тем ощущением Франции, которое он приобрел в ней самой, и многими представлениями, широко распространенными о Франции вне ее. Конечно, у каждого из нас, наверное, есть свой образ Франции в зависимости и от той среды, от того кусочка французской жизни, с которыми приходилось соприкасаться, и от особенностей личного восприятия каждого из нас. Но, отвлекаясь от личных опытов и личных подходов и выделяя в особенности моменты противоречия в преобладающих суждениях, не трудно восстановить два существенно различных — и даже противоположных в своем основном характере — образа Франции.

Вот один из них:

Француз дитя.
Он вам шутя
Разрушит трон,
Издаст закон.

Это сказано, конечно, с поэтической вольностью. Но это отвечает очень распространенному представлению о французской «легкости» или «легкомыслии», царящими и в личной и в общественной и государственной жизни. Франция представляется страной постоянных волнений и не утихающего беспокойства. Это — Франция бесчисленных потрясений, феодальных раздоров, жакерий, религиозных войн, фронд, революций. Франция, никогда не находящая равновесия. За последние десятилетия Франция беспрерывных парламентских кризисов, постоянной смены правительств, всевозможных «аффэр», политических скандалов. Конечно, нельзя ставить на одну доску эти скандалы и революции, хотя и последние сопровождались подобными скандалами. Но все это подходит к общей картине неуравновешенности и беспокойства, скачков от одной крайности к другой, легкости перемен, как в личной и семейной жизни французов многие прежде всего видят бесчисленное количество любовных похождений и супружеских измен.

А с другой стороны вы слышите и читаете, что характерными чертами французов являются их чувство меры (которым вы так часто восхищаетесь в их искусстве), чувство границ дозволенного, их «классичность», их умение находить свою среднюю линию между различными крайностями, их бережливость, их рассудочность и расчетливость в личной жизни.

Франция представляется страной равновесия и гармонии. И, живя во Франции, вы убеждаетесь, что это представление имеет реальные основания. Уже многие внешние впечатления неожиданно свидетельствуют о спокойной размеренной жизни. Даже в Париже, на большинстве улиц вы после 10 часов вечера почти не видите света в домах. В большинстве, вероятно подавляющем, французы рано ложатся и рано встают. Глубже проникая во французскую жизнь, вы обнаруживаете господствующее стремление к тихому семейному счастью. Вопреки всяческим романическим авантюрам, французская семья оказывается удивительно прочной и, я бы сказал, теплой. Семья является основной ячейкой социальной жизни и в очень установившейся у французов иерархии ценностей стоит много выше государства. Но ее трудно увидеть, трудно узнать. Она замкнута, своего рода святая святых. Кроме родственников французы обычно пускают в свою семейную обстановку только самых близких друзей. Некоторые наблюдатели считают, что французская семья осталась патриархальной. По моим наблюдениям, в ней часто имеются и элементы «матриархата». Во всяком случае француженка имеет свою сферу, в которой она господствует, и в которой она поражает своим умением удобно и приятно устраивать жизнь.

Очень ярко выраженная черта французов — их почвенность, и в буквальном и в переносном смысле. Не узнав этого из собственного опыта, трудно представить себе, как сильны даже у, казалось бы, самых типичных горожан их связь с землей и их тяга к земле. В них прочно остается много крестьянского. Для иного парижанина лучший отдых — провести свой отпуск, работая на земле. У большинства еще имеются родственники крестьяне. И не мало из них, даже из занимающих сравнительно высокое положение, оказываются женатыми на крестьянских дочерях. При всем своем индивидуализме французы чувствуют потребность быть корнями связанными и с почвой социальной, жить в устоявшемся, нормированном быту. Их кошмар — оказаться «беспочвенными», "deracinés". «Консерватизм» французов не менее знаменит, чем их «легкомыслие».

Те же самые французы, кипящие темпераментом, страстные спорщики, оказываются способными на удивительно уравновешенное суждение, отличаются терпимостью и обыкновенно обладают способностью быть справедливыми даже по отношению к самым заклятым противникам. Это связано и с особенно типичным французским чувством качества,

заставляющим их признавать, независимо от их симпатий и антипатий, «честное ремесло», хорошую работу, талант. Трудно, казалось бы, представить себе более злобного, нетерпимого публициста, чем был Леон Додэ, обливавший своих противников всякой грязью, самой низкой клеветой. Но тот же Леон Додэ, будучи ожесточенным антисемитом, «открыл» огромный талант полуеврея Пруста и со всем своим темпераментом боролся за его признание. По свидетельству самого Пруста, Леон Додэ был самым верным его другом. Монархист, ненавидевший коммунистов, он в то же время боролся за то, чтобы Гонкуровская премия была дана коммунисту Малро.

Из обоих, казалось бы, взаимно исключающих один другого, образов Франции ни один не является ни совершенно неверным, ни исключительно правильным. Франция есть и то и другое. Если, конечно, отбросить весьма распространенное но грубо искажающее действительность, преувеличение с обеих сторон. Поскольку можно говорить, отвлекаясь от неизбежных индивидуальных и областных различий, о национальном характере, у французов можно найти сильный боевой темперамент со склонностью к раздорам, но и длинным историческим развитием накопленный опыт поколений, вдвинутый в эластичные, подвижные, но в конечном счете, у какого то предела, все же твердые и недвижимые рамки. Это — стихия, удивительно дисциплинированная историей, образовавшей и сохранившей богатейший фонд человеческих ценностей. В этом смысле Франция, действительно, очень старая страна с удивительной преемственностью и внешней и внутренней цивилизации. Не даром исследователи открыли в некоторых местах Франции межи и тропинки, оставшиеся, по их мнению, еще от «иберийского», т. е. до-галльского периода. Французы являются народом, постепенно приобретшим отчетливую ф о р м у (в отличие, например, от «пластичных» немцев), которая устояла против всех потрясений и временных разрывов. И не этим ли, не богатством ли прочно освоенного фонда исторических приобретений, об'ясняется удивительная способность французов так быстро находить равновесие и восстанавливать жизнь, как это было, например, после религиозных и через два столетия после наполеоновских войн? И не дает ли это нам право надеяться, что и в эти наши дни история повторится еще раз?

Французы являются народом глубоко и с т о р и ч н ы м. Независимо от того, в какой мере каждый из них знает историю своей страны, все они пронизаны этой историей, постоянно

несут ее в себе. Как замечает Пьер Майо в своей небольшой, но очень ценной книжке о Франции*), история «научила французов, что все, что относится к политике, переменчиво, но в то же время дало им врожденную веру в непрерывность нации. Режимы и правительства будут меняться, Франция будет продолжаться: это убеждение является аксиомой для каждого француза». Но самое понятие нации для французов обозначает прежде всего общность истории, без всякого отношения к этническим признакам. Африканский негр может быть «хорошим французом»; негры, французские граждане, вообще — «черные французы». Но гражданство имеет тут лишь второстепенное значение, как и во многих случаях натурализация. Нация создается общностью истории с вытекающей из нее общностью определенных свойств, благодаря чему люди «чувствуют, как французы». Стать французом значит, суметь освоить для себя эту общность и «чувствовать, как француз». Это может признаваться и за иностранцами, не приобретшими французского гражданства, и может не признаваться за натурализованными, часть которых остается чуждым для французов элементами.

«Французы, — пишет Майо — прежде всего продукт истории. Они связаны общими воспоминаниями, общими традициями мышления, действия и поведения, а не этническими или так называемыми расовыми узами». Это по существу применение к Франции данного Ренаном типично французского определения нации. И очень характерным представляется, что напоминания об истории прозвучали во Франции и в тяжелое безвременье последних лет. Я отношусь самым отрицательным образом к Де Монзи. Но и в его книге "Petition pour l'histoire" выпущенной в 1942 году есть те же мысли: «Нация, — писал Де Монзи, — это, прежде всего, память... Обучение истории имеет, по моему мнению, своей задачей пробуждать коллективную память в памятях индувидуальных, возбуждать известную солидарность в настоящем, воссоздавая общее прошлое, наследство единое, несмотря на все разнообразие заключенных в нем богатств». Он считает пренебрежение историей причиной возникшего во Франции интеллектуального кризиса, и от истории он ждет помощи для возрождения Франции.

А вот напоминание совсем с другой стороны. Издаваемый иезуитами двухнедельный бюллетень "Renouveaux" в апреле 1941 года остановился на ставшем тогда официальным, модном

*) Pierre Maillaud. France. Oxford University Pre s, 1943.

требовании, чтобы у детей воспитывалось национальное сознание. Католический журнал присоединился к этому требованию, но прибавил, что для этого прежде всего нужно, чтобы детям сообщали знание в с е й Франции. «Да, — подчеркивал автор статьи, — «всей духовной Франции. Франции христианской и Франции гуманистической. Франции крестовых походов и Франции Революции». И он добавил, чего не нужно делать: не нужно внушать детям идею, что «история Франции кончилась в 1789 году, чтобы снова начаться в 1940 году». И в том же бюллетене была дана защита Третьей Республики против критики со стороны ее могильщиков (конечно, без употребления этого последнего слова).

Но разве не все народы являются продуктом их истории? Конечно. Но только немногие и, может быть, ни один в такой мере, как французы, хранят в себе в такой полноте и так прочно отпечаток всех наслоений долгой истории и гигантского цивилизационного труда, совершенного нацией. Если угодно, можно называть это консерватизмом. Но от этого консерватизма не были свободны и французские революционеры, как не мог освободиться от французской «почвенности» Дантон, отказавшийся спасти свою жизнь бегством из Франции, потому что «почву Франции нельзя унести на подошвах башмаков». Те, кому предстоит осуществлять преобразование Франции, могут сурово осуждать Де Монзи, но им стоит задуматься над его предостережением, что история не выносит, чтобы ею забавлялись. Во Франции меньше, чем где бы то ни было, можно «шутить с историей».

II.

У немцев есть пословица: «Живет, как Бог во Франции». Эту пословицу Фридрих Зибург использовал для заглавия своей, написанной в 1929 году книги о Франции. Книга эта, переведенная на французский язык, вызвала большой интерес и во Франции. Автор был французским корреспондентом «Франкфуртской газеты» и в то время, как эта газета была демократическим органом, . . . и позже. Во Франции он приобрел репутацию демократа и друга Франции, пользовался большим доверием и имел много друзей, игравших значительную роль во французской жизни. Позднее он использовал это доверие, став национал-социалистом и немецким агентом. Свое знание Франции он отдал на службу грязному делу. Но Францию он знал, и ее «особенную стать» он, как человек из

совсем иного мира, чувствовал очень остро. Некоторые суждения немцев о Франции вообще особенно интересны, потому, что здесь сталкивались именно два разных мира.

Вместо предисловия к своей книге Зибург привел тридцать пять оснований, почему он пишет о Франции: «потому что» и т. д. В качестве одного из них он привел цитированное выше замечание о неверных статистиках и правильных мерах. Приведу еще два, заключающие в себе чрезвычайно меткие характеристики и в то же время противоположения. Это, во-первых: «потому что я достаточно слаб, чтобы предпочитать жить в старомодном и беспорядочном раю, чем в до блеска вычищенном и безотрадном образцовом мире». И затем: «...потому что во Франции у каждого человека душа ручной работы, хотя душа эта часто бывает и сомнительного качества, а в других местах даже самым благородным чувствам грозит опасность, что их будут изготовлять сериями».

Что же, собственно, противопоставляется в этих формулировках? Франция и Германия? Надо итти дальше и поставить вопрос: к а к а я Франция и к а к а я Германия? Франция представлена здесь раем, но «старомодным и беспорядочным», т. е. страной отсталой с точки зрения современного — и скажу сейчас же: современного капиталистического — мира. Это — Франция «ручной работы», т. е. крестьян и ремесленников, и таковы же души французов с их индивидуализмом небольших собственников, самостоятельных хозяев. То, что подметил Зибург, является фактом огромнейшего значения: это — некапиталистический характер Франции в ее целом. Что поражает приезжающего во Францию из более «современной», т. е. типично капиталистической страны, это то, как мало французская жизнь прониклась «капиталистическим духом», несмотря на уже далеко зашедшее в ней развитие капиталистического хозяйства. В других капиталистических странах, в особенности в Германии и, насколько я могу судить, здесь в Америке «капиталистичны» не одни только капиталисты, но вся жизнь в той или иной мере проникнута капиталистическим духом с его специфическим динамизмом и становящимся все более интенсивным ритмом человеческой активности, с его культом эффективности ("efficiency"), количества — более или менее с пренебрежением качества, — грандиозного, организации, становящейся самоцелью, и с его тенденцией к коллективизации не на основе какой-либо глубокой положительной общности, а на основе всеобщего обезличения.

Германский капитализм моложе французского. А между

тем именно при переезде из Германии во Францию так поразительно ясно, в какой мере Франция, несмотря на сравнительную давность ее капитализма, противостояла в массе своего населения, казалось бы, неизбежным психологическим следствиям капиталистического развития. Так силен оказался «консерватизм французской психики». И, потому ли, что более медленный темп этого развития был обусловлен и другими, более материальными, факторами, но Франция,действительно, оказалась экономически сравнительно отсталой страной. Это было одной из основных причин ее катастрофы, и это ставит сейчас перед нею ряд трудных проблем. Тот идеал счастья отдельных индивидуумов и семейных единиц, который славился во Франции — ее «старомодный рай», — оказался несовместимым с суровыми требованиями современности и неспособным устоять против «безотрадного образцового мира».

Франция не осталась ни преимущественно аграрной страной, ни страной мелких предприятий в области промышленного производства. В ней развились крупная капиталистическая промышленность, в которой происходил процесс концентрации производства. Доля населения городского и промышленного все время увеличивалась, а доля деревенского и земледельческого уменьшалась. На той же территории, т. е. без Эльзас-Лотарингии, число занятых в земледелии уменьшилось с 8,7 миллионов в 1906 году до 7,4 миллионов в 1931 году. Число занятых в промышленности, включая хозяев, увеличилось с 6, 2 милл. в 1906 г. до 6,6 милл. в 1926 г. Интересно, что это увеличение было гораздо менее значительно, чем уменьшение занятых в земледелии. Считается, что не более трети рабочих сил, оставляющих земледелие, находят применение в промышленности — остальные распределяются по транспорту, торговле, правительственной службе, домашней работе в качестве прислуги. Включая Эльзас-Лотарингию, в 1931 году число занятых в земледелии составляло 7,6 милл., а число занятых в промышленности и транспорте 8,4 миллиона.

Согласно наиболее поздним данным, число занятых в земледелии составляло следующую долю всех активно участвующих в хозяйственной жизни: во Франции — 36%, в Германии — 29%, в Соединенных Штатах — 21%, в Англии — 6%. Вследствие применения в разных странах различных критериев, в особенности для учета работающих женщин, цифры эти не вполне сравнимы. Но они достаточно сравнимы для Франции и Германии. На первый взгляд разница мож т

показаться существенной, но все же не очень большой. Картина меняется уже, если учитывать долю всего земледельческого населения, а не только работающих, во всем населении страны. Во Франции эта доля приблизительно совпадает с долей работающих, в Германии же она составляет всего 23%. Если затем взять отношение числа занятых в земледелии к числу занятых в промышленности, то во Франции число занятых в промышленности, примерно, на 10% меньше, а в Германии на 35% больше числа занятых в земледелии. Принимая число занятых в земледелии за 100, занятые в промышленности составляли*) таким образом во Франции 90, а в Германии 135, т. е. удельный вес последних по отношению к земледелию был в Германии в полтора раза больше, чем во Франции. Если сравнивать только структуру промышленности в обеих странах, то во Франции работающие в самых мелких предприятиях, до 5 работающих, составляли 34%, а в Германии только 23% общего числа. Вот еще один фактор, усиливающий «мелко-буржуазный» элемент во Франции. Во всем работающем населении рабочие и служащие (включая чиновников) составляли во Франции 58%, а в Германии 75%, что означает, что «хозяева» всех видов составляли во Франции 42%, а в Германии только 25%. Учитывая еще личные отношения и психологические различия, имеющие большое значение у самостоятельных рабочих, у рабочих и служащих мелких предприятий, у техников, у чиновничества, мы увидим и поймем, что Германия уже была крупнокапиталистически-пролетарской, а Франция оставалась «мелкобуржуазной» в своей основе страной.

После того, как в 1929 году разразился мировой кризис невиданных размеров, Франция в течение двух лет поражала всех наблюдателей устойчивостью своей экономики. Могло казаться, что она каким-то образом приобрела иммунитет против кризисов. В 1931 году, в год знаменитой финансовой паники в Германии и оставления золотого стандарта Англией, во Франции индекс производства был 97,6, принимая за 100 уровень производства в 1928 году. Число безработных еще не достигло полумиллиона, в то время как в Америке оно перешло за восемь миллионов, а в Германии к концу года почти достигло

*) Я употребляю прошедшее время, потому что приводимые данные и отражают ни разных перемен, происшедших в Германии при национал-социалистическом режиме, ни перемен, происшедших в обеих странах после начала войны.

шести миллионов. Я вспоминаю из того времени одну статью, в которой очень убедительно об'яснялись основы, на которых покоится французское экономическое равновесие. Как на одну из главных причин, автор указывал на очень осторожную политику инвестиций большинства французских предприятий, которые избегали поспешного расширения производства, тщательно рассчитывали — имея в своем распоряжении прекрасных математиков! — наиболее вероятные пределы, до которых можно итти без сколько-нибудь серьезного риска. Правда, Франция и в то время не страдала недостатком безудержных спекулянтов, но, так сказать, основная масса ее капиталистов отличалась солидностью, осторожностью, словом, консерватизмом, парадоксально противоречащим именно «капиталистическому духу», о котором говорилось выше.

Несколько лет спустя то, что раньше многими считалось силой французской экономики, явным образом оказалось ее роковой слабостью. Те же свойства стали квалифицироваться совсем иначе. Наиболее зоркие наблюдатели забили тревогу по поводу косности французской промышленности, технический застой которой на фоне прогресса в других странах был равносилен катастрофическому упадку. Французская промышленность не только по размерам своим была недостаточна для Франции, как великой державы, в данной международной обстановке, но она становилась все более и более технически отсталой. Даже крупнейшие предприятия пренебрегали собственной исследовательской работой, экспериментами, поисками усовершенствованных методов производства, предпочитая и более дешевое и более надежное средство приобретения заграничных патентов, уже показавших свои достоинства. Несмотря на изобилие во Франции блестящих инженеров и богатство изобретательских талантов, французская промышленность почти совершенно потеряла инициативу в области технического прогресса. Наиболее яркий пример, это — как Франция в течение немногих лет потеряла свое руководящее место в строительстве аэропланов.

Как по отношению к промышленности, так и по отношению к земледелию я ограничусь выделением одного острого пункта, так как ни в том, ни в другом случае сколько-нибудь полный анализ не входит в задачи настоящей статьи. Оставаясь в значительной мере земледельческой страной, Франция имеет земледелие, отличающееся сравнительно низкой производительностью. Огромную роль во французском земледелии играет пшеница. В среднем за пятилетие 1933-1937 годов урожай

пшеницы во Франции составлял 16,3 квинтала с гектара, что было очень немного по сравнению с 21,5 квинт. в Германии, 22,5 в Англии, 26 в Бельгии, 31 в Голландии и 31,3 в Дании. Отсталость французского земледелия как будто очевидна. Не так очевидны ее причины. Отчасти, но только отчасти, низкая продуктивность французского земледелия об'ясняется его недостаточной интенсивностью, в особенности недостаточным применением удобрений. И в этом случае ссылаются на французский консерватизм, на то, что французский крестьянин при всем своем трудолюбии слишком держится за старые, привычные для многих поколений методы обработки. Другие авторы отрицают это, указывая на то, что за столетие продуктивность возросла очень сильно, для пшеницы, например, на 80%. Гораздо большее значение имеют другие условия. В странах со значительно большей продуктивностью пшеницу растят на подходящей для этого почве, а во Франции на всякой. Различие продуктивности во Франции очень велико уже по отдельным большим областям, колеблясь в среднем от 11,5 квинт. в области Центрального Массива и 11,7 на Юго-Западе до 23,8 квинт. на Севере. На почве, сравнимой с той, которая засеивается пшеницей в других странах, в области Парижского Бассейна урожаи достигают даже 35 и 40 квинт. Основным фактором является то, что французский крестьянин всюду, даже в горах, хочет иметь свою пшеницу. Именно этим и определяется, прежде всего, характер французского земледелия. Экономические последствия были очень неблагоприятны для всей страны. Земледельческое производство является во Франции сравнительно очень дорогим. Цены производимых в неблагоприятных условиях продуктов можно было защищать против заокеанской конкуренции только высокими пошлинами. Сохранение мало производительных элементов хозяйства понижало общий национальный доход страны, увеличивало стоимость жизни, неблагоприятно отражалось на развитии внешней торговли, а часть крестьянства едва была в состоянии поддерживать самое скромное существование, в то время как другая часть поражала своей зажиточностью (в особенности на севере).

Все, кто занимался за последнее время экономическими проблемами Франции, сходятся на том, что французская экономика нуждается в далеко идущей модернизации. Только представители своеобразной политической романтики проповедывали «возврат к земле». В общем же, повидимому, основные пункты программы представляются бесспорными. Рацио-

нализация земледелия должна очень значительно увеличить его продуктивность и в то же время «освободить» значительное количество рабочих рук, необходимых для расширения промышленной сферы французского народного хозяйства. В то же время и промышленность должна быть рационализирована, ее технический аппарат очень существенно улучшен и организация сделана более эффективной. Французское народное хозяйство будет менее «самодовлеющим», в частности Франция будет нуждаться в довольно значительном ввозе земледельческих продуктов. Но отказ от аграрного протекционизма и поднятие обрабатывающей промышленности на должную высоту оживят внешнюю торговлю, позволят увеличить вывоз индустриальных продуктов. Большую роль должно сыграть при этом интенсивное развитие во внеевропейских владениях, откуда Франция в конце концов сможет пополнить свой дефицит земледельческого производства, платя за этот ввоз фабрикатами своей промышленности.

Но такая, в ее схематической форме очень простая и логичная, программа на самом деле очень сложна и связана с очень трудными проблемами. Невольно вспоминается: гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить...

Конечно, теоретически очень просто открыть доступ заморской конкуренции и убить этим экономически нежизнеспособную часть французского земледелия. Или, применяя диктаториальную форму государственного хозяйства, просто снять с земли тех крестьян, труд которых не достигает известной нормы производительности. И в том и в другом случае надо, конечно, считаться с ожесточенными сопротивлениями крестьянства, которое не считает себя нежизнеспособными, хочет хозяйничать по своему — и в частности всюду хочет иметь свою пшеницу, — и считает, что задачей государства является помогать ему жить, как оно хочет, на своей земле, быть счастливым по своему, а не сгонять его с земли. Не забудем, что французские крестьяне, независимо от их политической ориентации, от коммунистов до крайних правых, отличаются свободолюбием, упорным стремлением сохранить свою личную независимость, как бы она ни была ограничена экономическими условиями. Я не раз слышал мнение французских крестьян, что рабочие по настоящему, т. е. так, как они крестьяне, свободы не понимают и ценить не могут, потому что рабочие привыкли, чтобы ими командовали. От этого легко отмахнуться, сославшись на «индивидуализм мелких собственников». Но не принадлежит ли это к ценностям, накопленным

историей, и не является ли это одной из самых надежных гарантий политической свободы всего народа?

Но совсем не просто обстоит дело, если рассматривать его и только с экономической стороны. Очевидно, нельзя «освободить» большое количество рук в земледелии до того, как будут созданы предпосылки для применения их в промышленности. Оба процесса должны быть согласованы. Но восстановление, расширение и перестройка французской промышленности будут в течение долгого времени требовать большого ввоза как сырья, так и средств производства и транспорта, а вывоз будет крайне ограничен состоянием французской промышленности именно потому, что она нуждается в восстановлении и реорганизации, и затруднен иностранной конкуренцией. Достаточно вспомнить, что Англия, потерявшая во время войны свои заграничные активы, будет вынуждена с максимальной энергией бороться за завоевание рынков сбыта. Сможет ли в этих условиях Франция рисковать еще существенным увеличением ввоза земледельческих продуктов? Соответствующее развитие заморских владений также потребует долгого времени. Очень вероятно поэтому, что Франции придется не только по политическим и социальным, но и по чисто экономическим соображениям поддерживать свое земледелие, даже и в его «нежизнеспособных» формах, чтобы обеспечить достаточное снабжение страны средствами питания. Конечно, нужны будут большие усилия, чтобы обеспечить снабжение французского крестьянина удобрением и вообще всеми средствами рационализации и интенсификации его хозяйства, но без радикальной операции, которая вызвала бы массовый уход из земледелия. А это опять-таки поставит сравнительно узкие границы для расширения промышленной сферы. Ударение должно будет стоять не на расширении, а на совершенствовании, на специализации в интересах вывоза, на сохранении и развитии к а ч е с т в е н н о г о производства, не без основания считающегося французской специальностью, на самом широком использовании культуры и изобретательских дарований французских инженеров, физиков, химиков и т. д. Конечно, будут нужны и грандиозные предприятия, будет происходить концентрация, но надо будет очень бережно относиться и к небольшим предприятиям, отличающимся высоким качеством их работы. Напомню, что, например, большие автомобильные предприятия очень широко пользовались мелкими предприятиями для изготовления многих, требующих тщательной отделки, деталей. Когда Ситроен обанкротился, собрание его кредиторов было прямо-таки массовым собранием.

Во всех программах реконструкции Франции видное место занимает и должна занимать активная политика народонаселения. Дело не только, как некоторые думают, в восстановлении военной мощи Франции. Постоянный прирост населения является обязательным условием решения экономических и социальных проблем, которое не может быть достигнуто внезапным переворотом, а будет делом поколений, но основы которого должны быть заложены уже теперь. Только при условии постоянного прироста населения будет возможен рост промышленности без катастрофической ломки земледелия. Потребность промышленности в новых рабочих силах будет питаться тогда некоторым отходом из земледелия, передвижением к промышленности, например, из торгового аппарата, часто перегруженного, избытком подрастающего населения и иммиграцией. И в этой, как и в других частях программы, осуществление предполагает значительную долю активной государственной политики и внесение во французскую экономику элементов плановости. Но и для того, чтобы «не шутить с историей», и по об'ективным экономическим соображениям, значительное расширение государственного хозяйства в его различных формах — от прямого управления предприятия до различных видов нормирования и наблюдения — во Франции, по моему мнению, должно быть избегнуто. Франция не может позволить себе роскошь создавать новую огромную бюрократию, необходимую для далеко идущего регулирования хозяйственной жизни. Это значило бы лишить и сферу производства и сферу культурной деятельности необходимого им человеческого материала.

III.

Я вижу великую опасность для Франции в двух тенденциях, которые могут вдохновлять реформаторов, как они уже вдохновляют авторов некоторых программ. Это, с одной стороны, — стремление «выварить» Францию как можно скорее «в фабричном котле», заставить всех французов заразиться капиталистическим духом, превратить Францию в образцовую страну «динамизма», сверхорганизации и т. д. Другая тенденция — построить во Франции то, что теперь считается социализмом, с упором на те черты, которые и в социализме являлись в сущности эманацией того же капиталистического духа, и которые, несомненно, существ вали в немецком и

сложившемся под его влиянием русском социализме, но гораздо меньше в социализме французском и меньше всего в синдикализме. Это — «социализм» тех благодетелей человечества, которые устраивают «общее счастье», разрушая и делая невозможным счастье или даже сколько-нибудь сносное существование отдельных людей (исключая новых правителей!), в то время, как социализм возник и приобрел свой исторический смысл, как идеал счастья для живых конкретных людей, для в с е х, а не только для «избранных». Это вырождение того социализма, в котором преобладало представление, что надо прежде всего овладеть всей хозяйственной жизнью и организовать ее, а все остальное приложится. Мы имеем теперь исторический опыт, показывающий, что мероприятия и учреждения, как будто соответствующие тому, что считается социалистическим, могут быть могучими орудиями не освобождения, а самого страшного порабощения.

Это не значит, что надо быть против всех национализаций или «социализаций», которые требуются различными французскими программами. Некоторые из них могут оказаться необходимыми, чтобы уничтожить опасные для демократии концентрации экономической мощи — при условии, конечно, что не создадутся новые и не менее опасные концентрации. Может быть, некоторые из этих мероприятий требуются для осуществления необходимых преобразований экономической структуры. Но вопрос об их необходимости или полезности нельзя решать на основании каких-либо общих соображений вне связи со тщательно продуманной идеей, об'единяющей совокупность предлагаемых реформ, без не менее тщательного изучения того, каковы должны быть вероятные реальные последствия того или иного мероприятия, включая психологические реакции различных слоев населения или же французского народа в его совокупности, т. е. в его подавляющем большинстве. Я признаюсь, что не могу сказать, нужно или нет национализировать во Франции страховое дело, не зная ни того, какая функция предназначается ему в новой экономической структуре, ни того, как будут реагировать на национализацию страхового дела его клиенты.

Если одна из указанных или подобная им тенденция окажется преобладающей, то результатом будет не возрождение Франции, а новый глубочайший кризис, при существовании которого Франция меньше всего будет способна играть в Европе роль, на которую она предназначена в представлении тех, кто надеется на спасение Европы. Надо ясно видеть

опасности, для того, чтобы уметь их предотвратить, но нет оснований считать их неотвратимыми. Сейчас во Франции еще приходится налаживать наиболее элементарные условия государственного, а в некоторых местах и просто человеческого существования. В момент освобождения Франция оказалась и географически распавшейся на множество, почти что не связанных между собою, участков. А пережитые за последние годы события привели к распаду большинства старых группировок, и на авансцене оказались новые группировки, возникшие из сопротивления, и кроме этого об'единяющего момента, носящие по существу очень случайный, а иногда и прямо-таки противоестественный характер. Многое, очень многое, должно еще неизбежно измениться до того времени, когда произойдет формирование нового демократического представительства нации. Какова бы ни была внешняя дезорганизация Франции, строить в ней кому бы то ни было придется не на пустом месте, а на чрезвычайно проработанной историей почве, которую можно и нужно будет заново вспахать, но которую нельзя превратить в послушное месиво. Судьба Франции в значительной мере зависит от того, окажется ли она в руках строителей, достаточно хорошо знающих и чувствующих тот материал, из которого им предстоит строить.

Это приводит нас к проблеме формирования новых управляющих кадров, которую нельзя трактовать издали, не соприкоснувшись вновь с французской действительностью непосредственно, не узнав ближе того, что в ней произошло за последние годы, что было разрушено и что именно возникло. Но хотя бы на одну сторону этой проблемы надо по крайней мере указать. В 1886 году Поль Камбон, который был тогда послом в Испании, писал своей жене о своем разговоре с испанским министром иностранных дел Морэ, который сказал ему, что в Испании интеллектуальные качества политических вождей находятся вне пропорции с гораздо более слабыми интеллектуальными силами страны. «Во Франции, замечает Камбон в своем письме, наоборот, страна лучше тех, кто ею управляет». Три с половиной года тому назад, когда я читал во Франции только что вышедшую тогда переписку Камбона, я был поражен тем, как это, сделанное более полувека тому назад, замечание совпадало с тем, что составляло тему многих моих разговоров с французами. Разрыв между правящим классом — не экономическим, а политическим — и страной, видимо, был во Франции явлением не только послевоенных десятилетий, а более давним и глубоким пороком политиче

ческой жизни. Я бы не решился предложить окончательное об'яснение того, почему и как развилось это явление. Но оно, несомненно, связано с распростаненным у французов отношением к государству, как к чему-то внешнему, и, в сущности, как к неизбежному злу. В то же время отрицательной стороной французского индивидуализма было то, что очень многие французы проявляли в их отношении к предметам общественного интереса, хотя бы и больше темперамента, но меньше серьезности, чем к тому, что принадлежало к кругу их личной активности. Они проявляли страстный интерес к политической борьбе, но не всегда правильно определяли ее об'ект. Избирательные округи часто посылали в парламент не людей, предназначенных избирателями быть государственными деятелями, а ходатаев по местным делам. Одной из классических фигур французской политической жизни являлся депутат (или сенатор) — мэр, который пользовался своим парламентским положением, чтобы лучше устраивать дела управляемой им коммуны.

Никакая реформа политической структуры не даст существенных результатов, если она не будет сопровождаться изменением принципов отбора «политического класса». Реформы учреждений, избирательного права, условий парламентской деятельности, и т. д., могут помочь этому изменению, но одних их не будет достаточно, если не изменится моральная атмосфера политической жизни. Большим вопросом является, в какой мере катастрофа 1940 года и последовавшие за ней события дали толчек в этом направлении. По моим личным впечатлениям, на которые я в данном случае только и могу опираться, толчек был дан очень значительный. Я оставался во Франции четырнадцать месяцев после перемирия и пережил в ней не только первые месяцы жуткого угара и, казалось бы, полного морального развала, но и последовавшее за этим — много скорее, чем этого можно было ожидать — отрезвление, восстановление морального лица французов (которые к тому же далеко не все были охвачены этим развалом). Я никогда не любил Францию и французов больше, чем в это время, которое, за исключением немногих недель, я провел в чисто французской обстановке, общаясь с простыми людьми из разных общественных групп — крестьянами, рабочими, ремесленниками, мелкими торговцами, чиновниками. Конечно, было немало и неприятных переживаний, приходилось наблюдать всяческие человеческие недостатки и слабости. Но именно в это тяжелое время было так ясно, что этим народом накоплено поразительное богатство

моральных ценностей — гуманности, чувства достоинства, свободолюбия, чувства справедливости. Я видел, как зарождалось то, что один швейцарский наблюдатель позднее охарактеризовал, как «новую солидарность», и в чем я ощущал усиление и углубление общественного чувства. Было раздумие о причинах разразившейся трагедии, и, если в первое время главным образом отыскивали виновников, то затем все чаще подходили к вопросу об общей, коллективной вине, т. е. об ответственности каждого...

Один молодой крестьянин говорил со мной о том, что тогда писалось о грехах 3-й Республики по отношению к крестьянству, положение которого рисовалось в самых мрачных красках. Мой собеседник находил эту картину чрезвычайно преувеличенной. Он заметил: «Мы вовсе не были так несчастны. Теперь я даже думаю, что мы были слишком счастливы». Заботы о мирном личном счастьи столкнулись с повелительными запросами государственного существования. Народ, сильнее всего жаждавший мира, не смог его сохранить и пал жертвой военного разгрома. Теперь для него начинается новая жизнь, в которой его задачей будет создать здоровую государственность, найти новое равновесие хозяйственного развития, восстановить основы величия его страны, снова сделать ее могучим центром цивилизации и вместе с тем сохранить свой идеал человеческого счастья и сокровища своего исторического наследства, которое именно и позволяет надеяться, что задача эта будет решена.

Ю. П. Деникe.

АМЕРИКА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

(Проблема американской послевоенной экономической реконструкции)

1.

По вопросу о том, какова будет экономическая судьба Америки после войны, уже сложилась значительная литература. Вокруг этого вопроса выросло также большое количество документов, более или менее практического характера. И почти все звучащие по этому вопросу голоса об'единены одним и тем же лейтмотивом. Почти все сходятся на том, что проблема перевода сложной и разросшейся американской экономики с военной на мирную базу будет гораздо труднее того быстрого и успешного перевода с мирной базы на военную, который послужил материальной основой для союзных побед в Европе и Азии.

Из этой войны Америка выйдет с необычайно разросшимся производственным аппаратом. Основание этому процессу было заложено в середине 1938-го года, когда в Америку стали поступать первые военные заказы из Европы. В своей интересной и, в качестве исторического документа, важной книге[1]), бывший администратор «Ленд-Лиза» и с недавних пор Государственный секретарь в Вашингтоне, Эдвард Стеттиниус, проследил все стадии этого процесса. В течение первых двух лет, к концу 1940-го года, общая сумма военных заказов, помещенных в Америке английским и французским правительствами, достигла 2.400.000.000 долларов. Под влиянием катастрофических событий в Европе Америка, начиная с 1939-го года, начала увеличивать свои собственные вооружения. В бюджете на 1939 год, затраты на вооружения, по сравнению с предшествующим годом были увеличены на 218 миллионов долларов. В бюджете на 1940-ой год затраты на вооружения были опять увеличены на 640 миллионов долларов и доведены до суммы в 1.794 миллионов долларов. Под влия-

1) "Lend Lea e. Weapon For Defense", by E. R. Stettinius.

нием европейских заказов и американских затрат военная промышленность в Америке достигла таких результатов, что уже к концу 1941-го года, за месяц до японского нападения на Перл-Гарбор, перед американским общественным мнением был поставлен вопрос о том, что придется делать с громадной рабочей силой, вовлеченной в этот процесс, когда война в Европе будет закончена.

Вопрос этот с большой силой и искренностью поставил перед Америкой один из ее крупнейших промышленных деятелей, председатель General Electric и бывший вице-председатель War Production Board, Чарльз Вильсон[2]). В статье, появившейся в American Magazine в ноябре 1941-го года, под заглавием "Can We Save Free Economy?" Вильсон рассказал о своих беседах с рабочими на заводах и в мастерских их предприятия и отметил, что всех их волнует один и тот же вопрос: какова будет их судьба после войны.

Анализируя этот вопрос, Вильсон пришел к определенному выводу, не совсем обычному для крупного промышленного деятеля. Он отметил прежде всего, что мы живем в «опасное время», что «весь мир, включая нашу страну, вовлечен в революционное движение масс» . Если после войны продуктивная работа не будет дана миллионам освободившихся рабочих рук, «эти миллионы поставят вопрос: что это за цивилизация? Она дает нам работу, когда нужны пушки и танки, а когда начинается работа на мирные нужды — для нас места нет. Если это так, тогда необходимо, чтобы правительство взяло на себя руководство всей экономической жизнью. Пускай правительство наладит опять производство полным ходом и установит справедливое распределение продуктов».

Вильсон пришел к следующему заключению: «После войны, когда громадные военные заказы исчезнут, мы должны будем или удовлетворительно разрешить стоящую перед нами задачу массовой безработицы или же нашему теперешнему экономическому порядку придется быть вытесненным ("or be pushed aside"). Мы должны найти путь к полному использованию всех наших производительных сил, к полной занятости всех рабочих рук, к полному распределению всего, что мы в состоянии произвести, или нашему современному экономиче-

---

2) Небывалое увеличение производства военных аэропланов, доведенное почти до 100.000 в 1944 году, является в значительной степени результатом работы Вильсона в W. P. B.

скому порядку придется сойти со сцены. Если нам не удастся разрешить эту послевоенную задачу, неизбежно придет эра государственного капитализма или социализма. Дело не в названии: перед нами будет новая Америка, непохожая на ту, которую мы знаем».

Таков был прогноз, поставленный Вильсоном в 1941-ом году. После этого были аналогичные заявления других американских промышленных деятелей. В тот момент, когда пишутся эти строки, американская печать воспроизводит следующее заявление Эрика Джонстона, президента Торговой Палаты Соединенных Штатов: «Нужны многие реформы для удовлетворения масс ("for the benefit of the masses"), иначе капитализм не переживет войну. В большей степени, чем когда-либо раньше, массы теперь чувствуют свою силу. Капитализм стоит перед судом истории: он должен оправдать свое существование»[3]).

Много воды и много крови утекло с тех пор, как Чарльс Вильсон написал свою замечательную статью. Американские военные затраты достигли к концу сентября 1944-го года астрономической цыфры — около 90 миллиардов долларов в год. Прямо или косвенно около 20.000.000 американских рабочих заняты работой на войну. Судя по некоторым теперь опубликованным данным, победа в Европе сократит военные заказы приблизительно на 40% и создаст безработицу для 8.000.000 рабочих. К этой армии безработных в течение года будут прибавлены несколько миллионов освобожденных из армии солдат.

Одновременно начнется, конечно, значительное расширение нормальной американской промышленности, сильно с'уженной и во многих областях совершенно заторможенной, начиная с 1942-го года. Начнется также и неизбежное возвращение к семейному очагу сотен тысяч женщин, ныне вовлеченных в военную работу. Будет также возвращение в колледжи и университеты той количественно большой части американской молодежи, которая войной была оторвана от нормального образования.

Несмотря на все это, по вычислениям Brookings Institution, работы которого пользуются значительным вниманием, даже через год по окончании войны в Европы, в Америке будет около 6.400.000 безработных. Последующая победа в

3) The N. Y. World-Telegram, September 27, 1944.

Азии и полная американская демобилизация доведет количество безработных до 17.800.000.

По вычислениям Департамента труда в Вашингтоне прекращение войны в Европе и Азии доведет количество безработных до 14.500.000. Из них 6.000.000 окажутся не у дел вследствие колоссального сокращения военной промышленности, а 8.500.000 вследствие освобождения от военной службы. Расчет этот основан на соображении, что после войны 2.500.000 солдат и офицеров будут продолжать службу в вооруженных силах республики.

Все эти вычисления, конечно, приблизительны. Ясно, однако, что Америке предстоит большой и опасный кризис. Для того, чтобы понять основные черты стоящей перед Америкой послевоенной проблемы и трудность ее разрешения в пределах нормального темпа американского прогресса, необходимо мысленно охватить, хотя бы в самых основных чертах, последние 15 знаменательных лет в американской истории — период 1929—1944 годов. Большая часть этого периода была отмечена тем же роковым явлением массовой безработицы.

II.

В своей предвыборной кампании губернатор Дьюи неоднократно выдвигал тот факт, что президенту Рузвельту не удалось до войны разрешить проблему массовой безработицы. Специальная перепись, произведенная в ноябре 1937-го года, установила число безработных в количестве 10.870.000. Как раз в этом же году появились в Америке признаки нового экономического кризиса. Национальный доход с 78 миллиардов долларов в 1937-м году упал до 71 миллиарда долларов в 1938-м году. Это было первое понижение национального дохода со времени прихода Рузвельта к власти.

В момент наивысшего экономического расцвета в Америке в 1929-м году национальный доход дошел почти до 90 миллиардов долларов. В 1933-м году он понизился до катастрофической цыфры в 46 миллиардов долларов, то есть, почти на 50%. Отражение положительного влияния рузвельтовских мероприятий и реформ на экономической жизни страны началось в 1934-м году. Повысившись до 55,8 миллиардов долларов в 1934-м году, национальный доход дошел до 78,2 миллиардов долларов в 1937-м году. Как было указано выше, в 1938 году доход упал до 71 миллиарда долларов. Экономический барометр начал предвещать новую бурю.

Сосредоточившись на критике рузвельтовской администрации, Дьюи нашел возможным не упомянуть, что он критикует государственного деятеля, который в 1933-м году, в самый последний, критический момент, совершил чудо спасения американского капитализма от верной гибели. Экономический кризис начался в Америке за 3½ года до прихода Рузвельта к власти, осенью 1929-го года, когда у власти стояли республиканцы. Благодаря поверхностному оптимизму и бездействию со стороны президента Хувера безработица к марту 1933-го года дошла до катастрофической цыфры в 13.000.000. Частичный паралич, начавшийся в 1929-м году, распространился по всему телу американской экономики и достиг ее сердца как раз к моменту прихода Рузвельта к власти. В этот момент вся американская банковская система оказалась парализованной. Федеральное правительство было вынуждено закрыть все банки.

Таково было положение, когда Рузвельт пришел к власти в марте 1933-го года. С другой стороны, с точки зрения правильного понимания не поверхностных симптомов, а глубоких корней американской экономической болезни, которая после войны грозит новым и не менее опасным рецидивом, важно также установить и тот факт, что и Рузвельту не удалось разрешить роковую проблему. Конечно, результаты рузвельтовской политики в этом отношении были не те, которые Дьюи представлял американским избирателям. Указав без всяких оговорок, что к началу 1940-го года, то есть, после семи лет рузвельтовской администрации в Америке было около десяти миллионов безработных, Дьюи стремился создать впечатление, что в результате всех рузвельтовских мероприятий и реформ, несмотря на затраты многих миллиардов долларов, Рузвельту удалось понизить безработицу только с 13 до 10 миллионов.

На самом деле, принимая во внимание тот факт, что вследствие непрерывного роста американского населения, количество работоспособных в Америке увеличивается приблизительно на 800.000 в год, количество безработных в Америке к началу 1940-го года было бы не 10, а почти 19 миллионов, если единственным результатом рузвельтовских мероприятий было бы только заторможение роста безработицы на уровне 1933-го года.

При этом следует заметить, что статистически правильное сравнение возможно только между мартом 1933-го года и концом 1937-го года, а не началом 1940-го года, как это сделал губернатор Дьюи. В начале 1938-го года в Америке появились

признаки нового экономического кризиса. Почти одновременно, начиная с середины 1938-го года, в Америку начали поступать военные заказы и было заложено начало американской военной промышленности, развитие которой привело к полному исчезновению массовой безработицы.

Если бы Рузвельту удалось за первые четыре с половиной года своей администрации только заморозить процесс экономического разложения в Америке на той точке, на которой он находился в марте 1933-го года, к концу 1937-го года количество безработных в Америке с 13-ти миллионов повысилось бы почти до 17-ти миллионов. Фактически к концу 1937-го года оно составляло около 11-ти миллионов. Это значит, что Рузвельту удалось понизить безработицу приблизительно на 35%. Из этого следует также тот важный факт, что больную американскую экономику он недолечил. К началу 1938-го года появились признаки рецидива болезни, от последствий которого спасли страну военные заказы. Последствия могли бы быть роковыми, так как к этому времени в Америке уже не было полной веры во врача-чудодея в Белом Доме.

В марте 1933-го года, в момент банковского паралича, когда недоверие и отчаяние в стране достигли наивысшей точки, появление у власти новой, обаятельной и вдохновенной фигуры вызвало почти волшебное возрождение веры в спасение. Миллионы людей, которые за несколько дней до прихода Рузвельта к власти вызвали национальный банковский кризис массовым набегом почти на все банки страны, вдруг потекли в обратном направлении, на этот раз для того, чтобы возвратить вклады во вновь открывшиеся банки. К 1938-му году вера в Рузвельта сильно упала. Энтузиазм его поклонников и друзей ослабел. Критические голоса зазвучали с возрастающей силой и горечью. Недолеченный больной перестал верить во врача.

В годы большого материального преуспеяния, во время войны Америка многое забыла. Лицом к лицу с новым кризисом ей придется многое вспомнить и многому научиться из недавнего прошлого. Главный урок этого прошлого заключается в том, что в 1933-1934 г.г., — когда голос Рузвельта был почти законом для страны, он не успел или не с'умел настоять на программе коренного разрешения ряда назревших проблем. Их разрешение уничтожило бы массовую безработицу в течение первых лет рузвельтовской администрации.

Проблемы эти по прежнему стоят перед Америкой. Годы войны только подчеркнули их крайнюю важность. Каков бы

ни был послевоенный период замешательства и колебания, разрешение этих проблем неизбежно, потому что только в их коренном разрешении возможно спасение Америки от внутренней катастрофы. В разрешении этих проблем окончательно выявится лик новой, послевоенной Америки. От полноты их разрешения будет зависеть удельный вес Америки — политический, экономический и моральный — в жизни всего мира после войны.

III.

Война не поставила новые, а подчеркнула старые проблемы, от которых американская демократия отмахивалась в течение десятилетий. Война с новой остротой поставила перед Америкой вопрос о той трети американского населения, которая, по словам Рузвельта, «недоедает, недостаточно одета и живет в трущобах».

Среди этих проблем, жилищный вопрос стоит на первом плане. По свидетельству специальной комиссии Сената в 1937-м году, «даже до депрессии свыше 10.000.000 семей в Америке, или свыше 40.000.000 населения, проживали в жилищах, недостаточных с точки зрения самых элементарных требований здоровья и социальной безопасности».

Жилищный вопрос обсуждался в Америке в течение, по крайней мере, пятидесясти лет до того, как Конгресс в 1937-ом году принял так называемый U. S. Housing Act, в котором впервые был установлен правильный социальный и экономический подход к этой проблеме. В апреле 1936-го года, в лекции в Принстонском университете Натан Штраус, выдающийся авторитет по жилищному вопросу, в то время занимавший пост директора жилищного отдела в нью-иоркском муниципалитете, заметил, что «жилищные условия в Америке так ужасны, что говорить о них приходится, как о национальном позоре» ("a national disgrace"). В том же году, в докладе мэру Нью-Иорка, Штраус писал: «Около 1.500.000 нью-иоркского населения вынуждены жить в пропитанных преступностью и болезнями трущобах ("crime-fostering and disease-breeding tenements"). Необходима и неизбежна государственная финансовая поддержка в постройке для них новых, минимально приличных жилищ. Частная предприимчивость одна, без государственной поддержки, не в состоянии разрешить эту проблему в пределах той крайне скромной квартирной платы, которую 500.000 нью-йоркских семей, зарабатывающих

меньше 1.500 долларов в год на семью, могут платить. Эти семьи не могут платить больше 20 долларов в месяц за квартиру».

В национальном масштабе проблема по существу та же. До войны одна треть американского населения, то есть, приблизительно 10.000.000 семей, зарабатывали меньше, чем 1.200 долларов в год. Частная деловая инициатива, без государственной поддержки, не была в состоянии разрешить жилищный вопрос для 40.000.000 американского населения. Та же самая проблема была поставлена в Англии и на европейском континенте после войны 1914—1918 годов, и в ответ между двумя войнами около 6.000.000 жилищ были построены в Англии и Европе с государственной поддержкой. Англия одна построила около 2.000.000 жилищ. Как Штраус указал в вышеупомянутой лекции, в Америке в течение того же периода только 10.000 жилищ было построено с государственной поддержкой.

Предвидя неизбежность принятия Конгрессом соответствующего законодательства в 1937-м году, Штраус заметил: «Мы теперь стоим накануне принятия национальной жилищной программы, которая, я разрешу себе предсказать, выразится в затрате не меньше десяти миллиардов долларов в ближайшие четыре или пять лет». Принимая во внимание, что создание минимально приличных и здоровых жилищных условий для 10.000.000 американских семей должно обойтись приблизительно в 30—35 миллиардов, Штраус расчитывал, что приблизительно одна треть этой важной национальной программы будет осуществлена в течение пятилетия 1937—1942 годов.

К сожалению, предсказания Штрауса не оправдались. United States Housing Act был принят Конгрессом и Штраус был назначен Рузвельтом на пост администратора этим законом созданной U. S. Housing Authority. Вместо десяти миллиардов Конгресс в течение четырехлетия 1937—1941 годов ассигновал на жилищные нужды только 800 миллионов долларов. В пределах этой ассигновки было построено около 200.000 жилищ, то есть, национальная жилищная программа была осуществлена приблизительно только на 2%. Полному развитию этого национального предприятия первейшей важности помешала оппозиция в Конгрессе, с одной стороны, и приближение войны, с другой.

Тем не менее следует отметить, что даже и скромная программа, проведенная Штраусом, дала важные результаты в том смысле, что абстрактные положения нового закона были

претворены в реальность и стоимость жилищной программы была установлена не в теории, или в терминологии заграничного опыта, а в подлинной американской практике.

Было установлено, например, что государственная субсидия в 28 миллионов долларов в год должна привлечь к этому важному строительному делу около миллиарда долларов частного капитала. В переводе на жилищную единицу это значит, что субсидия в размере 80 долларов в год на семью добавочно к той скромной квартирной плате, которую семья может платить, делает возможным привлечение банковского капитала для постройки для этой семьи приличного и здорового жилища. Это значит, что ежегодная субсидия в 800 миллионов долларов в год, равняющаяся приблизительно той субсидии, которую в течение последнего десятилетия ежегодно получало американское сельское хозяйство, открыла бы поле для полного разрешения этой важной национальной проблемы.

В том, что Рузвельт не провел U. S. Housing Act в 1933-м году, вместо 1937-го — одна из основных погрешностей рузвельтовской эпохи. В 1933-м и даже в 1934-м году была возможность не только проведения этого закона, но и одобрения Конгрессом достаточной ежегодной субсидии, которая была бы постепенно доведена до 800.000 долларов в год. В эти критические годы была возможность принятия пятилетнего плана, на основании которого могло бы быть построено около 2.000.000 жилищ в год. Принимая во внимание, что по вычислениям Департамента Труда в Вашингтоне, постройка одного жилища представляет собой сумму труда, способную занять двух рабочих в течение одного года, принятие такого плана дало бы работу четырем миллионам рабочих в течение пяти лет. Это сильно помогло бы полному разрешению проблемы массовой безработицы в течение первых лет рузвельтовской администрации.

IV.

Другой вопрос, так же остро подчеркнутый войной, это вопрос о минимальном уровне народного здоровья. Приблизительно одна треть из 16.000.000 молодых людей, призванных для медицинского освидетельствования в течении последних четырех лет, оказались физически или психически непригодными для военной службы. В речи, произнесенной 4-го октября 1944-го года, президент Рузвельт, указав, что из призванных на военную службу «около 40% оказались непри-

годны», прибавил: «Нам, как нации, остается только опустить голову от стыда».

В качестве иллюстрации того, насколько недейственна оказалась американская демократия в разрешении этого вопроса, можно привести следующий почти невероятный факт. Несмотря на наличность около полумиллиона случаев заболевания свежим сифилисом и свыше миллиона заболеваний гонорреей каждый год, до недавнего времени не было возможности даже публичного обсуждения этого вопроса, ввиду создавшейся вокруг него «конспирации молчания». Только в 1938 году Конгресс был в состоянии провести так называемый Venereal Disease Control Act.

Несмотря на то, что, по официальным данным, в 1938-ом году было 480.140 случаев заболеваний свежим сифилисом в стране, Конгресс в этом законе ассигновал из федеральных средств на борьбу с венерическими болезнями только три миллиона долларов в 1939-м году; 4 миллиона в 1940-м году и 7 семь миллионов в 1941-м году. В течение первого года по вступлении этого закона в силу, общая сумма всех штатных и муниципальных ассигновок на борьбу с венерическими болезнями равнялась 4.300.000 долларов. Между тем содержание на публичные средства многих тысяч умопомешанных, парализованных и слепых — принимая во внимание только те случаи, где корень несчастья был точно установлен в незалеченной венерической болезни — обходится стране приблизительно 50 миллионов долларов в год.

В специальной комиссии Сената, недавно организованной под председательством сенатора Пеппера, генерал Гершей, стоящий во главе федеральной комиссии по воинскому набору, подчеркивая тот факт, что около 5.000.000 молодых людей оказались непригодными к военной службе, заметил: «Я не могу не чувствовать, что при таких условиях мы только занимаемся разговорами о демократии». Глава комиссии по распределению рабочей силы во время войны, бывший губернатор Макнот, настаивал на том, что «венерические болезни могут и должны быть сведены на нет». Его замечание нашло сильное подтверждение в заявлении, сделанном 2-го октября 1944 г., на конференции Американской Ассоциации Народного Здоровья в Нью Иорке крупным промышленным деятелем Р. Е. Гилмором. Согласно отчету в нью-иоркском Таймсе, «мистер Гилмор указал, что из 3.200.000 американцев, зараженных сифилисом (сюда относятся и свежие и старые заболевания. А. И. З.), одна треть приходится на рабочих».

Между тем, в настоящий момент благодаря сульфа-медикаментам и пенисиллину, излечение сифилиса во многих случаях возможно в течение пяти дней [4]), а гонорреи — в течении 24-х часов.

Суммируя данные, представленные его комиссии, сенатор Пеппер заявил, что постройка лечебных пунктов и госпиталей в тех частях страны, где медицинская помощь населению недостаточна и где ее просто нет, насущная задача периода послевоенной реконструкции. Д-р Томас Парран, глава Федерального Департамента Здоровья, предложил национальную программу постройки дополнительных и расширения существующих госпиталей на 417.000 кроватей и создания 2.400 новых пунктов для медицинского освидетельствования и помощи.

Строительная программа, предложенная доктором Парраном, обойдется приблизительно в два миллиарда долларов. В терминологии рабочего труда осуществление этой программы дало бы работу приблизительно миллиону рабочих в течении двух лет. Осуществление этой программы в начале рузвельтовской администрации сделало бы Америку более подготовленной к военному конфликту.

Заново встает и вопрос об образовательном уровне страны. В докладе перед национальной Ассоциацией по Образованию, г-жа Агнес Майер, талантливая писательница по социальным вопросам [5]) и соиздательница влиятельной газеты "The Washington Post", указала, что около четырех миллионов детей в Америке не получают достаточного элементарного образования. «Мы должны признать, что среди наших школ есть лучшие в мире, но есть и такие, которые были бы позором даже в самой бедной из балканских стран».

В эту войну 240.000 юношей не были приняты на военную службу вследствие абсолютной безграмотности. «Если соображения гуманности недостаточны для наших государственных деятелей, тогда тот факт, что неграмотные не годны для армии и для полезного участия в экономической жизни, должен повлиять на их отношение к этому вопросу» [6]).

---

4) Факт этот был официально признан в одном из последних отчетов U. S. Public Health Service.

5) Она недавно выпустила очень интересную книгу под заглавием: «Приближающаяся буря» ("Storm Is Brewing"), представляющую результат ее об'езда Америки с целью изучения экономических и социальных проблем, созданных войной.

6) The New York Times, July 6, 1944.

В речи на конференции по вопросам образования в сельских округах Америки 4-го октября 1944-го года, президент Рузвельт отметил, что «откровенно говоря, проблема образования в наших сельских округах — это вопрос долларов и центов». Он отметил бедственное положение сельских учителей в Америке: «В настоящий момент среднее жалование сельского учителя меньше 1000 долларов в год и в некоторых случаях жалование доходит до такой низкой цыфры, как 300 долларов в год». На этой конференции председатель ее и известный педагог, д-р Доусон, рекомендовал в дополнение к улучшению экономического положения учителей постройку новых, современного типа сельских школ для 12 миллионов детей.

V.

Все обстоятельства указывают на то, что Америке предстоит послевоенный кризис. Понимание этого факта стало быстро расти по мере приближения победы в Европе. С возрастающей определенностью начинают звучать голоса из рядов организованного труда. Еще в августе 1943-го года в брошюре, написанной по поручению Американской Федерации Труда, д-р Джон Пирсон, молодой и талантливый американский экономист [7]), ныне занимающий пост директора Отдела Послевоенной Реконструкции в Департаменте Труда в Вашингтоне, отметил, что «если будет замедление и замешательство в процессе перехода промышленности к нормальному, полному производству, безработица (после победы в Европе) может дойти до 12 миллионов или больше в течение полугода». Даже в том случае, если «капитал, организованный труд и правительство об'единятся для разрешения проблемы и проявят в этом отношении необходимую решительность и мудрость, безработица будет не меньше 7 миллионов... Независимо от обстоятельств положение в течение первых шести месяцев будет критическое»[8]).

Дав подробный анализ основных факторов в этой проблеме, д-р Пирсон пришел к следующему заключению: «Нет возможности избежать суровой безработицы в переходный период без определенной программы общественных работ; так как

7) Автор книги "Full Employment", представляющей солидный вклад в литературу вопроса о массовой безработице.

8) "Employment After the War" by John H. G. Pierson, p. 4.

планирование и все прочие предварительные стадии в подготовке таких работ отнимают много времени, на организованном труде лежит обязанность настаивать на том, чтобы эти подготовительные работы были бы начаты теперь, иначе может быть поздно»[9]).

Написаны были эти строки тогда, когда в Конгрессе, избранном в 1942-м году нельзя было даже заикнуться об организации общественных работ какого бы то ни было типа. Безразличие избирателей в целом и в частности безразличие самих рабочих, уклонившихся от участия в голосовании, было причиной этого поворота Кенгресса направо. Джемс Кэрей, секретарь С. I. О., в докладе на специальной конференции по текущим и послевоенным вопросам, созванной журналом "The Nation", отметив, что в 1942-м году по сравнению с 1940-м годом количество участвовавших в выборах было на 22 миллиона меньше, прибавил: «И наименьшее количество голосов было подано рабочими. Мы получили то, что заслужили»[10]).

Интересную речь на этой конференции произнес наш соотечественник, Б. Шишкин, директор экономического отдела Американской Федерации Труда. По мнению Б. Шишкина, «после победы в Европе у нас будет не меньше 11 миллионов безработных в течение нескольких недель. Если бы мы были готовы поднять наше производство до новых высот; если бы мы были готовы сохранить покупательную силу широких масс нашего населения и предупредить ее возможное падение ниже уровня, установленного во время войны, мы могли бы обеспечить полную занятость рабочих рук. Но мы в этом отношении не готовы; у нас нет практических планов (курсив мой — А. И. З.). Если мы будем продолжать политику пассивности; если мы отвергнем всякую помощь и всякое руководство правительства в промышленной жизна страны, возможно, что после войны мы скатимся к уровню 1939 года»[11]).

На этой же конференции Филипп Морэй, президент С. I. О., заявил; «Мы хотим жить в активно функционирующей демократии. Работа должна быть обеспечена всем желающим

---

9) Ilid., p. 9.

10) "The Nation", October 21, 1944.

11) "The Crisis Ahead" by Shishkin. "The Nation", October 21. 1944. В более подробной форме Б. Шишкин представил анализ этой проблемы в статье, напечатанной в октябрьской книге органа Американской Федерации Труда, Труда "American Federationist".

работать!» К эому он прибавил: «Конгресс Индустриальных Организаций не полагает, что правительство одно может создать обеспеченность труда всем, желающим работать, точно так же, как мы не полагаем, что частная предприимчивость одна без помощи правительства может разрешить эту задачу... Мы полагаем, что и правительство и частная премышленность в состоянии сделать многое для разрешения этого вопроса. Организованный труд, капитал и правительство должны об'единиться для организации производства на основе общего национального плана, основанного, в свою очередь, на планах, разработанных для каждой отдельной индустрии»[12]).

На аналогичной конференции, созванной ньюиоркской газетой Herald-Tribune, эти рабочие голоса нашли себе авторитетное подкрепление в замечательных речах Бернарда Барука и Генри Кайзера. Первый из них — блестящий финансист, выдающийся знаток всех сторон американской экономической жизни, глава War Industries Board во время первой мировой войны. Несмотря на свои 74 года Барук все еще — большая и конструктивная сила и в Вашингтоне и в стране. Призванный президентом Рузвельтом в начале этой войны возглавить специальную комиссию по изучению критического вопроса о каучуке, Барук представил доклад, который признан во всех отношениях классическим. На основании этого доклада был разрешен опасный кризис и была создана ныне уже колоссальная индустрия искусственного каучука в Америке. Его же доклад по вопросам реконструкции американской промышленности в переходный период от войны к миру также представляет собою документ исключительный по силе анализа и по практическому значению.

Высокая, величественная фигура Барука, его красивая, седая, орлиная голова и сверкающие молодые, живые, зоркие глаза, несмотря на скромность его манер, доминировала на этой конференции. Резюмируя свои мысли о стоящих перед Америкой проблемах, Барук сказал: «Во-первых, путем развития торговых отношений, мы должны создать такой об'единенный мир, в котором работа была бы обеспечена для всех, и я повторяю: работа; во-вторых, мы должны предотвратить депрессию путем предоставления работы всему населению, и я опять повторяю: работы»[13]).

---

12) "Labor's Fight for Democracy", by Philip Murray; "The Nation" October 21, 1944.

13) "The New York Herald-Tribune", October 18, 1944.

Во время этой речи, имевшей большое значение в смысле создания и кристализации широкого американского общественного мнения, Барук для многих совершенно неожиданно пришел на помощь той широкой либеральной концепции, которую в своих речах неоднократно намечал Генри Волллэс, Это — концепция такого материального благополучия во всем мире, которое, по иллюстрации вице-президента С. Штатов, означало бы молоко для детей в каждом доме во всех странах мира. Эти «бессмысленные мечтания» соратника Рузвельта не раз высмеивали так называемые «практические умы». К их конфузу маститый Барук, взгляды которого обычно склонны к некоторому консерватизму, заявил следующее: «Снабжение всех, кто хочет работать, — да, всех, включая даже готентотов — бутылкой молока в день желательно и с экономической и с социальной точки зрения. Это даже может быть прибыльно. Я обращаю это замечание к тем, повидимому, затверделым деловым людям, которые, отворачиваясь от всякого социального идеализма, не понимают, что такой идеализм может явиться выражением просвещенного понимания наших интересов. К тому же идеализм ведь самая сущнотсь американской цивилизации. Я рекомендую этим циникам перечитать Декларацию Независимости». К этому он прибавил: «Хорошо питающиеся, хорошо одетые и в приличных жилищных условиях живущие люди менее склонны к разрушению и кровопролитию, чем их несчастные собратья».

Таковы предстерегающие голоса лучших представителей американской демократии. Среди многих причин американской неподготовленности к критическим проблемам послевоенного времени систематическое игнорирование этих проблем со стороны большинства Конгресса, избранного в 1942 году, является значительным фактором. В этом Конгрессе самые слова: «план», «планирование» были взяты под подозрение. Его постановлением было закрыто в Вашингтоне такое во многих отношениях замечательное официальное учреждение, как Комитет Планирования Национальных Ресурсов. Что особенно задело большинство Конгресса — это центральная идея, проходящая через все заключения Комитета, что в современ- Америке в дополнение к ныне существующей декларации политических прав должно быть также установлено «право на труд».

Война, обострив все старые проблемы, ставит вопрос «быть или не быть» перед современным американским политическим, экономическим и социальным порядком. Но как раз

в процессе разрешения этих проблем откроется для Америки эра нового, небывалого демократического прогресса. Новые, блестящие страницы будут вписаны в американскую историю в течение ближайших лет. Этому будут, по всей вероятности, предшествовать сильные подземные толчки, но общего землетрясения не будет. На арену политического действия выйдут новые силы, и кристализация общественного мнения будет такова, что появится и нужный практический план, основанный на большой теоретической разработке вопроса, которая, к счастью, была проделана в течение последних нескольких лет, и средства, необходимые для его выполнения.

"Where there is a will, there is a way" — гласит характерная для Америки пословица. Под влиянием первых же признаков затяжной массовой безработицы скажется и выразит себя в действии национальная воля к труду и прогрессу. В выражении этой воли миллионы организованных рабочих [14]), миллионы ветеранов войны и все либеральные элементы страны сольются в единую, непреодолимую силу. Конгресс вынужден будет отразить эту волю страны. Быстрый и решительный подход к жилищному вопросу на основании уже существующего закона 1937 года; организация работ по постройке новых госпиталей и школ; дальнейшее развитие электрофикации сельских округов и многие другие общественно-полезные проекты, в дополнение к тому, что освобожденная от военного регулирования промышленность сама может создать для новой эры мирного прогресса, дадут необходимый результат: полную занятость всех рабочих рук в послевоенной Америке.

VI.

Это значит, что Америка придет к той простой и неизбежной программе переходного послевоенного периода, которую английское правительство, руководимое консервативной партией, провозгласило еще в марте 1943 года. В замечательной речи в парламенте, произнесенной год спустя — 24 марта 1944 года, Винстон Черчил сообщил, что правительство представит стране «четырехлетний план, задача которого заключается в создании такого перехода от войны к миру, при котором вете-

---

14) Количество организованных рабочих за годы рузвельтовской администрации выросло с двух с половиной миллионов почти до тринадцати миллионов.

раны войны могли бы вернуться в страну, в которой для всех обеспечен хлеб, труд и приличные жилищные условия».

В качестве основных черт этого плана Черчиль наметил колоссальную жилищную программу; небывалое расширение всех видов социального страхования — «для всех классов с обеспечением на всем протяжении жизни, от колыбели до могилы»; организацию в национальном масштабе для всех доступной и достаточной медицинской помощи; широкую и радикальную образовательную программу — по словам Черчиля, «план улучшенного образования, равного которому по размеру не было до сих пор в истории». Черчиль пояснил, что этот план вызовет значительные расходы со стороны правительства, но прибавил: «Я не думаю, что мы будем в состоянии сохранить наше положение в послевоенном мире, если мы не станем высоко-просвещенным народом ("exceptionally educated people"), если мы не будем в состоянии с полным пониманием справиться с проблемами новой, на научном прогрессе основанной эпохи».

Америка неизбежно придет к такой же программе послевоенной реконструкции. Национальный доход в Америке в настоящий момент приближается к гигантской цыфре в 200 миллиардов долларов. Некоторые экономисты полагают, что для поддержания полной занятости рабочих рук после войны национальный доход должен держаться на минимальном уровне приблизительно в 140 миллиардов долларов в год. Пишущий эти строки считает, что мнение экономистов Федеральной Резервной Системы и Департамента Торговли в Вашингтоне, определяющих этот минимально-необходимый уровень национального дохода приблизительно в 170 миллиардов долларов, ближе к истине[15]). Но в настоящий момент около 90 миллиардов во год, то есть, почти 50% национального дохода тратится на войну. Возможность предотвращения экономической катастрофы в Америке после войны зависит таким образом от возможности заполнить тот громадный «вакуум», который образуется в ее экономике после прекращения военных заказов. Это возможно, с одной стороны, путем большого

15) "Federal Reserve Bulletin", May, 1944. Цыфра взята из интересной и содержательной статьи, "Jobs After the War", написанной нашим соотечественником, Е. А. Гольденвейзером и его коллегой, Эверетт Е. Хаген. См. также "Markets After the War", p. 3, и "Foreign Trade After the War", p. 6. Эти две брошюры изданы Департаментом Торговли в Вашингтоне.

расширения потребления внутри страны и, с другой, путем соответствующего развития послевоенного экспорта.

После войны внутреннее потребление в Америке сильно увеличится. С одной стороны, за годы войны накопились колоссальные неудовлетворенные нужды[16]), а, с другой, никогда еще на всем протяжении американской истории в руках населения не было таких громадных покупательных средств. Сбережения в руках американского населения в настоящий момент превышают 100 миллиардов долларов. До 1941 года индивидуальные сбережения в течение года никогда не превышали 10-ти миллиардов долларов. В 1941-ом году индивидуальные сбережения были в размере 13,7 миллиардов долларов; в 1942 году — в размере 26,9 миллиардов долларов; в 1943 году — 43 миллиарда долларов[17]).

На этой необычной ситуации построены многие расчеты на расширение внутреннего американского рынка после войны «собственными средствами». На этом основана, главным образом, аргументация реакционно настроенной части американского делового мира: «обойдемся и без правительства; нам не нужны общественные работы»[18]). Но во-первых, постройка приличных жилищ, поднятие образовательного уровня и уровня здоровья в стране и т. д. необходимы при всяких условиях; во-вторых, одного нормального расширения внутреннего потребления для быстрого заполнения вышеупомянутого экономического «вакуума», который образуется вследствие прекращения военных заказов будет недостаточно; в-третьих, только провозглашение американским правительством, что оно — как это сделало английское правительство — «признает и принимает на себя ответственность за создание и поддержание высокого и устойчивого уровня рабочей занятости после войны»[19]), создаст в стране психологию уверенности в том, что

---

16) За три года войны Америка недопроизвела около 11 миллионов автомобилей; 10 с половиной миллионов холодильников; 6 миллионов стиральных машин; 41 миллион радио; 10 миллионов домашних печей и т. д. (Данные взяты из издания Office of Price Administration в Вашингтоне).

17) "Markets After the War", p. 14.

18) На таком отношении основана программа и деятельность известного Комитета Экономического Развития — большой и влиятельной организации консервативных деловых кругов.

19) Из «Белой Книги», представленной парламенту Министром Реконструкции.

не будет большого экономического кризиса. Только в атмосфере такой уверенности миллионы американских потребителей начнут тратить свои сбережения. В атмосфере нерешительности потребление сократится, и начальная, неизбежная безработица начнет катастрофически расти.

На понимании абсолютной необходимости положительной послевоенной программы была построена речь президента Рузвельта в Чикаго 28 октября 1944 года. Будущий историк отметит эту речь, как один из важных документов не только американской, но и всей демократической цивилизации. Президент Рузвельт начертал для Америки такую же практическую и вместе с тем вдохновенную перспективу послевоенного развития, какую Винстон Черчиль наметил для Англии.

После войны в Америке вместе с возвратившимися солдатами будет 60 миллионов рабочих. Для всех их, по словам Рузвельта, должен быть создан порядок, в котором в дополнение к уже существующим свободам будут также осуществлены «свобода от нужды» и «свобода от страха». Непреходящее значение этой речи Рузвельта заключается в том, что в ней, в прямом обращении к американскому народу, президент Соединенных Штатов развил идею новой «декларации экономических прав», включающую «право на полезную и хорошо оплачиваемую работу»; «право каждой семьи на приличные жилищные условия»; «право на нормальное здоровье и на достаточную медицинскую помощь»; «право на хорошее образование» и «право на достаточное социальное страхование всех категорий».

Рекомендуя и обещая максимальную поддержку промышленности в ее послевоенном функционировании, в полном понимании, что на промышленности будет лежать главная задача создания полезного труда для новых миллионов рабочих, Рузвельт вместе с тем начертал смелую программу общественно-полезных проектов, в проведении которых инициатива и финасирование должны принадлежать правительству и в выполнении которых частная промышленность получит громадную поддержку для разрешения лежащей на ней задачи.

VII.

По стопам,намеченным Рузвельтом, уже идет промышленный гений страны. Для того, чтобы создать полную занятость всех рабочих рук, Америка должна будет взять на себя ту громадную роль по индустриализации пробужденных к

новой жизни континентов, которую ей уготовила история. Американский послевоенный кризис будет, главным образом, кризисом тяжелой индустрии. И именно в тяжелом оборудовании, преимущественно нуждаются Россия, Китай и Индия, не говоря уже о разрушенных странах Западной Европы и о громадных возможностях в Центральной и Южной Америке. В подготовке тесного экономического сотрудничества с Советским Союзом активную роль взял на себя председатель Торговой Палаты Соед. Штатов, — Эрик Джонстон. Дональд Нельсон, бывший председатель "War Production Board," проведший гигантскую мобилизацию всей американской промышленности для войны, взял на себя задачу экономической организации Китая для войны и мира.

Во внутреннем экономическом возрождении Америки одна из главных ролей уготована Генри Кайзеру, создавшему для себя во время войны мировую славу в качестве кораблестроителя. Кайзер является несомненно одним из главных «организаторов победы». В предприятиях его заняты около 400 тысяч рабочих. Все они организованы и отношения между ними и Кайзером всегда были теплы и гармоничны. Кайзер по принципу не признает никаких непреодолимых затруднений. «Все возможно» — его любимое выражение. В беседе с корреспондентом нью-иоркского «Таймса», напечатанной 29 октября 1944 года, Кайзер, развив замечательную по смелости и размаху программу послевоенной экономической реконструкции, прибавил: «все это очень просто и нетрудно сделать».

На вышеупомянутой конференции, созванной нью-иоркской Herald-Tribune в октябре 1944 года, Кайзер произнес речь на тему: ««Работа для всех». Взяв жилищный вопрос, как основной, он предложил постройку 2 миллионов жилищ в течении первых полутора лет после войны, что даст работу 4 миллионам рабочих. Он рекомендовал постройку новых дорог в национальном масштабе, с ассигновкой на это в соответствии с пожеланиями специального Комитета по дорогам, созданного Рузвельтом, 3-х миллиардов долларов в год в течение нескольких лет. Это дало бы работу полутора миллионам рабочих. Он также наметил организацию в национальном масштабе медицинской помощи (в его собственных предприятиях медицинская помощь поставлена на большую высоту). Кайзер требовал постройки около тысячи новых, по последнему слову науки оборудованных госпиталей. Будучи заинтересован в послевоенной авиации, Кайзер рекомендовал сооружение 5.000 аэродромов.

Значение этих проектов Кайзера не только в том, что они отражают настроения прогрессивных промышленных деятелей Америки, но и в том, что у него обычно за словом всегда следует дело. Создание нового, улучшенного и самым широким кругам доступного автомобиля, который мог бы почти удвоить внутренний автомобильный рынок; создание всем доступного аэроплана; создание нового типа домов, которые в массовом производстве были бы привлекательны и удобны, и вместе с тем доступны по цене широким народным массам — все это идеи, которые уже разрабатываются в предприятиях Кайзера в деталях. Во многих отношениях Кайзер является продолжателем Форда; он такой же смелый, решительный и плодотворный пионер новых промышленных путей, но с гораздо более широким политическим и социальным горизонтом. Послевоенной американской промышленности придется во многих отношениях равняться по Кайзеру.

Недостатка работы в послевоенной Америке не будет. Но дело идет не только о работе, но и о хорошо оплачиваемой работе. Жизненный уровень широких американских масс сильно повысился за годы войны. Условия в американской армии и флоте таковы, что содержание каждого солдата и матроса, включая стол, жалование, одежду, медицинскую помощь и скидку на многие предметы ежедневного потребления, обходятся около 1.750 долларов в год. Это не включает помощь, которую одновременно получают их семьи. Что касается рабочих, средний рабочий заработок с 1.290 долларов в год в 1939 году поднялся до 2.037 долларов в 1943 году. Привыкнув к такому жизненному уровню, ни рабочие, ни ветераны войны на снижение его не пойдут.

В связи с непрерывным научным и техническим прогрессом производительность американского труда возрастает приблизительно на два с половиной процента в год. Предоставление продуктивного труда цвету нации — 11 миллионам молодежи, втянутой в войну; повышение образовательного уровня и уровня здоровья в стране и непрерывно ускоряющийся темп научного и технического прогресса — все это делает вполне возможным национальный доход в Америке в размере 250 миллиардов долларов в 1951 году, то есть, приблизительно через пять лет по окончании этой войны.

Одновременно с процессом повышения национального дохода будет итти процесс сокращения рабочего дня. В обоих отношениях новый прогресс будет продолжением старых тенденций. Даже ныне живущее американское поколение помнит

то время, когда в американской промышленности господствовала потогонная система и рабочий день в 10 и даже 12 часов был обычен. Интересную иллюстрацию прогресса в этом отношении дал П. Гофман, президент Комитета Экономического Развития и одновременно президент Studebaker Corporation. В 1912 году обычный недельный рабочий заработок в их компании был 12 долларов за 60 часов работы. В 1936 году — и он отметил, что этот год был не из лучших — средний недельный рабочий заработок в их компании повысился до 35 долларов за 40 часов работы [20]).

Принимая во внимание технический прогресс и социальные тенденции в современной Америке, не только национальный доход в 250 миллиардов долларов, но и установление 30-часовой рабочей недели — шестичасового рабочего дня — возможно и почти неизбежно в Америке к 1951 году. Процесс этот будет продолжаться в том же направлении, с ускоренным темпом. Это не значит, что американский капитализм приходит к концу. Это значит, что после войны экономическое развитие Америки вступит в новую фазу — фазу экономической эмансипации широких народных масс. Признание права на труд, осуществление декларации экономических прав, превратит Америку из демократии только политической в демократию политическую и экономическую.

Социализм в основном стремится именно к этой экономической эмансипации масс и к тому безпредельному горизонту культурного и духовного прогресса, который экономическая эмансипация должна открыть в жизни человечества. Колоссальное значение ближайшей стадии американского демократического прогресса для всего мира заключается в том, что Америка продемонстрирует возможность такой эмансипации помимо «обобществления орудий производства и распределения» и без «диктатуры пролетариата». Если не по форме, то по существу она вступит на путь демократического социализма. В этом направлении должно будет пойти и все человечество после войны. Влияние Америки в этом отношении будет огромно.

А. И. Зак.

20) "American Federation of Labor Forum on Labor and Post-War World" p. 23.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЛЛЬ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ПРАВ МЕНЬШИНСТВ

Одним из краеугольных камней будущего мира — в двояком смысле слова «мир» — сейчас признается международный билль о правах человека и гражданина. Нетрудно проследить генезис такого предложения. Оно находится в прямой связи с провозглашенными президентом Рузвельтом «Четырьмя свободами» 6-го января 1941 года и с «Атлантической Хартией» Рузвельта-Черчиля 14 августа 1941 года, получившей признание Об'единенных Народов в Декларации 1-го января 1942 года.

В этих документах говорится о многих и разных правах и свободах; не только об общепринятых политических правах и гражданских свободах: свобода слова и свобода религиозного исповедания (1-я и 2-я свободы Рузвельта; защита жизни, свободы, неприкосновенности, религиозной свободы, человеческих прав и справедливости (Декларация Об'единенных Народов). Здесь предусмотрены и социально-экономические, и международного порядка права: свобода от нужды и страха (3-ья и 4-я свободы Рузвельта) и улучшение рабочих ставок, прогресс экономики, социальное обеспечение, свободный доступ к открытым морям и океанам (пп. 5-7 Атлантической Хартии).

Не менее существенным, чем содержание провозглашенных прав, является признание их универсальными и общеобязательными. Упомянутые права и свободы распространяются на всех людей и все страны. "Everywhere in the world" — говорится о каждой из четырех свобод Рузвельта; "for all," "all the men in all the lands," "all men," — значится в пп. 5-7 Атлантической Хартии; "in their own lands as well as in other lands" — утверждает Декларация Об'единенных Народов.

Чем дальше во времени, тем сомнения относительно жизнеспособности и практической осуществимости «Четырех Свобод» и «Атлантической Хартии» все возрастают. Невзирая на это, независимое общественное мнение в Америке и других

странах продолжает всячески пропагандировать международный билль о правах, как необходимую предпосылку будущего правопорядка.

Не приходится доказывать чрезвычайную желательность такого билля или связанность его с демократическим правосознанием и правопорядком. Ниже мы отметим трудности, которые стоят на пути даже к формальному провозглашению такого билля Об'единенными Народами — в частности, двумя из «Четырех великих», или ведущих держав, — не говоря уже о проведении его в жизнь. Сейчас упомянем о другом — биллю приписывают не только то значение, которое он несомненно имел бы, но и дополнительное: он будто бы может заменить и заместить неоправдавшую себя международную защиту меньшинств.

Особого внимания, при этом, заслуживает то, что упразднение международной охраны меньшинств путем замещения ее биллем об индивидуальных правах защищают сейчас не одни только исконные противники признания за этническими меньшинствами особой охраны в международном порядке. Как это ни парадоксально, — и среди преданных друзей меньшинств, в недалеком прошлом настойчиво отстаивавших международные гарантии в пользу меньшинств, и среди них теперь встречаются пропагандисты билля о правах человека в м е с т о охраны меньшинств.

Нуждаются ли меньшинства в специальной защите или проектируемый билль о правах делает ее излишней?

1.

Катастрофа, обрушившаяся на человечество, вместе с жизнью миллионов, отняла и разбила и духовные ценности. Уничтожив невозстановимые памятники искусства и культурные ценности, она разбила, вместе со многими иллюзиями, и веру во многое из того, что составляет неотменимое содержание демократического правосознания и гуманизма.

Если говорить о политической культуре, люди изверились в ценности всеобщего избирательного права и народного представительства, в свободе печати и свободных выборах, в коллективной безопасности и Лиге Наций. Неудивительно, что, когда под сомнение были взяты самая демократия и гуманизм,

— стали сомневаться и в целесообразности восстановления, после победоносного завершения войны, и международной охраны меньшинств веры, расы, языка. Здесь сомнения питались и разочарованием в действительности мероприятий, с такими трудностями осуществленных в 1919 и последующих годах и столь часто бездействовавших.

Сейчас как будто все уже согласились на том, что, если коллективная безопасность и Лига Наций в прошлом не удались, это вовсе не значит, что они и не могли удасться, что самое задание, поставленное им, было неправильно. То же самое надлежит утверждать и о международной защите меньшинств, — если даже допустить, что она была совершенно бесполезна и никчемна, что противоречит фактам. Международная охрана меньшинств возникла вместе с Лигой и была с ней неразлучна, как два близнеца, — и в мире идей, и в мире вещей. Кто отвергал систему международной охраны меньшинств, как правило, относился недоверчиво и враждебно и к Вильсоновской «выдумке»; и — обратно.

В системе мира, установленной в Версале, режим меньшинств не был какой-либо случайностью или излишеством. Он был необходимостью, вытекавшей из исторического прошлого Европы, и коррективом (или королларием) к началу национального самоопределения, которое было положено в основание перекроенной карты Европы.

И до Версаля меньшинствам приходили на помощь те или иные державы. Но помощь бывала непостоянной, случайной и произвольной, а случайность и произвольность способствовали не укреплению внутреннего и внешнего мира, а, наоборот, — его нарушению. Даже и в тех редких случаях, когда державы выступали в Европе сообща на защиту преследуемого меньшинства, они, как правило, действовали в своем частном, индивидуальном или групповом, интересе. Опасность только возрастала, когда на защиту нарушаемых этнических или религиозных прав выступали соседние державы.

Новый порядок покончил со всем этим, — вернее сказать, хотел или должен был с этим покончить. Защита меньшинств из'ята была из сферы ведения определенной — или определенных держав. Она была возложена на Лигу Наций, как хранителя общей безопасности и гаранта нового порядка. Тем самым вырывалось жало личной заинтересованности и произвола, и защита меньшинств приобретала характер постоянной и вместе с тем об'ективно-правовой.

Новый порядок оторвал у трех великих держав централь-

ной и восточной Европы десятки миллионов населения; по данным Тойнби от 80 до 104 миллионов; по подсчетам Ситон-Уотсона и Раппара, численность населения под чужеземной властью сократилась в Европе на 3/4. Однако же и самая радикальная перекройка Европы применительно к началам национального самоопределения, с широким применением права оптации теми, кто оказался за пределами национально-родственного ему государства, не могла — и об'ективно никогда не будет в состоянии — предотвратить образование групп, отличающихся от большинства населения верой, языком, этническими особенностями.

Таких членов различных групп меньшинства насчитывалось в центральной и восточной Европе после войны до 25 миллионов. Если бы удовольствовались одним принципом национального самоопределения, перед меньшинствами открывались бы три возможности: отказаться от своего своеобразия и ассимилироваться, т. е. быть поглощенным большинством; покинуть свою отчизну и иммигрировать в страну, где большинство состоит из национально-родственных элементов; или, наконец, способствовать тому, чтобы соседнее национально-родственное государство присоединило территорию, на которой находится данное меньшинство. Для предотвращения всех этих трех неприемлемых возможностей и создан был в 1919 году, впервые в мировой истории, специальный статут для меньшинств: 20-25 миллионов были поставлены под особую международную защиту, под гарантией Лиги Наций.

Эта защита не удалась. В ее организации оказалось много упущений и дефектов, и она плохо действовала. Лига Наций не выполняла — или выполняла очень плохо — принятые на себя обязательства. Это все не менее бесспорно, чем и то, что неудавшаяся в 1919-1939 г.г. Лига Наций не сняла с очереди вопроса о более совершенной организации общей безопасности и мира в 1944 году. Запоздавшая ровно на четверть века реабилитация Вильсона и его идей не может, однако, ограничиться одним отказом от изоляционизма и признанием необходимости международной организации — Союза Об'единенных Народов. Реабилитация не может не пойти дальше и глубже, включив в себя, в частности, и реабилитацию международной гарантии прав меньшинств.

«Ничто, позволю я себе сказать, не способно нарушить международный мир больше, чем обращение, которому в некоторых случаях подвергаются

меньшинства», — так говорил Вильсон на конференции мира в 1919 году. Для него обеспечение прав меньшинств было условием и элементом общего устроения мира на началах права. «Мы попытаемся установить миролюбивое общежитие, это значит, устранить, по возможности, те элементы беспорядка, которые могут послужить помехой всеобщему миру, и мы попытаемся распределить справедливо территории согласно расовому или этнографическому характеру живущего там населения»[1]).

Эти слова Вильсона бросают свет на прошлое. Они вскрывают и корни нынешней, второй мировой войны. Они и указание, и предостережение будущему — как организовать новый международный порядок, чтобы прежние опасности вновь не подстерегли и не разрушили его.

2.

На том же общем собрании мирной конференции 31 мая 1919 года, на которой Вильсон поставил свой диагноз, имевший и сохраняющий по сей день значение прогноза, — председатель конференции, французский премьер Клемансо отметил в нескольких словах основное существо и назначение нового порядка охраны меньшинств. Он сказал: «Вопрос состоит в том, чтобы узнать, не следует ли, на основании прошлого некоторых народов, дать (меньшинствам), я не сказал бы дополнительные, но более полные гарантии, которые могли бы быть признаны необходимыми». Этот мотив повторен и в историческом об'яснительном письме, которое Клемансо адресовал 24 июня 1919 года главе польской делегации Игнатию Падеревскому.

Основное сомнение сводилось тогда — сводится и сейчас — к следующему силлогизму: если существует правовой или демократический режим с равноправием для всех без различия веры, расы, пола, — почему и для чего нужна особая охрана меньшинств? Общее равенство покрывает собой как будто и равенство отдельных групп и индивидов, входящих в состав общежития. — Это соображение представляется неопровержимым — особенно для тех, кто воспитался на идеях старой.

---

1) См. издание Государств. Департамента: "Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. — The Paris Peace Conference. 1919." — Volume III. 1943, p. 406.

отжившей эпохи, — что, конечно, далеко неравнозначно идеям консервативным или не-либеральным.

До признания меньшинств особой категорией, не укладывающейся целиком ни в простую сумму индивидов, ни в часть целого, общежития, — человеческое правсознание дошло не сразу. Когда дальновидные отцы американской конституции принимали меры против «узурпации большинств», они говорили о «праве индивидов или меньшинств»[2]). Этот взгляд дожил до нашего времени. Многие американские политики и ученые и сейчас считают билль о правах действительной и достаточной защитой всяких меньшинств. Когда П. И. Новгородцев писал свою замечательную книгу «Кризис современного правосознания», он безоговорочно утверждал: «если противопоставляют власти большинства право меньшинства, то под этим правом в сущности следует разуметь право личности»[3]).

Только в 20-ом веке возникло и укрепилось представление о праве меньшинств, как о самостоятельном праве, а не как о производном от прав индивида или «отраженном» от права большинства. Даже знаменитый Еллинек, один из немногих осознавший значение права меньшинств в конце прошлого века, считал «высшим правом» меньшинства возможность для меньшинства «превратиться в большинство» при известных обстоятельствах.

Признание прав меньшинств характерно для нашего века с его социальной дифференциацией и стремлением к самоорганизации. Самые разнообразные интересы об'единяют людей в различные, часто пересекающиеся группы по самым разнообразным признакам: происхождения, профессии, учреждений, местожительства, верований и т. д. Каждый из этих интересов — или каждая группа — естественно, требует своего правового признания. Так между интересами и правами отдельной личности и интересами и правами целого, в демократическом государстве определяемого волею большинства, возникла третья категория или новый комплекс права и право меньшинств.

В эпоху французской революции мог найтись член Конституанты, Ретиф де ла Бретон, который рискнул утверждать: «Меньшинство всегда виновно, даже если морально оно и

2) "The Federalist", № 51. Февраль 1788 г.

3) Изд. 1909 г., стр. 236.

право». В наше же время и политики (Теодор Рузвельт), и ученые (Кельсен) одинаково признают, что положением меньшинства в государстве определяется уровень правовой культуры. Кельсен считает, что определяющим началом для демократии надо признать сейчас не принцип большинства, а принцип «большинства-меньшинства». Мне не один раз приходилось приводить афоризм знаменитого французского государствоведа Дюги: «Индивид тем больше человек, чем в большее число общественных групп он входит составной частью». Положение индивида в группе и группы в общежитии являются мерилом общественного развития и культуры.

До нашего времени дожило и другое представление конца 18-го и 19-го веков: идея манчестерства, или laissez faire, и принцип, формулированный в американской Декларации независимости 1776 года, — все люди по рождению равны. И тут новое время — уже с конца прошлого столетия и особенно настойчиво в текущем — выдвинуло, взамен, так называемого, классического либерализма, либерализм новый или нео-либерализм, связанный с именами Т. Грина, Герберта Самюэля, Гобхауза, Ллойд Джорджа, Вудро Вильсона, Анри Мишеля, Альфреда Фуйэ и многих других. Существо его заключалось в отрицании безразличного — или нейтрального — отношения со стороны публичной власти к положению населения, лиц и групп. И практически, вместо роли «сторожевого пса», только в случае катастрофы призванного вторгаться в частную сферу, государство было признано постоянным посредником и умиротворителем сталкивающихся интересов — лиц и групп. За этими последними, с другой стороны, было признано право не только на невмешательство со стороны государства в определенных случаях, но и на положительные услуги и прямую поддержку со стороны власти. Претензии могли быть самого различного порядка: начиная с получения определенного образования или работы и до претензии на оказание медицинской помощи или материального вспомоществования. Государство нового времени, даже сохраняя старую фразеологию, стало все больше расширять свою компетенцию за счет того, что прежде составляло исключительную монополию частных лиц и групп.

Ту же эволюцию, что начало свободы, проделал и принцип равенства.

И равенство перестало быть понятием только отрицательным, требующим запрета неравенства или отмены привилегий в силу происхождения, профессии, имущественного со-

стояния. И равенство в наши дни приобрело положительное содержание. Равенство в образовании выражается уже не только в отмене всех ограничений и привилегий в области школы, но и в предоставлении каждому возможности получить такое образование, к которому он подготовлен и которого он добивается. И в экономической области равенство не означает лишь право каждого заниматься тем промыслом или ремеслом, которое ему желательно, заключать невозбранно контракты, пользоваться кредитом и т. д. Оно предполагает вмешательство и прямую поддержку, со стороны власти, когда монопольное использование экономической позиции угрожает части населения обезличением и деградацией.

Сейчас уже никто, даже самые радикальные сторонники уравнения, не отрицают факта «жестокого естественного неравенства между индивидами, неравенства силы, здоровья, интеллигентности» и, обратно, — своеобразия личных и групповых особенностей. Таково мнение не одних только либералов, но и таких авторитетных социалистов, как бывший французский премьер Леон Блюм. Даже коммунисты склонны толковать принцип равенства уже не так, как раньше. Мы имеем в виду не демагогическое издевательство над собственной же «уравниловкой», а то, что самый социализм, якобы уже осуществленный в СССР, определяется самой же советской конституцией, как воплощение принципа «от каждого по его способности, каждому — по его труду» (ст. 12).

Поддержка более слабых в социальном отношении преследует, поэтому, отнюдь не утопическую цель — сделать всех равными и одинаковыми или упразднить совершенно социальную борьбу и соревнование. Ее задача, если хотите, как раз в обратном: стимулировать творческую энергию и соревнование, но в условиях fair play, при которых исход борьбы не предрешен заранее и не обрекает никого на неминуемое поражение. Помимо частных интересов борющихся — индивидов и групп, — имеются ведь и интересы целого, которое заинтересовано в здоровых условиях существования и развития, в гуманизации социальной борьбы. Этот более высокий интерес диктует и оправдывает вмешательство законодательной, судебной и административной власти в межгрупповые конфликты.

3.

Формальное равенство оказывается недостаточным во всех областях жизни: в политической в такой же мере, как в экономической, социальной, и в отношениях между группами, отличающихся друг от друга верой, языком, происхождением и т. д.

Надо было пройти 92 годам, чтобы тезис «все люди равны по рождению» приобрел даже в Соединенных Штатах юридическое выражение — в XVI-ой поправке к конституции, предоставившей каждому «равную защиту законов». Однако, и по сей день этот вопрос не разрешен еще и здесь полностью: достаточно сослаться на беспрерывные споры и волнения, которые возбуждает, так называемый, poll-tax в южных штатах.

Можно привести иллюстрацию и более общего порядка из той же политической области, но не связанную с условиями какой-либо страны. Все демократические государства осуществляют принцип всеобщего избирательного права. Нет никаких юридических оснований к тому, чтобы голосование или подача бюлетеней происходили при этом не открыто. Однако, психологического порядка соображения сделали уже издавна закрытое или тайное голосование таким же неотменимым морально-политическим реквизитом демократии, как и самую всеобщую подачу голосов. Закрытое голосование противодействует открытому давлению на совесть избирателя и вносит поправку на неопытность и малодушие среднего человека.

Равенство и свобода, доказывал уже более 40 лет тому назад будущий виконт Герберт Самюэль, предполагают определенный уровень материального благосостояния. При отсутствии минимума обеспеченности, равенство и свобода вырождаются в лишенную реального значения формальность. Детей рабочего и детей миллионера только с весьма отвлеченной точки зрения можно признать обладающими «равным исходным пунктом» или «равными шансами» и «возможностями» (opportunities). «Государство должно вмешаться в интересах самой свободы»[4]).

Не надо быть социалистом, чтобы признать, что даже в государстве, где равенство всех граждан перед законом яв-

---

4) "Liberalism. — An Attempt to state the principles and proposals of contemporary liberalism in England." — 1902. — Стр. 27 и сл.

ляется основным принципом, и там классовое или групповое законодательство является обычным. С экспансией промышленного развития, все более широкие народные массы, втягиваемые в промышленный оборот, нуждаются в поддержке и защите со стороны публичной власти, — отмечает проф. Роберт Кушман. Он подчеркивает, что даже в Соединенных Штатах трудящиеся не могут считаться в отстаивании своих прав достаточно сильными, — и они нуждаются в специальной защите их интересов со стороны государства, нуждаются в особом «статуте», а не только в свободном заключении контрактов.

Повсюду самые разнообразные разряды граждан нуждаются в «более полных», как выражался Клемансо, гарантиях. Старики, дети, женщины, девушки (до 16 лет) требуют особой, сверх общей всем гражданам, охраны своих интересов в силу физического своего состояния, пола, возраста. И демократические государства, построенные на началах равенства и свободы, не только этого не отвергают, но наоборот, именно они и нашли необходимым установить «более полные» гарантии. Такая же более полная — или дополнительная — охрана предусмотрена в более передовых государствах, с развитым рабочим законодательством, в отношении и к социально менее обеспеченным или более слабым классам и даже к отдельным слоям таких классов. Так, наряду с общим рабочим законодательством, для всех трудящихся, там существует специальное — для ограждения интересов и прав рабочих, занятых особо тяжелым или опасным трудом: в шахтах, по изготовлению газов, на стройке, в цирке и т. д.

«Эгалитарный миф», по выражению проф. Дэвида Ризмана, продолжает упорно держаться в отношении классовых различий, как и в отношении различий пола. Давно ли суфражисты, обоего пола, в борьбе за женское равноправие противились всяким законодательным мероприятиям, направленным к охране женщин: к ограничению или полному воспрещению женского труда в определенных индустриях, к ограничению тяжести, которую женщина может поднять на заводе и т. п. На наших глазах картина радикально переменилась. И в тех же Соединенных Штатах авторитетные представители женских организаций и передового рабочего движения сейчас энергично противятся поправке к конституции, которая дала бы женщинам формальное уравнение в правах с мужчинами.

«Подробная поправка к конституции, — говорит председатель Американской Федерации Труда Вильям Грин, — под-

вергла бы опасности все законы, охраняющие женщин в промышленности. Американская Федерация сочувствует и поддерживает все усилия женских организаций, направленных к устранению из законодательства различных видов ограничений женщин в отношении к имуществу, опеке, натурализации и другим правам, предоставленным мужчинам. Мы отстаиваем специальные меры к уничтожению такого рода дискриминации». Но Федерация против механического уравнения женщин с мужчинами. Такова же позиция весьма влиятельных женских организаций.

В наши дни требование равенства вовсе не означает того, что все люди равны в абстрактном или конкретном смысле этого слова. Оно означает лишь, что всем должна быть предоставлена равная возможность применить и развить свои специфические личные качества. Личное и групповое своеобразие подлежит признанию и развитию во всех сферах жизни, в которых оно социально проявляется, и оно, во имя равноправия, требует специальной охраны более слабых групп и индивидов. Это относится и к тому, как бороться против дискриминации меньшинств. И меньшинства исповедания, языка, этнического происхождения, цвета, нуждаются в «более полных гарантиях» или в специальной охране даже в демократических государствах, где их нередко подвергают дискриминации de facto, если не de jure.

Право меньшинств исторически и по существу — право субсидиарное. Его назначение — восполнить и обеспечить за принадлежащими к меньшинствам те самые права и интересы, которые государство признает и обеспечивает формально за всеми своими гражданами, а фактически и в полной мере — лишь за принадлежащими к большинству населения. Когда, в числе других, я писал об этом в 1920 году (по-французски), в 1922 и 1926 годах (по-русски), это можно было принять за доктринерскую конструкцию, подсказанную политической предвзятостью. Сейчас об этом уже не приходится говорить. Ибо наиболее авторитетное в юридическом мире учреждение — Постоянная Палата Международного Суда в Гааге — дало свое нелицеприятное заключение (6 апреля 1935 года). Оно настолько определенно, что читатель, надо думать, не посетует, если мы приведем из этого заключения сравнительно пространные выдержки.

«Идея, лежащая в основании договоров об охране меньшинств, — гласит заключение, — состоит в том, чтобы обеспечить некоторым элементам, включенным в государстве, насе-

ление коего различно по расе, языку или религии, возможность мирно сожительствовать рядом и сотрудничать дружелюбно, сохраняя в то же время особенности, которые отличают их от большинства, и удовлетворяя вытекающие отсюда специальные нужды. Вместе с этой целью договоры установили, в частности, два следующих принципа: полное равенство между гражданами, принадлежащими к меньшинству, и другими гражданами и — предоставление меньшинствам средств, соответствующих сохранению их расовых отличий, традиций и особенностей. Эти два принципа, к тому же, связаны один с другим (interlocked), ибо не было бы настоящего равенства между большинством и меньшинством, еслибы последнее было лишено своих собственных учреждений и было вынуждено вследствие этого отказаться от того, что составляет подлинную его сущность, как меньшинства». И далее, говоря о равенстве фактическом и правовом, высший из существующих судебный авторитет наставляет: «Равенство фактическое дополняет равенство по закону; оно исключает чисто формальное равенство. В то время, как равенство по закону устраняет всякого рода дискриминацию, равенство фактическое может вызвать (involve) необходимость различного отношения для достижения результата, который восстанавливает равновесие между различными положениями. Легко представить себе случаи, в которых равенство отношения имело бы результатом фактическое неравенство; предписанное же равенство должно быть действительным, подлинным равенством... Далекое от того, чтобы создать привилегию в пользу меньшинства, это обязательство (одно из предусмотренных в международном порядке. — **М. В.**) обеспечивает, что большинству не будет дано привилегий по сравнению с меньшинством... Выражение «равное право» подразумевает (implies), что право, таким образом предоставленное членам меньшинства, не может быть ни в каком случае ниже соответствующего права других граждан»[5]).

---

5) Publications of the Permanent Court of International Justice. Series E. № 11. — Стр. 140-141.

4.

За последние два десятилетия официальное и неофициальное общественное мнение проделало поразительную эволюцию в вопросах о меньшинствах. Схематически она могла бы быть изображена так. Первоначально даже те, кто пошли на признание необходимости нового порядка охраны меньшинств, пошли на него, за немногими исключениями, без всякого энтузиазма: не только без особой веры в успех, но нередко против своей воли. Многие откровенно заявляли, что не видят ничего хорошего в существовании и охранении меньшинств, как своеобразных единств, и предпочли бы ассимиляцию их большинством. Но отвергая ассимиляцию агрессивную или принудительную, они вынуждены были видеть в ассимиляции решение в историческом плане, но никак не для ближайшего дня. В ожидании более или менее отдаленного будущего, приходилось, в интересах общего умиротворения, обеспечить безотлагательно и лицам, принадлежащим к меньшинствам, ряд элементарных прав.

Такое более чем сдержанное и скептическое отношение сменилось к концу 20-х и началу 30-х годов более решительным признанием целесообразности международно-правовой охраны меньшинств. Это характерно и для доктрины, и для общественного правосознания, и для практики Лиги Наций и Международного суда. Но с упадком влияния и авторитета Лиги Наций, после безнаказанности японской, итальянской и германской агрессии, стало увядать и признание прав меньшинств. 1934 год был одновременно и кульминацией международной охраны меньшинств, — когда Гитлер потерпел первое свое поражение, нанесенное ему петицией еврея Бернгейма, и вынужден был отступить перед решением Лиги, — и началом заката всей системы после того, как недоброй памяти польский министр иностранных дел Бек не постеснялся с трибуны Лиги Наций открыто заявить, что Польша отказывается сотрудничать с Лигой Наций в деле охраны меньшинств.

Недоверчивое, а то и отрицательное отношение к международной охране меньшинств стало постепенно захватывать все более широкие круги. Успех и безнаказанность тоталитарных правительств заражали. Под влияние тоталитарной идеологии частично подпадали и люди, имевшие все основания считать себя демократами. Как однопартийная система соблаз-

нила многих искренних и убежденных демократов, так и отрицательное отношение к международной охране меньшинств стало модным — свидетельством критического подхода к событиям применительно ко времени и месту.

Никто не рискнет даже усомниться в преданности демократическим началам чехословацкого президента Бенеша. Он был одним из виднейших руководителей политики Лиги Наций и защитником меньшинств. Но сейчас он пересмотрел свои взгляды в этом отношении и стал одним из наиболее авторитетных пропагандистов не международной охраны меньшинств, а обмена (перемещения) населения, — того самого перемещения, о котором отец Лиги Наций, Вильсон, еще в начале 1918 года говорил: «Народы и области не подлежат обмену, как еслибы они были движимостью или пешками в игре, даже в крупной игре, ныне навсегда скомпрометированного равновесия сил». Уже после того, как была опубликована Атлантическая Хартия, президент Бенеш заявил: «Я принимаю принцип трансфера (перемещения) населения. Успешно и в широком масштабе было обменено население Греции и Турции после войны 1922 года. Мир мужественно воспринял этот в широком масштабе проведенный трансфер (обмен), потому что он знал, что альтернативой было бы систематическое и массовое умерщвление миллионов. Если тщательно рассмотреть проблему и заблаговременно принять меры, трансфер может быть произведен дружественным образом под международным контролем и с международной поддержкой»[6]).

В только что вышедшей октябрьской книжке "Foreign Affairs" Бенеш возвращается к тому же предложению в других

---

6) См. сентябрьскую книжку "Nineteenth Century and After" за 1941 год, стр. 154.

В статье, помещенной в январьской книжке "Foreign Affairs" за 1942 год, Бенеш признает невозможным, чтобы после нынешней войны создались государства однородные, без смешанного в национальном отношении населения. Вместе с тем он решительно возражает против международной охраны меньшинств, как групп, и рекомендует, «во избежание того, чтобы меньшинства не стали снова источником смуты», облегчить им эмиграцию, особенно в соседние страны, и опять защищает трансфер населения.

В 43-м году Бенеш предложил «Четыре пункта» по восстановлению мира в Европе. Пункт 3-й предусматривает, прежде всего, **общий** (wholesale) обмен меньшинственного населения для того, чтобы покончить с этой надоедливой (troublesome) проблемой. «По совершении

выражениях. «Опыт показал, пишет он, что система, установленная меньшинственными договорами, может подвергнуться злоупотреблению со стороны империалистического государстав, преследующего цели экспансии. Нацистская Германия как раз это и сделала». Какой отсюда вывод делает Бенеш? Не тот, что необходимо принять меры для предотвращения злоупотреблений, а тот, что «по крайней мере малые государства, как Чехословакия», должны отказаться от международной охраны меньшинств, удовольствоваться охраной индивидуальных прав человека и гражданина и выселить из пределов Чехословакии «возможно большее количество немцев»[7]). Между тем, казалось бы, совершенно очевидно, что, если аргументировать и отталкиваться от злоупотреблений наци, пришлось бы, вместе с охраной меньшинств, отвергнуть и все другие начала, которые наци извратили, но, на наш взгляд, не в силах были скомпрометировать: национальный принцип, социализм, демократию и т. д.

Разочарование в международной охране меньшинств, а потом и прямое отрицание ее целесообразности проникло даже в те круги, которым принадлежит едва ли не главная заслуга в том, что новый порядок защиты был санкционирован мирной конференцией 1919 года. Они к тому же и острее других заинтересованы в действенной защите меньшинств. Мы имеем в виду, конечно, еврейское меньшинство, не связанное ни с какими территориальными требованиями в Европе. В науке — истории и международного права — прочно установлена исключительная роль, сыгранная различными еврейскими организациями, американскими, русскими, английскими и др., в деле

подобных трансферов, оставшиеся небольшие меньшинства подлежали бы такому же режиму, что и большинство населения». — См. New York Times от 19 февраля 1943 г.

Мы не имеем возможности затронуть здесь полностью вопрос о перемещении (трансфере) населения. Заметим только, что, так называемый, добровольный обмен населения на деле всегда оборачивается в большей или меньшей мере принудительным. Бывший афинский проф. Сефериадес в специальной работе, посвященной «Обмену населения», пишет: «С точки зрения населения, непосредственно заинтересованного, его обмен, произведенный даже в лучших условиях, больше чем несчастье... это преступление». — См. курс лекций, прочитанных в Гаагской Академии международнаго права в 1928 году, т. IV, стр. 430.

7) См. стр. 35.

выработки нового статута для меньшинств и признания его державами. Жорж Сель, Шюкинг, Вебер, Фук-Дюпарк, Рэй Стандард Бэкер, Шарль Дюпюи, Мандельштам и др. исследователи единодушно отмечают почин и прямое влияние представленного, так называемым, Комитетом Еврейских Делегаций в Париже 1919 года меморандума на текст обязательств в отношении меньшинств, включенный в международные договоры, декларации и прочие акты.

Теперь из этих кругов исходит критика не только того, что фактически получилось, — что более, чем естественно и необходимо, — но и принципиальное отрицание того, что раньше настойчиво утверждалось. Одни довольствуются тем, что на место международной охраны меньшинств выдвигают, как более целесообразный, легко осуществимый и будто бы и принципиально более приемлемый, международный билль об индивидуальных правах; другие восполняют этот билль широким допущением трансфера населения; наконец, третьи сохраняют международную защиту меньшинств, но только в порядке исключения и с такими оговорками, которые выдают их невысокую оценку такой защиты.

Так Нахум Гольдман, возглавляющий ныне учреждение, сменившее былой Комитет Еврейских Делегаций, так называемый Еврейский конгресс, уже с 1941 года защищает билль об индивидуальных правах взамен международной охраны меньшинств. Сейчас на ту же точку зрения стал один из видных руководителей «Америкен Джуиш Комити», Моррис Д. Вальдман. В недавно появившейся статье он доказывал, что «международный билль о правах, хотя бы как заместитель договоров о меньшинствах, пошел бы дальше в защите принадлежащего к меньшинству населения. Он охватил бы права всех людских существ, как лиц, включая и тех, кто принадлежит к большинству населения». «Если права человека должны быть восстановлены и ограждены, и евреи тоже должны пользоваться статутом граждан в странах, в которых они пребывают, на основе полного политического равенства со всеми другими жителями, — как индивиды, а не как члены национального меньшинства»[8]).

Труднее более определенно выразить мысль, которая почти буквально возвращает нас к предложениям, которые делались полтораста с лишним лет тому назад, совсем в другой

---

8) "Contemporary Jewish Record." — New York. — June 1944. — Стр. 237 и 238.

исторической обстановке. Известна классическая формула графа де Клермон Тоннера во французской Конституанте, при обсуждении еврейского вопроса 17 декабря 1789 года, — «Евреям как национальности мы отказываем во всем; еврею-гражданину надлежит предоставить все». Тогда, в конце 18-го века, предполагали, что, получив политическое равноправие, евреи откажутся от своей религии. Только расчитывая на то, что, получив политическое равноправие, евреи перестанут быть и считаться евреями, можно сейчас повторить отжившее и неоправдавшее себя предложение. В Америке, Франции, Англии и других странах еврейское равноправие давно уже введено, но евреи и там не перестали быть евреями. Можно считать национализм добром или злом, стараться смягчать его или, наоборот, его культивировать, — необходимо признать, однако, как непреложный факт, что наша эпоха далеко еще не изжила и не исчерпала национальных форм культуры. Как справедливо заметил соперник Бенеша, покойный Ходжа, — «победоносные народы остаются националистичными, потому что они победили; побежденные же остаются националистическими, потому что они потерпели поражение».

В условиях современной культуры международная охрана меньшинств имеет значение и ценность, которые не могут быть принесены в жертву другим ценностям, подобно всякому праву, которое, если оно существует, требует своего признания и осуществления или — оно вовсе не существует. С этой точки зрения встречает серьезные возражения и условное признание международной охраны меньшинств, к которому, повидимому, склоняется Я. Д. Робинзон. В напечатанной им в "Free World" статье можно прочесть: «Не много вероятий, что международная охрана меньшинств после этой войны примет форму возвращения к договорам о меньшинствах... Теперь нам надлежит мыслить в других терминах». Главные свои надежды автор возлагает на внутри-государственное законодательство и «общий уровень цивилизации и права» в странах, в которых живут меньшинства, и — «реалистически» — на «обмен (трансфер) населения». В поисках «честного подхода к проблемам меньшинств», Я. Д. Робинзон полагает, что «в конце концов европейский и международный мир имеют большее значение, чем приверженность к некоторым процедурам охраны меньшинств»[9]).

Кто знаком с историей и литературой вопроса о меньшин-

---

9) May 1943, p. 453.

ствах, — а Я. Д. Робинсон, как автор отличной критической библиографии по этому вопросу, знаком с ними лучше многих других, — тот знает, что высказанные им соображения и аргументы обычно приводились, с 1919 года и до наших дней, не сторонниками, а противниками специальной охраны меньшинств. И, по существу, международная охрана меньшинств отнюдь не сводима к одной только «процедуре»; того меньше может быть она противопоставлен миру Европы и всего человечества. И исторически, как она была задумана в частности, Вильсоном, и как ее проводили в жизнь, была не конкурирующим с организацией международного правопорядка требованием, а одним из путей и средств к обеспечению всеобщего мира.

5.

Главное основание к замене международной охраны меньшинств биллем об индивидуальных правах видят обыкновенно в том, что охрана меньшинств как бы выделяет членов меньшинств из ряда других меньшинств, тогда как билль уравнивает их с другими и, потому, является более приемлемым для большинства, — его легче будет и провозгласить, и осуществить.

В связи с этим поучительно будет напомнить — или вспомнить — о попытке, которая сделана была знаменитым Институтом Международного права и которая шла как раз в обратном направлении: она имела целью не заменить защиту меньшинств провозглашением прав человека и гражданина, а чрез международную охрану индивидуальных прав притти к охране меньшинств.

Когда в 1925 году Институт оказался перед предложением кодифицировать сложившееся меньшинственное право, большинство его членов отнеслось к такому плану отрицательно в силу общего недоверчивого и даже враждебного отношения к международной защите меньшинств. Вопрос, поэтому, был поставлен иначе, и ответ на него стали искать, подходя с другого конца, — чрез провозглашение Институтом необходимости повсеместного признания нерушимости прав человека и гражданина. Такого рода конвенция давала бы удовлетворение государствам, которые отталкивались от навязанных им обязательств по отношению к меньшинствам, потому что они считали, что их «суверенитет» умален в то время, как у других он оставлен в неприкосновенности; с другой стороны всемирная конвенция обеспечивала бы некоторый минимум прав за

всеми людьми, как индивидами, независимо от подразделений и группировок религиозных, национальных, языковых и иных, к которым индивиды принадлежат от рождения или в которые сознательно вступают.

Такого рода «Декларация Международных Прав человека» и была выработана и принята Институтом Международного Права на с'езде в Нью-Иорке 12 декабря 1929 года подавляющим большинством (45 против 1 при 11 воздержавшихся). Не станем воспроизводить этой Декларации из шести статей. Подчеркнем только, что и Институт Международного Права, который стремится служить выражением «правовой совести цивилизованного мира», как значится в его уставе, и который является бесспорным авторитетом в науке и политике права, и он отнюдь не считал, что его Декларация устраняет или заменяет специальную охрану меньшинств для государств, таковые имеющих.

Декларация имеет несомненно большое морально-политическое значение. В какой-то мере оно, вероятно, определило и то, что проектируемый билль о правах человека встречает ныне всеобщее сочувствие. Но практического значения Декларация не имела и в условиях предвоенной Европы не могла иметь. Когда под сомнением оказался весь международный правопорядок, с Лигой Наций, договорами о меньшинствах и проч., не могли сохраниться или ожить права человека и гражданина. Одно было связано с другим и определялось им. Утопия предполагать, что права индивида могут расцвести там, где упразднена охрана меньшинств. Больше того, — чтобы расцвел международный билль о правах человека, требуется совершенно исключительно-благоприятная обстановка при росте международной солидарности и сходстве внутри-государственных режимов.

Чрезвычайно заблуждаются те, кто полагают, что билль о правах осуществить легче, чем международную охрану меньшинств. Как раз наоборот, — потому что первый предполагает гораздо более глубокое проникновение в политическую структуру всех государств, нежели вторая. Билль исключает возможность сосуществования демократий и не-демократических государств, исключает, в частности, все виды диктатуры. Можно ли всерьез расчитывать, что Билль о правах — о свободе печати, собраний, союзов, партийных группировок, неприкосновенности личности — не только подпишут, но и проведут в жизнь Китай или СССР?

В только что появившейся книге "U. S. War Aims" Уолтер Липпман повторяет сказанное многими о том, что «мировой порядок не может быть наполовину демократическим, наполовину тоталитарным», если хотят основать его не на modus vivendi только, с «компромиссами, переторжками, специальными соглашениями и дипломатией сдержек и противовесов, а на подлинном и полном сотрудничестве». Липпман предлагает, поэтому, свое «радикальное решение»: он обращается к советской власти с горячим призывом осуществить провозглашенный в Сталинской конституции «билль о гражданских правах». Ссылаясь на многократные заявления советской власти относительно будущих Чехо-Словакии, Австрии, Италии, Румынии, свидетельствующие о повороте внешней политики Советов в сторону демократических принципов, Липпман усовещевает: «Русские не могут просто ждать, чтобы остальной мир поверил в демократические принципы их новой политики, если они не осуществят этих принципов у себя дома».

Его конкретное предложение — включить в проект будущей международной организации билль о гражданских правах обязательный для всех сочленов этой организации. «Билль должен состоять из тех гражданских прав, которые общи советской конституции и конституциям всех западных государств», — «эти права могут быть признаны элементарными и универсальными правами человека». Советский Союз должен обязаться выполнить сказанное в его конституции, а западные демократии обяжутся «поддержать свои конституционные системы против всякого тоталитарного движения, фашистского или коммунистического. Все были бы обязаны поддерживать друг друга, не оказывать помощи и содействия субверсивным партиям» и т. д.

Не будем останавливаться на том, что Липпман более чем упрощенно и «сверх-оптимистично» толкует советскую конституцию, обходя полным молчанием ее стержневую, диктаториальную статью 126, включенную в главу об «Основных правах и обязанностях граждан». Имеет ли его «радикальное решение» шансы на успех?

Чтобы ответить на этот вопрос, нет даже надобности пробежать мысленно всю 27-летнюю историю Советов. Для этого достаточно пробежать те страницы книги Липпмана, где он напоминает о болезненной чувствительности советской власти ко всяким намекам на «интервенцию», мнимую или реальную, военную и моральную. Можно допустить, что советское

правительство даже согласится, в обмен на какую-либо уступку в его пользу, принять обязательство осуществить свою собственную конституцию, которая и без того считается осуществленной. Но что от этого изменится в реальности? Липпман приводит яркую иллюстрацию, как Советы и не-советские государства, одинаково отвергая фашизм, воспринимают мероприятия своих контр-партнеров: меры, которые принимают против фашизма Советы, представляются другим государствам поощрением коммунизму, а меры, которые принимают против фашизма не-советские государства, воспринимаются советским союзом, как скрытая поддержка фашизма... Провозглашенные в советской конституции свобода слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций гарантируются ст. 125-ой конституции гражданам СССР «в соответствии с интересами трудящихся». Достаточно на свой лад истолковать эти «интересы», и диктатура, в силу конституции, может действовать так, как она действовала 27 лет подряд.

Липпман, очевидно, и сам не слишком верит в свое «радикальное решение». Об этом можно судить по тому, что свое рассуждение он заканчивает благочестивым пожеланием, что после разгрома Германии и Японии отпадут окончательно все основания для сохранения советской диктатуры и военного положения. «Если тем не менее они сохранятся, как может быть это об'яснено?»...

В том же смысле высказался недавно б. товарищ государственного секретаря Сомнер Уэлс. Он предлагает считать условием включения в состав будущей международной организации обязательство показать (to demonstrate), что «свободы исповедания, осведомления и выражения» (мысли) практически гарантированы населению конституцией или законами. Уэлс подчеркивает, что «не недооценивает трудностей, на которые натолкнется осуществление этой задачи»[10]).

Многие международные проблемы получили бы удовлетворительное разрешение, если бы советская власть вступила последовательно и честно, не на словах, а на деле, на демократический путь. Но эта гипотетическая возможность не является, увы, реальностью, — сейчас может быть меньше, чем при других обстоятельствах или в другие периоды советской истории. И международный билль о правах человека не может стать в ближайшее время тем, на что, повидимому,

---

10) «Нью Иорк Таймз» от 5 X.44.

расчитывают благочестивые энтузиасты билля. Выдвигаемый вместо международной защиты меньшинств билль о правах человека свою отрицательную задачу может выполнить успешно — скомпрометировать защиту меньшинств ему по силам, — но на выполнение положительной задачи, создать предпосылки демократического порядка повсеместно ("everywhere in the world"), у него шансов сейчас нет.

Не приходится, поэтому, удивляться, что особой веры в успех билля не чувствуется даже у тех, кто его пропагандирует. Можно привести пример из другой области. В связи с конференцией в Дамбартон Окс, Международная Еврейская Конференция представила 14 августа с. г. Государственному Департаменту меморандум, в котором, в созвучии с господствующими ныне веяниями, доказывалось, что для защиты интересов и прав еврейских меньшинств нужен — и достаточен — общий билль о правах человека. В п. 3 этого меморандума утверждается «неотчуждаемое право всех религий, этнических и культурных групп сохранять и поощрять (foster) свои групповые своеобразные черты (identities) на основе равенства».

При сравнении с другими пунктами меморандума, п. 3-ий не может не быть воспринят иначе, как прикровенное требование тех же прав меньшинств, о которых сейчас говорить открыто, как в 1919 году, считается неуместным, но которые от того не утрачивают ни своего значения, ни потребности в международно-правовом признании и защите.

Будущая Европа будет, конечно, новой Европой, а не той, какую мы знали до войны. Но и при самом крайнем оптимизме было бы анти-историчным предполагать, что может создаться положение, при котором обеспечение прав меньшинств стало бы излишним и ненужным. Эта острая проблема должна быть урегулирована, а не элиминирована.

С первобытных времен и до наших дней ее пробовали решать — физическим истреблением и порабощением, духовным поглощением, или ассимиляцией, насильственной эвакуацией и якобы добровольным обменом населения. Все эти решения были решениями мнимыми: они не решали вопроса, а отсрочивали его, — вгоняли болезнь внутрь. И не раз случалось на протяжении истории, что меньшинства, обреченные на уничтожение, воскресали из анабиоза, а их истребители,

поработители и эвакуаторы, в итоге превратной судьбы, сами переходили на положение порабощаемых, угнетаемых и эвакуируемых. Если хотят установить мир прочный и длительный, от мнимых решений приходится отказаться.

Демократии надлежит многое пересмотреть и многое откинуть — в теории и на практике. Но отказ от международной гарантии прав этнических, исповедных и языковых меньшинств был бы не движением вперед, а слепым и не-критическим возвращением вспять, к отдаленному до-версальскому порядку вещей. Это было бы равносильно отказу от правильного принципа на том основании, что практическое его осуществление в течение всего каких-нибудь 20 лет не удалось — из-за недобросовестности одних и близорукости или малодушия других. На том же основании предстояло бы в таком случае отказаться и от коллективной безопасности, от международной организации труда под эгидой Лиги Наций, от Постоянного Международного Суда и т. д. и т. п. Они ведь тоже не удались. Да и что в мировой истории «удалось»?...

По настойчивости, с которой сейчас защищают билль об индивидуальных правах вместо охраны меньшинств, можно судить о том, насколько одно не покрывает другого.

Дефектов и пробелов в международной защите меньшинств было очень много; они подлежат, конечно, устранению и восполнению. Одной из дополнительных гарантий мог бы служить и проектируемый билль о правах человека: не международный билль ИЛИ защита меньшинств, а — международная защита меньшинств И международный билль о правах человека.

Марк Вишняк.

20. X. 1944.

P. S. — Напечатанная в прошлой книжке «Нового Журнала» статья моя вызвала замечания и возражения. М. Ц. признал, что «по отношению к политической эмиграции» мнение о том, что никто не уполномочен отпускать грехи — или «прощать» — за успехи русского оружия советскому правительству, — «правильно и логично». Иначе обстоит дело — «в жизни масс, в истории народов». М. Ц. убежден, что «массы «прощали» правительству крепостное право за победу над Наполеоном, прощали Петру построенный на костях Петербург, религиозные гонения, бесконечные тяготы за Полтаву. Терпели сотни лет московского и петербургского самодержавия за охрану и расширение российского государства».

Должен отметить, что статью свою я писал не из исторического далека, а как современник-наблюдатель текущей политической действительности. Я всегда считал обреченными на неудачу все попытки быть историком своего времени. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что между «прощать» и «терпеть» — разница огромная.

Но и говоря о прошлом, я не рискнул бы утверждать, что порабощенные властью массы столь великодушно прощали ей все преступления и насилия как бы в обмен за ее достижения и победы. Надо ли напоминать, что и после петровских побед и достижений массы спасались от власти бегством в леса, на окраины, в скиты, в огонь костров. С петровских времен Россия не переставала быть «бунташной», и истоки русского бунта русская историческая наука видела в «людодерстве» власти. Только казенная историография, на манер нынешней, славящей Малюту Скуратова, склонна была идиллически изображать взаимоотношения между народом и властью: массы молчат, значит, — благоденствуют. Во всех странах народы на протяжении долгих веков молчаливо сносили деспотизм, терпели угнетение и унижение. Но ни из чего не следует, что они и прощали деспотизму свои муки.

М. Ц. делает и другое возражение. «Если при неудаче мы возлагаем всю тяжесть ответственности на власть, то и при удаче какую-то долю успеха мы должны приписать той же власти». Это, конечно, верно. И я об этом писал, — правда, в другой статье в «Новом Журнале». Но нельзя же оговорить все в каждой статье.

Однако, и в последней статье упоминается о совместном участии в военных успехах вождей и командованья с одной стороны, и народа — с другой. Этому я противопоставил советскую дипломатию, к которой «народ руки не приложил» и о которой можно сказать, что не веди ее власть «так, как она ее фактически вела, вторая мировая война разыгралась бы для России в менее тягостных условиях» и т. д. На это возражений как будто не было.

ПО СОВЕТСКИМ ЖУРНАЛАМ

Общее впечатление от советских журналов конца 1943 и первой половины текущего 1944 года можно лучше всего передать образом:

Бывает — подымется далеко в океане высокая гряда волны и мчится, закипая пеной: вот-вот налетит, подомнет, сокрушит. И вдруг что-то — ветер-ли, встречное-ли течение — подсечет внутреннюю силу разбега и, домчавшись до берега, строптивая водяная гряда разольется по нему тихой, присмиревшей струей...

Это не значит, что среди литературных новинок нет интересных, запоминающихся произведений. Но первоначальный заряд цельного народного патриотизма, пробудившийся в стране в первые месяцы войны, доносят сегодня очень немногие писатели, большинство же пользуется патриотической настроенностью, как готовой формой, исподволь наполняя ее другим содержанием.

К значительным, но не связанным непосредственно с войной, явлениям литературы, надо отнести 3-ю книгу Ал. Толстого «Петр I» (Нов. Мир», № 3, 1944 г.). Появились пока только три главы. В них все интересно: и трактовка младшей, любимой сестры Петра Великого и его жены Екатерины, и фон эпохи, и особенно язык, дышащий ленивой силой. За этим языком чувствуешь зоркого художника, в совершенстве владеющего словом, всем неисчерпаемым богатством суффиксов языка. Живы у Толстого не только Наталья, ее старшие сестры-потаскушки, вышедшие в люди братья Бровкины, — жива и «голенастая» кура и «горбатый» поросенок на дворе недовольного Петровыми «затеями» старого боярина.

Первоначальному настроению, возникшему в стране в первые месяцы войны, верен Конст. Симонов. Его роман «Дни и ночи» («Знамя» №№ 9/10, 11/12 за 1943 и 1/2 за 1944 г.), посвященный борьбе за Сталинград — самое лучшее, что пока написано не только о Сталинграде, но вообще о войне.

«Обессилевшая женщина сидела, прислонившись к глиняной стенке сарая, и спокойным от усталости голосом рас-

сказывала о том, как сгорел Сталинград. Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда он говорила, то рукой подгребала теплую пыль, словно пробуя этим утишить боль». Рассказ женщины слушает капитан Сабуров, вместе с новой частью прибывший из Сибирского тыла на помощь Сталинграду. Сабурову всего 29 лет, на войне он с первого дня, был тяжело ранен под Воронежом. Много видел он оставленных городов, много слышал рассказов беженцев. Но оттого, что в голосе женщины не было упрека, а только отчаяние, и говорила она даже не о своих страданиях — у Сабурова защемило сердце. Он взглянул на простиравшуюся вокруг заволжскую степь и вдруг понял, что отступать, собственно, больше некуда. «Куда загнали, а? — невольно прошептал он, и вся безграничная тоска последних суток, когда он с тамбура смотрел на степь, стеснилась в эти два слова».

Тотчас-же по прибытии в Сталинград Сабуров получает приказ от командира дивизии ночью овладеть тремя домами, занятыми немцами. Задание удается выполнить. И в сущности весь роман развертывается на пространстве одной площади и нескольких разрушенных домов. Но читатель вместе с Сабуровым чувствует, что эти три дома, разбитые окна, разоренные квартиры, солдаты, убитые и живые, женщина с тремя детьми, которых нашли спрятавшимися в углу одного из подвалов — «все это вместе взятое была Р о с с и я, и он, Сабуров, защищал ее».

Простота и внутренняя собранность повествования оказываются самыми лучшими средствами для передачи небывалого и героического. Почти каждого участника обороны видишь живым: вот хитроватый «хозяин» дивизии Проценко, бывалый солдат старой армии Конюков, в минуту волнения вместо «служу Советскому Союзу» выпаливающий «рад стараться»; вот юная «медсестра» Аня Клименко, почему-то глубоко убежденная, что она не может умереть, ведь она же «еще не жила совсем, совсем жизни не видела». Прекрасны несколько страничек о любви Ани и Сабурова, «детский неумелый поцелуй» ее и антоновское яблоко, подаренное матерью Ани по случаю ее сердечного праздника. Человечески убедителен комиссар Ванин, никак не могущий дописать «политдонесение», шутки окружающих, что он оттого не может кончить свое политдонесение, что «скучно пишет». «Простота» Симонова очень емкая: в ней умещается трагическое и шутливое, героическое и тихо-человеческое, как, например, ма-

ленькая сцена в ночном блиндаже, когда Сабуров пишет семьям о гибели их близких. Правдоподобен оказался даже предатель-разведчик Васильев. Кстати о предателе: Симонов не воспользовался ходячим шаблоном и не вывел предательство Васильева из «социального происхождения», хотя и сделал его «сыном священника». Но именно о священнике-отце писатель отозвался тепло, заметив, что священник, конечно, не любил в своем родном селе одного демобилизованного красноармейца, который, возвратясь с гражданской войны, открыл ячейку «Безбожник», и не любил он председателя сельсовета, за то, что тот хотел закрыть церковь, но «все вместе взятое, что называлось Советской Россией» — священник называл «Россией» и никогда «не подымал руки на власть, потому что кругом была Россия», которую он любил. Сын был сложнее: с детства озлобленный тем, что ему, как «сыну кулака», надо было преодолевать больше препятствий, чем его сверстникам, он рано почувствовал себя «неудачником», озлился и стал в конце концов уголовным преступником.

Отличает роман Симонова еще одна особенность: сейчас большинство писателей опять вернулось к прославлению коммунистов и качеств не просто русского человека на войне, а именно «советского». Симонов, наоборот, непрочь подчеркнуть «русскость» героев. Может быть, поэтому читатель легче разберется в тех новых чертах, которые появились в людях в результате революции.

Гораздо меньше повезло в литературе другому городу-герою — Ленинграду. Написано о нем гораздо больше, чем о Москве и Сталинграде. В каждом посвященном ему рассказе или пьесе есть запоминающиеся детали из жизни ленинградцев во время страшных месяцев блокады, но до сих пор нет ни одной крупной вещи, достойной людей этого города.

Среди произведений, посвященных Ленинграду, надо отметить «Свидание с Ленинградом» Конст. Федина («Новый мир», № 4/5, 1944 г.):

«Город в целом стоит, как прежде, памятники архитектуры сохранились, его воспетые русской поэзией набережные, каналы дышат своим необ'яснимым обаянием. Но к прежнему достоинству зданий, мне кажется — пишет Федин — прибавилась возвышенность. Они преодолели осаду — самое великое испытание времени».

Приехав в Ленинград, Федин попытался разыскать одного своего друга. Позвонил у его дверей, но никто не открыл, со двора Федин видел, как в окне квартиры открылась «черная

пустота: ветер гулял в квартире, сквозняк лениво распахнул ставню». Федин отправился к соседям. «В тесной кухне женщина разводила в плите огонь, его вялый свет чуть озарял строгое лицо». На все вопросы женщина отвечала одной фразой: «это все было той первой зимой». Сейчас в Ленинграде открыта выставка «Героическая оборона Ленинграда». Потрясающие экспонаты: «голодная блокада». Вот состав хлеба, который выдавался жителям в зиму 1941-1942 года в количестве 125 грамов: «дефективная ржаная мука — 50%, солод и жмыхи — по 10%, соевая мука, обойная пыль, отруби — по 5%, целлюлоза — 15%». А вот меню общественных столовых: «суп дрожжевой, содержащий в одной порции на человека 50 грамм, картофеля — 7 грамм, соли — 5 грамм».

Сейчас, замечает Федин, ленинградцы наслаждаются возможностью быть на улицах, они словно чувствуют себя «заново рожденными к городской жизни». В большое празднество вылилась встреча с вернувшимися в Ленинград партизанами, из которых многие больше двух лет прожили по лесам. Федин говорил с двумя командирами-партизанами. Среди их рассказов особенно интересен один:

«Был в одном нашем отряде священник из деревни Видони, шестидесятивосьми лет. Помогал нам в разведке. Две дочери у него, и тоже с нами работали, одна — разведчицей (отец ее каждый раз благословлял, когда она шла на разведку), другая была метеорологом: погоду из немецкого тыла Красной Армии сообщала». Немцы стали подозревать священника и партизаны советовали старику скрыться, но священник наотрез отказался. Когда Красная Армия стала наступать, немцы издали приказ об уводе всего гражданского населения. У партизан не было текста приказа и священник вызвался сходить в город и раздобыть его. Священника поймали немцы, пытали и в конце концов убили. «Из людей, подобных этому старику-отцу и его дочерям — рассказывает Федин со слов командиров — состояло большинство их бригады».

Кое какие ценные детали из жизни осажденного Ленинграда вкраплены и в роман В. К а в е р и н а «Два капитана» («Октябрь», № 1/2 и сл. за 1944 г.). Первая часть романа появилась еще в 1939 году. Среди советских писателей Каверин занимает особое место. Вместе с покойным писателем Л. Лунцом (бывшим душой литературного содружества «Серапионовы братья») Каверин много думал над проблемами оживления русской художественной прозы. Выхода из тупика он ищет «в сложной конкретности сюжета, построенного на

мощных обобщениях современности». Пишет Каверин увлекательно, но вот «мощность обобщений» ему не дается. Герой романа «Два капитана» — Саня Григорьев — советский летчик. Детство свое он прожил в дореволюционном провициальном городишке где-то на севере. Однажды во время наводнения на дворе родительского дома найдена была сумка погибшего почтальона с пачкой разбухших писем. Письма высушили, но адреса восстановить было невозможно. Зимними вечерами письма эти читались в семье вслух. Из них Саня постепенно понял, что это письма к жене какого-то капитана, погибшего во время экспедиции на северный полюс. В начале революции Саня попадает в детский дом в Москву, позже знакомится с дочерью погибшего капитана Татаринова. Экспедиция Ивана Татаринова погибла в 1912 году, она искала северно-морской путь. Виновником гибели оказался двоюродный брат Ивана — Николай Татаринов. Идея романа — преемственность «великих традиций русской культуры»: Саня, став летчиком, успешно продолжает работы Ивана Татаринова. Но в своем увлечении обобщениями Каверин нечаянно обнажает не только преемственность положительных явлений русской жизни, но и страшную живучесть самых отрицательных сторон старого режима. Николай Татаринов не только вышел сухим из истории с гибелью экспедиции при старом режиме, но и при советском. Читатель застает его сперва директором школы в Москве, блестяще овладевшим всей официальной советской фразеологией, потом ученым, писателем, у которого всюду есть верная рука. Как ни пытается Саня Григорьев разоблачить Татаринова, он каждый раз выходит сам побежденным. Окончательное разоблачение произойдет, повидимому, только во время войны. Сюжетность романа не искупает его излишней, монотонной сентиментальности: герои Каверина не умирают и даже не старятся.

На той же идее преемственности русской и советской культуры, но еще больше обесцвеченной сентиментальностью, построена и повесть Ю. Германа «Студеное море» («Новый мир», № 1/2, 1944 г.).

При всем том некоторые детали Ленинградской зимы переданы Кавериным ярко, особенно день, когда балтийцы оставили суда и вышли на сушу, чтобы защищать город:

«Нехорошо, невесело было в ту ночь в Ленинграде. Но вот рассвело. Я встала— рассказывает жена Григорьева, Катя поехала на Невский. Тихо было в трамвае, ехали молча, — до самой Публичной библиотеки... Воззвание «Враг у ворот»

было вывешено в окне «Гастронома», вместо очередной сводки, — и в том, как мрачно и тоже молчаливо читали ленинградцы, чувствовались неуверенность, шаткость, волнение минувшей ночи. И вдруг что-то засияло, загремело вдалеке у Казанского — весь Невский обернулся и замер: шли моряки. Они шли молодые, крепкие, великолепным строем, ленточки вились на ветру, солнце сияло на трубах оркестра, — и все это было твердое, новое, чистое, шагающее вперед под марш, — такой же решительный, новый, чистый». «Вот на кого надежда» — сказал кто-то рядом с Катей, и она вспомнила «моряка, который рвал на себе тельняшку и плакал, когда смотрел на отступающие наши части»...

Повидимому, выступление моряков Балтфлота многие ленинградцы восприняли как какой-то переломный момент. Это выступление упоминается и в киноповести О. Берггольц и Г. Макогоненко «Они жили в Ленинграде» («Знамя», № 1/2, 1944 г.). В постановке эта киноповесть, вероятно, очень выиграет, потому что будет показана на фоне живого Ленинграда. В чтении повесть много теряет от излишней растроганности авторов, мешающей читателю видеть героев пьесы. В центре киноповести группа совсем молоденьких комсомолок и вернувшийся с Ленинградского фронта полуинвалидом бывший секретарь районного комсомола Никита. Девушки решают устроиться при заводе, чтобы не терять лишних сил на хождение домой. Когда положение Ленинграда становится еще тяжелее, они организуют «бытовую бригаду», обслуживающую тех ленинградцев, которые совсем ослабели и умирают по квартирам. Показана одна такая квартира:

«Это довольно большая комната, прямо — квадратное широкое окно, где все стекла целы, но пересечены большими крестами из бумажных полос. А там за крестами, за стеклом, на котором снизу нарос лед, а сверху, как свернутый свиток, — затемнение, — снежный, суровый Ленинград. Жесткий, зимний сумеречный свет беспощадно подчеркивает предельную заброшенность жилища: черная, зловещая, распахнутая печурка с длинной кривой трубой, идущей прямо в фортку, сдвинут пустой стол с опрокинутой лампой, рядом валяется стул; на полу, посредине комнаты таз, около него ведро, из них через край текут по полу нечистоты — черная замерзшая лужа. В первую минуту жилище кажется покинутым, но нет — здесь люди, их даже несколько. Они лежат у стен, на кроватях и кушетках, все лежат... Поближе к двери, под какими-

то половиками, девочка с очень раздутым лицом вяло жует и посасывает щепочку...».

В некоторых квартирах разыгрываются тяжелые сцены. Так, к известному профессору истории приходит комсомолка Маша и приносит его хлебный паек. Когда Маша пошла вынести ведро с нечистотами, профессор украдкой взвешивает принесенный паек и убеждается в том, что в нем недостает нескольких граммов. Разыгрывается мучительная сцена, в конце оба плачут... Таких сцен в повести несколько. Они вероятно, и даже наверное, имели место в жизни. Но невероятно, что такие люди, дошедшие до крайней степени истощения, как показанный профессор, могли бы по мановению писательской указки подняться и произносить патетические речи к защитникам Ленинграда... В стихах, писанных во время блокады Ленинграда, О. Берггольц была большей «Ленинградкой», чем теперь: тогда она от имени этой безымянной Ленинградки упрекала будущих художников, которые изобразят ее «отважной и такой прекрасной», тогда она жила «преодолев усталость», плакала, когда могла, бранилась с соседкой, «бредила едой», мечтала о том, «чтобы отдохнуть ото всего на свете»...

Из произведений, посвященных Ленинграду, нужно выделить пьесу Александра Крона «Офицер флота» («Знамя», № 4, 1944 г.). В отличие от большинства произведений, ограничивающихся отображением душевного состояния людей во время войны, «Офицер флота» — проблемная пьеса, пытающаяся дать новый тип офицера, которого хотело бы иметь советское общество в результате выдержанного исторического экзамена на войне. Так эта пьеса и ее герой и восприняты в первых откликах советских критиков.

Герой пьесы — капитан подводной лодки Горбунов, офицер-коммунист. Он гордится своим офицерским званием, сдержан, любит дисциплину, очень требователен к подчиненным. Горбунов сам говорит: «Со мной служить трудно». Когда старший краснофлотец Соколов хотел прошмыгнуть мимо Горбунова незамеченным, тот останавливает его вопросом: «разве во флоте отменены приветствия?» Соколов пытается сослаться на то, что не заметил офицера и что вообще «не такое нынче время». Но Горбунов перебивает его со злой иронией: «А что такое? Светопреставление? Встаньте, как следует! Фамилия? Какой части?». Остальные персонажи, хотя почти все офицеры, но это еще герои вчерашнего дня в стиле старой пьесы Вишневского: «Мы из Кронштадта», — люди, вышедшие из революции, помнящие свое происхождение

и даже бравирующие этим. Горбунов совсем другой. У него, конечно, немало недругов и одного из них, военного инженера Селянина, Горбунов оскорбил, назвав его «изменником и предателем» (Селянин позже действительно оказывается изменником). Недругам удается оклеветать Горбунова, будто он «распространяет среди командного состава клеветнические факты о трудностях обстановки на Балтике». Бывший друг Горбунова, а теперь его непосредственное начальство, советует Горбунову во избежание всяких осложнений подать рапорт, покаяться. Но Горбунов категорически отказывается. Мотивы этого отказа так новы, что их стоит привести целиком. Горбунов в лицах изображает сценку, которая имела бы место на заседании парткома, если бы он подал такое заявление:

«Ну, уж извините. Я уважаю партийное собрание и не желаю ломать перед ним комедию. Хорошенькая будет картинка: «Товарищи, предоставим слово Горбунову. Покороче, товарищ Горбунов! Вылезает Витька Горбунов с постной рожей: 'Товарищи, я допустил ошибку'. Голос с места: 'Грубую ошибку'. — Правильно, товарищи, мне сейчас вот здесь подсказывают: 'грубую ошибку'. Я не хочу себя оправдывать'... Засим следуют оправдания. И честные люди, мои же товарищи-коммунисты, сидящие на собрании, сразу увидят, что я вру, и будут меня презирать. И я первый не буду себя уважать. А не уважая себя, нельзя командовать кораблем. Нельзя».

Дело о Горбунове все растет и в конце концов поступает к контр-адмиралу Белоброву. Это тип умного командующего, но в нем еще много черточек от военного руководителя вчерашнего дня. Белобров упрекает Горбунова за то, что, будучи сам щепетильным, он назвал другого офицера «предателем». Горбунов парирует упрек: «В прошлые времена офицер, будучи оскорблен, должен был восстановить свое честное имя или покинуть полк. Селянин — человек без чести. Пусть уходит. Флот немного потеряет».

Реплика Горбунова озадачивает контр-адмирала и он замечает, что Горбунов что-то слишком уж «увлекается прошлым». Но и здесь Горбунов не остается в долгу, возражая Белоброву, что он увлекается не прошлым, а «будущим, будущим нашего флота», именно поэтому его так интересует прошлое. И Горбунов излагает свой офицерский символ веры: «Меня занимает — говорит он контр-адмиралу — балтийский театр, проблема современной подводной войны, мне хочется отчетливо представить себе противника, с которым я воюю,

особенности его психологии, тактики. Возможно, я иногда ошибаюсь. Но у меня всегда есть свое мнение. Так я воспитываю и своих подчиненных. Я предпочитаю командовать сильными людьми, которые подчиняются мне потому, что на моей стороне власть, знания и авторитет, а не потому, что они сами не способны думать. Я им верю. И хочу, чтоб верили мне». Белоброву импонирует задор Горбунова и он говорит ему: «Много на себя берете... Это не плохо. Раз вы много на себя берете, следовательно с вас и спрашивать можно много» и, устав, повидимому, разбираться во всех «про» и «контра» Горбунова, он просто, по-матроски, переходя на «ты», спрашивает Горбунова: «Родину любишь? Партии нашей, Сталину предан? Фашистов топить будешь? Первым пошлем в Балтику, пролагать путь на Запад. Пойдешь?» И когда Горбунов радостно соглашается, Белобров отпускает Горбунова, тем самым ликвидировав все разбухшее «дело Горбунова».

На пьесе А. Крона пришлось задержаться потому, что писателю действительно удалось запечатлеть очень существенные черты нового «героя нашего времени», который стал складываться в Советской России во время войны. Крон открыто симпатизирует своему герою и помогает ему бороться за свою «правду». Крон, впрочем, при этом ничем не рискует. Это станет ясным, если мы обратимся к публицистике толстых журналов. По мере развития успехов Красной Армии в публицистике стали все чаще слышаться голоса, недовольные большинством современных произведений, посвященных войне. Речь идет не столько о художественных недостатках, сколько об общей настроенности и тех чувствах, которые эти произведения будят в читателях. Тот народный патриотизм, который спонтанейно возник в стране в первые месяцы войны, на новом этапе наступления перестал удовлетворять руководящие круги советского общества. Первым, почувствовавшим потребность стряхнуть с себя душевное смирение, навеянное взрывом народного патриотизма и месяцами смертельной опасности (нашедшее свое художественное воплощение в повести «Рассказы Ивана Сударева»), был Алексей Толстой. В статье «На историческом рубеже» Толстой подчеркивает, что «мы преодолели эту невиданную беду силой напряженного национального сознания и нравственного долга... Наш народ и весь мир смотрит на нас, советских писателей, с нетерпеливым ожиданием... Не отображения, не показа ждут от нас, а осмысления происшедшего и происходящего и творческого взгляда в будущее». Советские писатели стоят сейчас «на переломе совер-

шенно так же, как русская литература 1917-1920 годов, в канун бурного развития литературы революционного двадцатипятилетия». Но старые приемы советской литературы, «методы, которыми мы работали до дней Отечественной войны, видимо плохо применимы к новой эпохе. Надо искать новых путей. То, чем мы могли вспахивать советскую землю в мирное время, это не совсем подходит для переживаемой нами страшной, героической и обнаженной эпохи».

С этими мыслями перекликается и доклад Н. Тихонова на февральском пленуме союза советских писателей: «Отечественная война и советская литература» («Новый мир», № 1/2, 1944 г.). Советский писатель был и остался «инженером душ», но эту формулу не надо понимать «узко»: «Сегодня действует сила тех фактов жизни, которые нас окружают, но в нас говорит и предвидение будущего, провозвестником которого являются эти факты». Сегодня писатель, по Тихонову, — «государственный деятель, муж совета. Ему многое дано, с него многое и спрашивается. С ним советуется народ, с ним говорят партия и правительство». Еще раньше на эту-же тему высказался И. Эренбург в статье «Слово — оружие» («Знамя», № 9/10, 1943 г.): «На нас — писал Эренбург — обращены глаза нашего народа и народов мира. У великого государства должна быть великая литература. Писатель — это слово должно звучать гордо». Для того, чтобы слово писателя стало звучать гордо, нужны два условия: писатель должен понять, что «ворота в литературу — узкие ворота, и дело писателя — трудное дело», «писатель должен пережить за одну жизнь множество жизней, болеть горем других, радоваться их счастью». Но это возможно только в том случае, если писатель будет свободен в выборе своих тем, ибо «напрасно ждать от писателя тем или слов, чуждых его душевной структуре».

«Новых путей» для современной литературы ищет и А. Лаврецкий в статье «Социалистический человек в Отечественной войне («Знамя», № 11/12, 1943 г.): «Наш народ изумил спасаемый им мир превзошедшей все исторические примеры любовью к родине. Чем же об'ясняется ее исключительная сила?» Автор думает, что эта сила лежит «в особенностях и преимуществах нашего социалистического общества», воспитавшего особый тип воина. Этот «новый тип воина, социалистического человека на войне, не нашел еще полного своего воплощения. Еще не создан эпос нашей войны с отчетливыми человеческими характерами, типизирующими действитель-

ность». Все, что до сих пор создано современной литературой о нынешней войне, варьирует «традиционный, но живой тип скромного русского героя, солдата и офицера, в котором мы узнаем наших старых знакомых по классическим образцам литературы». Но этого недостаточно.

И Толстой, и Эренбург, и Лаврецкий подходят здесь к основному вопросу, ответа на который они, однако, не дают. Война, действительно, показала не только прочность замечательных традиционных черт русского народа, сказывающихся во время каждого большого национального испытания, но и что-то новое: это тот же патриотизм, что и в войну 1812 года, и в страдные дни Крымской кампании, но он глубже, человечнее, с большей широтой кругозора. Это патриотизм народа, после четверти века революции начинающего сознавать свою гражданскую зрелость. Советские публицисты не могут не видеть этого нового и уходят от проблемы, прикрывая иногда искусной формулой свое отступление. Такой бессодержательной формулой звучит и фраза Лаврецкого: «Для изображения этого нового писателю необходима способность схватывать историю на лету, в процессе образования».

Именно в этом умении схватить «историю на лету», передать черты нового человека и видит Н. Оттен (в «Литературе и Искусстве», август 1944 г.) главную заслугу Александра Крона и его пьесы «Офицер флота»: «Автор страстно полемизирует не только с действующими лицами, но и с читателями. Он утверждает новый характер, увиденный им на войне, как явление глубоко прогрессивное. Горбунов логичен и принципиален, иногда явно чрезмерно. Это было бы дурным рационализмом автора, если бы не оправдывалось страстью художника-полемиста, утверждающего новый характер в крайнем его проявлении. Здесь страстность автора-полемиста заряжает страстью героя»...

Спору нет, Горбунов — это, конечно, тоже «история на лету», но это совсем не то новое, отражения которого ждет народ от своей литературы.

В. Александрова.

ЛИНИИ ЭВОЛЮЦИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Тот, кто ищет первые следы музыки в России, находит их у скифов.

Историк, живший при императоре Коммоде (во 2-м веке нашей эры), говорит, что скифы «дуют в кости орлов и коршунов на подобие флейт».

Великолепный образ, хотя эти кости были только переходом от тростниковых дудок к флейтообразным инструментам. И мы начнем наш обзор русской музыки не так далеко. К тому же нельзя вместить в рамки одной статьи всю русскую музыку и мне остается остановить внимание только на самых значительных фактах, и на тех музыкантах, которые создавали историю.

Кто не помнит загадочных стихов, которыми кончается «Евгений Онегин»:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристал
Еще не ясно различал.

Теперь, на расстоянии более, чем ста лет, сам Пушкин стал «магическим кристалом», сквозь который мы привыкли разглядывать прошлое русского искусства; стал как бы фокусом и перспективой русского духа, русского творчества.

Пушкин был «точкой отправления» и для русской музыки. Поэзия и музыка были всегда и повсюду в тесной связи, но нигде эта близость не была столь интимной и живой, как в России. В России рост национального духа в поэзии и в музыке шел из одного корня, но музыка проростала, опираясь на поэзию.

Любопытного, что живой источник русского искусства Пушкин и Глинка — не проникли в Европу. Несмотря на то, что Пушкина много переводили, кажется, что мы его просто старались навязать европейской культуре. Все переволы дают

настолько банальное представление о нем, что приходится верить русским «на слово», что он наш величайший поэт; что он был первый и единственный, кто осуществил в нашей поэзии — основной принцип искусства — идеальное равновесие. Пользуясь (за неимением другой) немного обветшавшей и напыщенной терминологией 19-го века, противопоставлявшей Аполлона Дионису, можно сказать, что Пушкин — синтез того и другого начала. Ничше сказал бы, что Пушкин был воплощением орфического начала. Когда в 1922 году дирижер Эмиль Купер, Борис Асафьев (Игорь Глебов) и я создали в Петрограде музыкальный журнал «Орфей» — первая книга его была посвящена Пушкину. В ней был романс, сочиненный Ничше на стихи Пушкина, не очень оригинальный. Но перевод пушкинских стихов — великолепен, полностью перевоплощая хрупкую поэтическую субстанцию оригинала.

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые ..

O, wenn es wahr dass in der Nacht
Wenn alle ruhen, die da leben . . .

Это чудесно удавшееся равновесие Пушкина противоречит европейскому мнению о безудержном, диком и исступленном русском темпераменте. Пушкин был наиболее совершенным выражением русской мысли и духа. Это не было его личным качеством, но подлинной реальностью русской души. Его находишь в пластике тела, сдерживающего огромную силу, в пляске, в борьбе, в линиях народной песни, в иконописи. Оно сковывает хаос.

Глинка находится в плеяде спутников Пушкина. С него и начинается настоящий путь русской музыки, ее национальный путь. Пушкин создал и утвердил в русском искусстве новый канон, который пришел на смену 18-му столетию. Глинка связан этим каноном с Пушкиным. Но иным историкам музыки он кажется чуть ли не только подражателем Моцарта и Глюка; и, как Пушкин, он не проник в Европу.

Связь между Пушкиным и Глинкой не в том только, что и Глинка создал национальный источник искусства, но в том, что оба были совершенным выражением художественного равновесия в русском искусстве; равновесия, редкого в Европе, где художник постоянно колеблется между двумя полюсами: реторикой и экстазом. Такой совершенной гармонии не повторилось никогда и в России.

Я не устанавливаю художественной иерархии, но говорю лишь о равновесии и пропорции. Глинка не Пушкин, так же, как Мусоргский не Достоевский и не Гоголь. Глинка не мог дышать горным разреженным воздухом Пушкина. В жизни он был ближе с Кукольником и его «братией», чем с Пушкиным. Но шедевр русского лирического театра — «Руслан и Людмила» был вдохновлен Пушкиным. Конечно, «Руслан» Глинки это не пушкинский «Руслан», но мелодии в глинкинском «Руслане», волнующие нас до сих пор, все же те, которые связаны с несколькими подлинными стихами Пушкина.

После народной песни Пушкин был главным источником вдохновения русских музыкантов. «Борис Годунов», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Каменный гость», «Цыгане», «Скупой рыцарь», «Царь Салтан», «Золотой петушок», «Дубровский», «Бахчисарайский фонтан», «Мавра» (то есть «Домик в Коломне») — если ограничиться только операми.

Пушкин до сих пор сопровождает нас на нашем историческом пути. Речь Блока о Пушкине — последняя речь поэта — была как бы знаком того, что и революция приняла Пушкина. Сейчас в русском искусстве линия выпрямляется. Правда, меняется, главным образом, общая идеология, эстетический-же процесс был до сих пор очень беден. Он был внутренне нарушен в угоду идеологии. Но можно надеяться на новое развитие долго сдерживаемых творческих сил.

Истории русской музыки не существует как науки, хотя рассказов о чередовании событий и фактов в хронологическом порядке — сколько угодно. Не существует исследования внутренней закономерности событий и связи между ними. Русская музыка очень молодое искусство, и история его коротка. Оно развернулось с необычайной стремительностью на малом промежутке времени. Самая природа этого искусства с момента развернулось с необычайной стремительностью на малом процессе его развития, создали сейчас же столкновение противоположных идей. Причиной тому яркая выраженность и самобытность главных фигур в этом искусстве. Никому из них не приходила мысль заниматься систематизацией движения, когда оно было еще только в процессе роста. Позже, когда зародилась критическая мысль, эта эпоха уже закончилась. Моментом замыкания круга оказалась революция. До того русские исследователи ограничивались почти исключительно характеристи-

кой двух соприкасавшихся эпох: сантиментального романса и первых опытов национального движения. Сантиментальный романс был как бы зародышем национальной музыки. В элементы русского фольклора, народной песни включились сплавы французского, немецкого, итальянского влияния. Ладовая основа народной песни обусловила специфическую сущность и русского романса в первом периоде его развития. Эта ладовая основа часто борется с европейским тональным принципом и его мажорно-минорным дуализмом и тем самым отличает русский примитивный романс этой эпохи от романса европейского.

Не парадоксально-ли, что только революция начала ставить проблемы истории русской музыки, намечать внутреннюю связь явлений, приводить их к единству. В опыте отыскания и созидания новой идеологии в искусстве с большей отчетливостью, чем прежде, осознавались и откристализовались ценности прошлого.

Всего 82 года отделяют первую постановку «Жизни за Царя» (1836 г.) и 1918 год, год революции, когда эта опера была снята с репертуара из-за ее названия. Эти две даты являются вехами русской музыкальной истории, охватывающими все национальное движение; его зарождение, его расцвет, его уклон в академизм, его конец, и весь период развития русского модернизма. Поражает в эту эпоху кажущееся отсутствие связи между фактами, их противоречие и почти непрерывное столкновение. Два рядом стоящих произведения часто кажутся несовместимыми ни во времени, ни в строе идей. Но в этом столкновении вся динамика русской музыки, кипение ее творческих сил, ее молодость. В диалектике противоречий выкристализовалась ее логика. На первый взгляд весь этот период кажется единым волевым движением. Все музыканты делали как будто одно общее для всех дело. Всех об'единяло национальное самосознание, их отношение к искусству было не личным, не индивидуальным. То, что не успевал закончить один, продолжал другой. «Князь Игорь» Бородина был приведен в порядок, дополнен и оркестрован Глазуновым и Римским-Корсаковым. Сочинения Мусоргского почти целиком были переработаны Римским-Корсаковым и многими другими музыкантами.

В этом было и хорошее и плохое. Такой род коллективной работы как бы восстанавливал средне-вековые цехи. Но деспотизм и нетерпимость нередко нарушали обстановку братского содружества. В частности Мусоргский был изуродован

Римским-Корсаковым, который, считая Мусоргского безграмотным музыкантом, навязал его произведениям свою техническую формулировку.

***

В русской музыке есть только одно бесспорное — Глинка. Он один во главе угла. Роль и значение всех остальных условны. Что же было между ними общего, в чем они между собой согласны? Ответ на этот вопрос наметил бы об'ективную линию развития всей национальной школы.

При этом возникает ряд исторических перспектив, из них мы наметим лишь некоторые, наиболее существенные, в первую очередь линию Глинка-Мусоргский, наиболее ясную и краткую — прямолинейный и острый синтез развития национальной идеи.

Значение Глинки не в том только, что он был первым композитором, включившим русскую музыку в европейскую музыкальную культуру. И не в том, что его музыка все еще полноценна в силу ее чарующих качеств, а в том, что, будучи зачинателем русского национального движения, он дал одновременно и его синтез. Это был, правда, лишь примитивный и интуитивный синтез не только прошлого, но и будущего музыкального творчества в России. Синтез этот охватывает взаимодействие всех элементов музыкальной формы, отражает целый ряд проблем. Глинка был в русской музыке счастливой удачей, благодаря своей целостности и классической ясности. Он был принят всеми и в равной мере в двух противоположных станах: западников и славянофилов.

Будучи преимущественно оперным композитором, Глинка своими двумя операми сразу-же отчетливо установил два главных направления, по которым пошло развитие всего русского музыкального театра. Эти два направления: историко-героическо-эпическое («Жизнь за царя») и сказочно-романтически-волшебное («Руслан и Людмила») — остались в русской музыке навсегда. Какую бы мы ни слушали из русских опер, возникших после него, она окажется включенной в тот или иной из этих двух рядов. Даже последняя, только что созданная опера Прокофьева: «Война и мир» — опера историко-эпическая и героическая. Исключений почти не было. Даже Чайковский только один раз уклонился в сторону, создавая мелодраму «Пиковая дама».

Природа глинкинской музыки — романтическая, но этот

романтизм не суб'ективен, как у романтиков его эпохи в музыке европейской. Он имеет классическую основу, в нем есть идеальное равновесие всех элементов музыкальной формы: то есть, мелодии, гармонии и ритма, и каждый из этих элементов им широко разработан.

Среди достижений Глинки преимущественное значение получил в истории сказочно-фантастический элемент, найденный им в природе русской песенности и в русских сказках. Его «избушку на курьих ножках» позднее мы слышим в «Картинках» Мусоргского, в «Бабе-Яге» и «Кикиморе» Лядова, в «Сказке» Римского-Корсакова вплоть до «Жар-птицы» Стравинского и после нее у других...

На ряду с этим он создал в русской музыке восточный колорит. Он ввел его не только в русскую, но в большой мере и в европейскую музыку. Мы знаем, что Бетховен и Вебер пользовались ориентализмом до него, но очень редко и почти исключительно как декоративным элементом.

Глинка сделал восточные лады неот'емлемой органической частью русской музыкальной материи. Вряд ли найдется в России композитор, у которого восточный элемент, как ладовое начало или же хотя бы как декоративно-тональное, не был бы составной частью звуковой материи. И так от Глинки и до наших дней. В этом есть аналогия и почти семейное сродство между русской и испанской музыкой, в связи с часто аналогичной у них структурой метрического и ритмического каданса (в метрико-ритмическом сложении). Опять таки отсюда симпатии у Глинки к испанскому фольклору, а после него и у других русских музыкантов. На этой почве создалось в Европе неправильное отношение к русской музыке, как к экзотике. Подлинно русской привыкли считать только музыку, которая ярко окрашивалась в восточный колорит и неслась на волнах упругих ритмов. Недоразумение это медленно рассеивается. Русский восток, конечно, не pittoresque, а один из основных и органически неот'емлемых элементов русского музыкального языка. В строении звукового лада, в его мажорно-минорной светотени(в связи с ритмической природой этого лада) находит выражение своего единства все тот-же русский западно-восточный дуализм.

Заблуждение в том, чтобы видеть восточный характер русской музыки только, как колористическую игру. От этого заблуждения не были свободны и многие из русских музыкантов.

Русская музыка отличается своим дыханием — иным, чем

в музыке европейской. У нее свое чувство звуковой пропорции, иное строение периода музыкальной речи, в связи с ее собственной природой. У нее свое расширение и сокращение мелодической линии, своя природа полифонической ткани, свое ощущение гармонии и тембра.

Иначе говоря, — у нее свое ощущение звуковой перспективы, в живой связи с тем измерением, которое создает ее физическая и психическая природа. Это самое существенное. Всяческая идеологическая надстройка, выбор сюжетов и пр. — явления вне-музыкального порядка, если нет врожденного чувства верности основному, то есть, самой природе музыкального языка. Верность этому языку есть первый признак верности народу, так как язык есть неот'емлемое достояние народа, им самим творимое. Разрыв с языком обусловит всегда, в конце концов, и разрыв с народом, не только в словесности, но и в музыке, где языковая связь проявляется таинственнее и сложнее, чем в словесности. Синтетический, международный музыкальный язык до сих пор все еще не существует, несмотря на все попытки создать его. А сверхнациональной становится только такая музыка, которая, вырастая из национальной почвы, по своему человеческому значению перерастает свою сущность и роль специфически национальную, становясь достоянием общим.

Русская музыка выросла не на профессиональной основе, а на основе народной. Она вышла целиком из практики музыкальной композиции, а не из теорий. Как никому из русских музыкантов, Мусоргскому дано было почувствовать и понять природу русской музыкальной речи, в которую он свято поверил, как в единственную творческую возможность. И если Глинка считал своим назначением сближение между западноевропейским каноном и русским музыкальным элементом, сочетая их «узами законного брака», как он говорил, то Мусоргский считал народную музыку единственно возможной основой для русской музыки. Он искал перевоплощения русской речи, во всем многообразии и богатстве ее интонаций, в речь музыкальную. Это стало его навязчивой идеей и на этой же почве вырос его пресловутый натурализм. Он считал вполне осуществимым переключение какой бы то ни было р ч вой интонации в интонацию музыкальную, во всей гамме человеч ских чувств и переживаний, со всеми возможными

оттенками. Мы знаем, что ему это удавалось и что его звуковые портреты, — причитания деревенской бабы, латинская зубрежка школяра-семинариста, монолог царя Бориса или плач юродивого — все это не стилизация, а подлинно реальные звуко-образы.

Помимо об'ективной ценности своих произведений, самим пафосом своей веры в народ, своим мученическим подвигом человека и артиста — Мусоргский навсегда останется символом связи между народом и музыкой. Мусоргский повел дело Глинки с фанатической страстностью и непреклонным упорством. Его фанатизм затмил для него западно-европейский мир, а позднее создал пропасть между ним и русскими музыкантами, когда внутри самой национальной группы обозначились тенденции в сторону профессионализма, параллельные тенденции европейским. Влюбленный в Глинку, беззаветно ему преданный — Мусоргский замыкает круг и обрывает все дело Глинки тем, что отрывается от запада. Глинка искал сближения с Европой, Мусоргский выключал все европейское из русской музыки.

Мы знаем теперь, что исступленная борьба Мусоргского с европейским каноном была в действительности только его возмущением против омертвевшего профессионализма. Он восставал против рутины и формул, но не против формы, то есть, иначе говоря, против инструментальной и вокальной реторики, в которую выродилась очень большая часть европейского музыкального искусства в его время. Между тем, теперь, на расстоянии времени, мы легко различаем в его музыке следы и не русские. Они заметны не в его технике, вполне самостоятельной и оригинальной, а в очертаниях его стиля, в котором мало отражается европейский 19-й век, но неожиданно обнаруживается близость с итальянским музыкальным возрождением великой эпохи, с создателями итальянской оперы большого стиля начала 17-го столетия, которых он совершенно не знал, как не знал этой музыки никто в то время, кроме нескольких специалистов истории музыки.

В аристократической, блестящей, но поверхностной обстановке Петербургской музыкальной жизни, где царил итальянский вкус — Глинка почувствовал себя русским. Пришедший после него Мусоргский фанатично поверил в идею русской музыкальной самобытности и развернул эту идею до предельной возможности. Радикализм Мусоргского разрушил внутреннее единство и спаянность национальной группы, которая, потеряв Мусоргского, утратила и свое значение. После смерти

Мусоргского роль ее была кончена. В ней обнаружились противоречия с основной идеей и тяготения в сторону приспособления к профессиональному движению обще-европейского толка. Связь с Глинкой в дальнейшем теряется. Его имя становится только почтенной традицией, ни к чему не обязывающей. Мусоргский кончил жизнь в полном одиночестве, и если его музыку и оценили несколько очень близких к нему людей, то идеи его и принципы остались совершенно непонятыми никем. После смерти долгие годы с ним ведется глухая, но упорная борьба в академических кругах. Это период очень выраженного музыкального профессионализма и рутины в консерваториях и вырождения национального движения в академизм. Подлинное творчество Мусоргского в эту эпоху уже из'ято из музыкальной жизни, образ искажен и музыка его становится известной только в том оформлении, которое ей придал Римский-Корсаков.

Между тем дух музыки Мусоргского проникает в Европу. Благодаря Дебюсси, Равелю и школе импрессионистов, он становится символом французского музыкального возрождения. Это подготовляет пути к раскрытию и изучению его подлинных музыкальных текстов в России во время революции.

***

Параллельно только что очерченной перспективе созрела и возникла другая: Глинка — Чайковский. Но был еще один композитор, который в хронологическом порядке находится между Глинкой и Мусоргским. Это — Даргомыжский. Он остался композитором чисто местного, провинциального значения, несмотря на свои большие достоинства. Но он оказал несомненное влияние на Мусоргского, положив начало тому музыкальному натурализму, который получили потом патетическое выражение в созданном Мусоргским романтическом реализме.

Возвышенный стиль Глинки начинает снижаться у Даргомыжского. У него впервые появляются черты русского гротеска и шуточные интонации полу-народные, полу-городские. Он создатель комического жанра и едкой каррикатиры в русской музыке. Он первый записал лирические интонации мещанского и средне-буржуазного типа и ввел в музыку образы родственные Акакию Акакиевичу. Глинка был всегда очень пластичен в выражении чувств. Даргомыжский нарушал все пропорции и стремился к напряженно-насыщенной экспрессии. Он был

как бы прообразом современного экспрессионизма, его русским предтечей. Интонации его мелоса получают свое питание в самой жизни. Он их извлекает из окружающей его обстановки в большей мере, чем находит в канонических музыкальных формах, как это было у Глинки. Скачек от Глинки к Даргомыжскому, от «Руслана» к «Каменному гостю» огромный. От Даргомыжского уже прямой путь к Мусоргскому. Романсы Даргомыжского — по существу как бы зерна целых музыкальных драм, а реализм Мусоргского — развитие стиля Даргомыжского. Даргомыжский же впервые начал связывать интонацию речевую с интонацией музыкальной.

По странному капризу истории этот почти забытый композитор нашел своего продолжателя в лице Прокофьева, композитора с много более широким диапазоном, силой выражения, во всеоружии современных средств. Такие балеты, как «Шут» и «Стальной скок», его фортепианные «Сарказмы», «Мимолетности» и даже оперная его техника вплоть до «Войны и мира» по остро очерченным интонациям, по четкости упрощенного и жесткого рисунка, близкого к гравюре или офорту — родственны Даргомыжскому.

Мусоргский и Чайковский — антиподы. Они были и лично в антагонизме и не любили друг друга. Оба жили в одно и то же время, но столь различно его пережили. Если сравнить страшный портрет Мусоргского, написанный Репиным за несколько дней до смерти композитора, с любым из портретов Чайковского —. какой контраст! Между тем мы знаем, что жизнь Чайковского была совсем не так уж благополучна, какой она кажется по внешнему, весьма благопристойному его облику, по образу его жизни и по методичному и упорядоченному строю его мыслей. Но Чайковский умел посвоему бороться с жизнью и со своей судьбой. Его безразличное отношение к внешнему миру, ко всему, что было вне его личного опыта, постоянная, упорная сосредоточенность исключительно на самом себе создали для него удушливое состояние одиночества. У Мусоргского было обратное, у него не было внутренней борьбы с самим собой. Его драма была не личной, а в столкновении с миром, с людьми, с обществом. Мусоргский был новатором по самому существу своей натуры. Ему нужно было изменить самый порядок идей и вещей в мире и установить новую связь между искусством и людьми. Чайковскому же

всякая идея «новаторства» была антипатична и чужда. Чайковскому ничего не нужно было менять в мире, ни в области социальной, ни в духовной или эстетической кроме линии своей личной судьбы. В сущности его идеал — полное обывательское благополучие. Его меланхолия — чисто личного порядка, плод его острого эмоционального суб'ективизма, одиночества и оторванности от мира. И если он поднимается в своем творчестве до трагического пессимизма, то только в силу своего огромного творческого темперамента, который возвышает его над самим собой и преображает личную психологию, поднимая ее на уровень возвышенных идей и общечеловеческих чувств. Техника Чайковского всегда академична и всецело подчинена существовавшим в его время общим формальным правилам. Прочно установленные принципы ремесла держали его неукротимый темперамент в постоянном подчинении и служили для него средством самозащиты от себя самого. Для него важна не реальность, а лишь его личные ощущения. «Онегин» Чайковского уже не пушкинский. Здесь не живая и органическая связь с Пушкиным, как у Глинки, а только воспоминание о Пушкине сквозь призму 80-х годов. И если «Онегин» Пушкина кажется нам сыном Байрона, то у Чайковского они даже не в родстве. Создавая своего «Онегина», Чайковский словно бежит от своего времени в прошлое, поэтому, эта опера, может быть, одно из самых светлых и «очищенных» его произведений. Она не насыщена пессимизмом и страстным изнеможением, как большая часть его музыки.

Чайковского влекла песенная сфера. Он отдал ей большую дань, написав ряд опер и множество романсов. Но несмотря на количество и качество всего созданного им в этой области, его подлинная сфера — инструментальная. Чайковский был по преимуществу инструментальным композитором, создателем русского симфонизма, почти не существовавшего до него, и в котором он стал мастером, не превзойденным до сих пор. Здесь основная сущность его творчества, в то время как Мусоргский был композитором оперным. Дело не в том, что Мусоргский почти не сочинял инструментальной музыки, а поглощен был песенной. Существенно, что Мусоргский создавал свои звуковые образы, об'ективируя их, выражая их в их собственной природе и независимо от себя самого; Чайковский же даже в песенной сфере всегда оставался лишь самим собой. И в театральных формах он создавал лишь иллюзию образа; поет в этих образах всегда сам Чайковский, надевая

маску действующего лица. Вместо английского рожка или кларнета мы видим Лизу, Германа, Онегина, Татьяну; но голос слышен всегда все тот же, его собственный голос. У него редки живые образы и не личные интонации (няня в «Онегине»). Они удаются Чайковскому только тогда, когда он лично не взволнован текстом, когда слова его не «уносят». Даже в вокальных ансамблях почти всегда сохраняется тот же характер суб'ективной интонации. Только его хоры поражают тем, что являются для Чайковского выражением чего-то об'ективного: самой жизни, рока, обреченности.

С Чайковским кончился «пир» Мусоргского, Глинки, Бородина. Вместо былого богатства, расточительности и великолепия музыкальных сокровищ у Чайковского видишь уже очень прочно установленную профессиональную технику и ремесло. Как профессионал, он активен во всех областях композиции и пишет очень много в сравнительно короткий срок жизни. В его работе есть уже расчет, экономия средств и материала. Но если техника Чайковского рационалистична, он не рационализирует музыку. Какое же, в самом деле, рационализирование в спальне графини (в «Пиковой даме») с жутким хором приживалок, приготовляющих туалет графини так, как если бы он был погребальным, и напоминающих шекспировских парок? И какой рационализм во всей этой атмосфере смертной жути, которая, как тень, ходит за ним по пятам и всегда присутствует в его музыке? Вся преувеличенная экспрессия и патологическая патетика в его музыке, откуда она? От невозможности выхода, ухода от себя. На примере Чайковского мы видим, что «верность самому себе» не всегда отрадное состояние. Форма у него не оригинальна, и все же — как это ни парадоксально — это не помешало Чайковскому создать музыку большого стиля. Но в этой музыке нет «кафарсиса», как говорят греки. Единственная возможность освобождения для него только в песенном самоуничтожении. Песенное изнеможение , надрыв, под'ем, опять изнеможение и опять надрыв... И вместе с этим торжественный официальный стиль, соответствовавший стилю России конца его жизни, эпохи Александра 3-го: ее прочности, непоколебимости ее устоев и норм закона.

Как и Глинка — Чайковский глубоко русский композитор, чего никак не хотели понять в Париже. Каким образом совершается его национальное становление — это его творческая тайна, тайна его темперамента, тембра его голоса, который ни с чем не смешаешь. Его расслышишь через разноголосицу всей музыки в мире. Связь с Глинкой у Чайковского интимная,

семейного порядка. Она на линии приближения обоих к западу, в то время как у Мусоргского связь с Глинкой была на линии удаления от запада.

Любопытно, что симфонии Бетховена совершенно не задели инструментального стиля Чайковского, этого величайшего из симфонистов после Бетховена. Он отличается от Бетховена отсутствием динамической мысли, из которой вырастает бетховенский симфонизм. Чайковский пользуется готовыми формулами, и как только падает его эмоциональная насыщенность, заполняет пустоты реторикой, приближаясь к Шуману и Мендельсону.

Когда его не грызет тоска и меланхолия, он как бы «прогуливается в толпе», среди народа, образ которого он передает почему то всегда веселым и пляшущим, или же бродит по петербургским салонам и балам, оттуда его вальсообразные ритмы. Его инструментальная форма растет всегда только из эмоционального насыщения, из «дыхания», и чувство пропорции определяется в большей мере эмоциональной экспрессией, чем самой звуковой материей. На вершине своего эмоционального под'ема он доходит до состояния исступления и восторга, который можно бы назвать «интелигентским радением», хотя эти два понятия как будто бы с трудом связываются (Мусоргский создавал радение народное). Это состояние радения — сфера сближения Чайковского с массами и его воздействия на них. Утратив эту силу воздействия в период модернизма, его музыка снова обрела ее уже после революции, хотя массы интеллигенции были уже нового типа.

Русский модернизм в музыке, как и в поэзии, получил явно символическую окраску, так как русское искусство всегда было ближе к миру идей, чем к миру конкретностей. Скрябин стал едва ли не самым ярким выразителем этого движения. Он ушел от национальной идеологии в искусстве без оглядки, опьяненный новым миром, открывшимся в начале 20-го столетия.

Скрябин был, конечно, очень значительным явлением в русской культуре. Прошло полвека с тех пор, как с него начался последний период русской музыкальной истории, кажется, еще столь недавней. В перспективе минувших десятилетий многое стало сейчас гораздо яснее, чем прежде. Скрябин не упал с луны в русскую музыку, как это казалось и до сих пор

еще кажется многим. Он был субстанционально связан с русской музыкой, с ее традицией и уж, конечно, он был проявлением русского духа. При жизни вокруг него создался культ и молодежь видела в его музыке осуществление своих чаяний. Потом о нем забыли. Реакция наступила чуть ли не сейчас же после его смерти и зачеркнула его имя на долгое время. Реакция эта создалась на почве смены культурных планов, смены идеологий, смены эпох. После декадентских и символических теорий и идей конца 19-го и начала 20-го веков, после расцвета крайнего индивидуализма пришла война и революция, которые опрокинули культ эгоцентрической личности в искусстве и в жизни и поставили снова проблему коллектива и сближения искусства с народом. О Скрябине создалось мнение, как о большой неудаче и падении. Но бывают «неудачи», которые значительнее многих удач.

Для Скрябина так же, как и для Мусоргского, музыка была не самоцелью, а только средством общения с людьми, осуществления — для Мусоргского — идей внемузыкальных; — для Скрябина — сверхмузыкальных. Но в то время, как для Мусоргского музыка была связью с народом в простом и прямом смысле, в самой жизни, для Скрябина не было «народа» в простом значении этого слова. Его путь вел от интимного личного плана к общему или же, как говорили на жаргоне символистов, от келейного начала к соборному. Связь между индивидуальным и коллективным осуществлялась путем внутренним, в живом опыте, а не внешним соединением. Это был путь духовный, и почти религиозный. Он не стал религиозным в подлинном смысле, и Скрябин не нашел настоящей внутренней свободы и целостной истины. Поэтому и произошло его падение. Он не сумел уйти от эгоцентрического постижения мира и его «коллектив», его «соборност» состояла для него только из «посвященных».

Апокалиптическая философия, эсхатология, эзотеризм — все это было разлито в воздухе во всем мире в эту эпоху «предчувствий» и «предугадываний». Скрябин стал жертвой своего времени. Он выразил в своем творчестве только процесс «предварительный» в отыскании новой связи между миром и людьми, к которой каждый раз наново ведет опыт подлинного артиста. Не случайно его творчество оборвалось на едва начатом произведении, которое он называл «Предварительным действием».

Вполне возможно, что если бы жизнь Скрябина не оборвалась так трагически в самом расцвете его сил, история

современной музыки была бы совершенно иной. Его эгоцентризмом были поиски через себя, но не для себя. Вместо Бога он подставлял самого себя, то есть, артиста; вместо истины — искусство. Вагнер до него делал то-же самое. Но Вагнер создал германский миф. Скрябин же не успел создать свой миф, он только искал его — через восток.

Что принес Скрябин в русскую музыку? Экстаз, — экстаз, как форму постижения и как форму музыкального воплощения. Пусть на ложной идеологической основе, но музыка Скрябина была утверждением, утверждением творческого процесса, актом принятия жизни в противоположность Чайковскому, чья музыка была почти сплошным криком отчаяния. Но Мусоргский и Скрябин — явления одного и того же духа, только отраженные в разных культурных планах, с различным идеологическим основанием.

Первый период скрябинского творчества был совершенно традиционен, типичен для русского музыканта. Основной тон его сочинений — трагический лиризм, который лишь постепенно пронизывается озаренностью, из нее рождается идея экстаза. С этого момента он пишет до конца жизни уже как бы одно и то-же произведение. Уход от себя, достигаемое самоосвобождение приносит новое сознание — через экстатический под'ем к состоянию чистого творческого восторга. Экстаз становится таким образом формой музыкального воплощения и формой сознания. Это проявляется в каждом из его сочинений последнего периода, в маленьких пьесах для рояля так же, как в оркестре.

Теперь проблема связи между личностью и коллективом («соборность» в аспекте нового национализма) снова поставлена во главу угла в России. В связи с этим изменится и отношение к Скрябину: его по новому поймут и переоценят. Круг времени снова замкнется в новом эстетическом опыте.

Что произошло за последние 20 лет в чистой эстетике, в вопросах музыкальной композиции? Говоря формальным языком, мы скажем, что Скрябин окончательно разрушил основу тонального равновесия, державшуюся на так называемом отношении тонико — доминантовой гармонии, которая для него уже оказалась совершенно изжитой. В действительности, не говоря о других, уже Мусоргский осуществил то же самое в своем подлинном (не цензурованном) творчестве.

Как только традиционная основа рационалистического музыкального мышления оказалась вынутой, провалились и устои прежнего формального равновесия и начались поиски

равновесия нового. Они были Скрябиным же намечены в центрах полярного тяготения обертоновой и унтертоновой гармонии, то есть, высших и низших призвуков, построенных по ступеням натурального звукоряда. Отсюда пошла вся новая, так называемая, модернистическая музыка. В Европе происходило параллельно почти то же самое, но только при иных эстетических предпосылках.

Скрябин вел интуитивно-творческим путем значительно раньше других поиски синтеза гармонии и тембра. С его смертью путь оборвался и повис над пустотой. После него в Европе возникла, так называемая, атональная музыка. Атональная гармония не принесла решения проблемы, она привела только к анархии и к тупикам, так как решение вопроса может быть найдено лишь творческим путем, а не построением теоретических систем. Достижения скрябинской гармонии для русской музыки сыграли огромную роль, еще до сих пор не освещенную, в частности в углублении проблемы музыкального востока. В поздних гармониях Скрябина восточный лад отсвечивает уже совершенно чистый, без специфической примеси фольклора и этнографической экзотики. Поиски нового звукового лада смогут привести в будущем к созданию новой звуковой субстанции, уже чистой, в порядке музыкально-созерцательном, а не чувственно-эмоциональном.

***

Какова роль музыки Стравинского в исторической перспективе?

Для Стравинского музыка — это игра. Он всегда играет или, вернее, он стилизует: людей, вещи, идеи, чувства и самую жизнь; с таким мастерством, как редко кто из музыкантов до него. Так как он отрицает становление — оно у него отсутствует, в связи с этим отсутствует и трагическое постижение мира. Музыка для него не самоизживание. «Не ищите ничего за нотами, вы там ничего не найдете», скажет вам Стравинский. «До диэз» — есть «до диэз» и ничего больше». Всякие поиски содержания — только иллюзия. Есть только голый процесс звуковой конструкции.

В исторической перспективе поразительно в какой мере Стравинский является поправкой на Римского-Корсакова. Оба были убежденными профессионалистами. Культ ремесла (профессионального делания) у Стравинского доведен до полного его слияния с самой сущностью музыки.

По этому поводу интересно вспомнить рассказ Федора Толстого, друга Глинки. Глинка встретился с Толстым в Милане в 1834 году.

«Однажды, — говорит Толстой, — засидевшись поздно вечером на балконе "Albergo del Passo", мы разговорились о возможности выражения звуками различных душевных настроений: — Хорошо бы, говорил Глинка, написать нечто в роде баркароллы на следующую тему. Месяц пронизывает лучами небольшую комнату. В глубине на белоснежной постели покоится молодая красивая итальянка. Шелковистые, густые черные волны разметались и покрывают плечи и грудь, но нет не совсем (и Глинка подмигнул). Красавице не то что душно, а так себе, очень приятно, и нега и страсть просвечивают у нее в каждой жилке. — А, как ты думаешь? Ведь это все можно выразить в музыке. — Я расхохотался. — Ну, конечно, отвечал я, и луну и черные волосы — все это можно целиком изобразить звуками. — Не говори пустяков, возразил Глинка, черные волосы само по себе, но вот то душевное настроение, производимое подобным зрелищем, все это целиком можно выразить музыкой».

Таков путь, пройденный от Глинки к Стравинскому.

Творчество Стравинского в совсем еще близком прошлом имело огромное значение, и его произведения и сейчас еще на первом плане современной музыкальной жизни. Но эстетика и идеология этого искусства, провозглашенные как символ веры, находятся в явном противоречии с русским духом.

Эта теория абсолютной или «чистой» музыки, музыкальной архитектуры не совсем нова. Она уже проповедывалась Гансликом в Германии в 70-х, 80-х годах и была поддержана в России Антоном Рубинштейном, который был первым пионером профессионального движения в России и яростным врагом националистов. Эта теория «о музыкальном прекрасном» (как она называлась по Ганслику) была сдана в архив до той поры, пока ее не подновили модернисты. Поскольку Стравинский исповедует эту теорию, он совершенно прав, когда говорит, что не считает себя больше русским музыкантом, а просто музыкантом.

Это не мешает тому, что его темперамент остается русским и выдает его в любой интонации его сочинений. Ряд его произведений глубок и насыщен подлинной человечностью. Есть противоречие между тем, что он проповедует, и тем, что он создает. Стравинский начал свой путь тем, что вернулся к истокам древнерусской музыкальной стихии. Языческое исступ-

ление «Весны священной» было формой экстаза и огромным творческим напряжением. Сознание, которое он принес из древнего хаотического мира, долго питало его последующее творчество.

Разнообразие стиля Стравинского достигается множеством методов, которыми он пользуется в связи с многообразием звуковой материи. Он предпочитает пользоваться материей уже существующей, готовой и, следовательно, нейтральной и безличной, чем создавать новую материю. Вот почему большинство его произведений — стилизации. Изжив прошлое, и оборвав связь с Россией, Стравинский очутился в самом центре западно-европейского музыкального мышления, критически его развивая. Таким образом он, один из первых, обнаружил тупики, перед которыми оказался музыкальный модернизм.

Если творчество Скрябина привело к созданию новой концепции музыкальной гармонии, то главный смысл творческой активности Стравинского был в перемещении проблемы из области гармонии в область ритма. Стравинский «взбудоражил» ритм, как Скрябин до него взбудоражил гармонию. Стравинский начал свою деятельность полным высвобождением ритма, как стихийной силы, физической, моторно-движущей. В «Весне священной» ритм достигает мощи, до того неведомой. Затем он укротил эту силу, подчинил ее и свел ее к роли конструктивной в структуре звучаний.

В перспективе будущего мы находимся перед третьей музыкальной стихией — перед мелодией. Ее проблема может быть решена только созданием нового синтеза в тесной связи с проблемами гармонии и ритма.

В том же плане находится для Стравинского в данный момент и проблема того, что он называет Chronos'ом, или музыкальным временем. Но Chronos это еще нечто иное, чем только ритмическая структура звучащего времени. Это музыкальный ритм самого языка, а не последование хорошо проскандированных слогов. Таким образом, мы оказались снова перед проблемой музыкального языка.

Не профессионализм и не теории вызвали к жизни рускую музыку. Ее основа — вера в народ и органическая связь с ним: убеждение, что в музыке обнаруживается пустота, когда в ней отсутствует человек, который заменяется техникой. Техника необходима, но она не должна становиться самоцелью.

Одно из противоречий в музыке в том, что техника должна быть рациональна, в то время как дух музыки иррационален.

Одни стремились подчинить техническую рассудочность творческому воображению (это редкие случаи — в России Мусоргский и Скрябин, в Европе — Шопен и Дебюсси), другие хотели сделать рассудочным самый смысл музыки — таково большинство европейских музыкантов 19-го столетия и русские, вещи.

Первых же мучает проблема необходимости пленить и воспроизвести свой внутренний мир. Но в музыкальной иерархии значительнейшее достигает высших ступеней вознесения духа тем, что мы можем назвать почти бесплотностью звуков.

Артур Лурье.

СОВѢТ МИНИСТРОВ В 1915-1916 ГОДАХ

(Из воспоминаній*)

VI.

19-го августа 1916 года началась серія моих докладов Государю, в которых я стремился доказать всю ложность пути, избраннаго государственной властью, и намѣтить тот курс, который необходимо было взять, чтобы вывести страну и монархію из того тупика, куда нас завела совершенно безпринципная и безпочвенная политика.

Поводом к первому из этих докладов послужило засѣданіе Совѣта Министров, обсуждавшее внесенный мною проект университетскаго устава. Здѣсь я встрѣтил отпор своим предположеніям, в частности по вопросу об освобожденіи дипломов от предоставленія прав службы. Бюрократическіе взгляды на жизнь сказались при этом в полной мѣрѣ. Исходя из этого примѣра, я развил свои общія мысли об уродливости тѣх форм, в которыя вылилось наше правительственное управленіе и которыя не имѣли ничего общаго с подлинными устоями русской общественности.

Русская государственность, утвержденная не на принципѣ порабощенія націи властью, а на принципѣ сознанія націей потребности в единой об'единяющей власти, вылилась в исторически сложившуюся формулу единенія Царя с народом. В этом единеніи во всѣ вѣка видѣли источник благоденствія и развитія страны лучшіе ея люди.

Напротив, часть из служилых людей, забыв историческія и бытовыя особенности страны, постепенно установили приказно-бюрократическое средостѣніе между царской властью и населеніем.

С этим приказным строем русская земщина вела вѣковую борьбу. Борьба эта выливалась в разныя формы, и цари русскіе нерѣдко колебались, на чью сторону им встать, на что опереться. Но если вдумчиво прослѣдить многовѣковую исторію Россійской державы, то ясно станет, что не дьяки и приказные

---

*) См. кн. 8-ю «Новаго Журнала».

во всѣ вѣка в тяжелую минуту жизни страны и ея державных вождей спасали родину от гибели.

Земскіе люди, Минины и Пожарскіе, спасали Русь от разрухи. К земским соборам прибѣгали вѣнценосные вожди, в земских людях находили опору. И эта опора спасала государственность. Слава Богу, не приходится нам искать и созидать эти формы единенія. Онѣ уже созданы, нужно лишь здраво их использовать: живет и крѣпнет земская и городская Россія, создана Государственная Дума. В тѣсном согласіи с этими государственными формами единенія Царя с народом власть только и может выйти из тупика.

Сановным бюрократам это не по плечу и не по вкусу. В этом таится громадная опасность для государства и для династіи. Сознаніе масс растет, тяжелая война больно отзывается и на духовных и на экономических силах народа, ищут виновных, а вмѣсто того, чтобы дать всей странѣ, всей ея организованной части, возможность разобраться во всем происходящем и помочь власти исполнить ея долг, эта кучка безумцев полагает, что странѣ нѣт дѣла до того, куда ее ведут, и защищается она от страны не своим погибшим авторитетом, а идеей самодержавной власти Государя, размѣнивая ее на мелкую монету. «Россіей правит столоначальник», сказал Император Николай I. Теперь ею уже никто не правит, а от нея отгораживаются эти «столоначальники», подставляя под недовольство страны верховную власть.

По существу, Государь признал правильность моих взглядов и отмѣтил, что он всегда с довѣріем относился к русской общественности, что и выразилось в установленіи Государственной Думы.

Засим я старался различными примѣрами показать полную неспособность нашего правительственнаго аппарата разрѣшить цѣлый ряд жгучих вопросов. В первую очередь я коснулся польскаго вопроса. «Как бывшій Верховный Главнокомандующій, так и Ваше Величество — сказал я — дали публично заявленныя предуказанія к разрѣшенію в эту историческую минуту столь наболѣвшаго и жгучаго вопроса. Над этим вопросом сидят второй год. Уже болѣе или менѣе все было намѣчено и однако до сих пор ничего не рѣшено и не об'явлено, а враг не дремлет и спѣшит использовать психологическій момент в ущерб нам.

Так же неподготовлены мы в дѣлѣ разрѣшенія вопроса в Галиціи и Буковинѣ, гдѣ мы готовы, повидимому, повторить ошибки нашего вторженія туда».

На это Государь мнѣ сказал, что уже намѣчены пути иные и совѣтовал переговорить с о. Георгіем Шавельским. Государь указал, что на этот раз мы будем входить туда, не нарушая сложившихся укладов жизни.

«Неподготовлены мы и к разрѣшенію общаго славянскаго вопроса — продолжал я. — Мы отмахиваемся от него и не видим, что пропускаем весьма отвѣтственный момент. Сейчас в наших руках значительное число славян, оказавшихся болѣе или менѣе добровольно в нашей странѣ. По окончании войны они вернутся к своим очагам и явятся там распространителями пониманія Россіи и русско-славянских отношеній. Никто не желает над этим вопросом задумываться. В Совѣтѣ Министров я встрѣчал лишь рѣзкій отпор».

Кончил я свой доклад изображеніем той разрухи, какая идет в Совѣтѣ Министров, и того совершенно невозможнаго положенія, какое я в нем занимаю. Я просил Государя освободить меня от непосильной работы. Но Государь сказал мнѣ, что отпустить меня теперь он не может, а совѣтует мнѣ поѣхать отдохнуть к моей матушкѣ, чтобы потом с удвоенными силами взяться опять за ту работу, которую он вполнѣ одобряет.

Слѣдующій мой доклад состоялся 21-го октября. За это время произошла значительная перемѣна в правительствѣ и вмѣсто корректнаго Александра Хвостова, хотя часто расходившагося со мною во взглядах, на пост Министра Внутренних Дѣл был назначен Протопопов. Не зная его близко, а лишь по наслышкѣ из думских кругов, и узнав об этом назначеніи во время пребыванія моего в отпуску, в деревнѣ, я уѣхал в Петроград в надеждѣ, что такое назначеніе из думских кругов является началом перемѣны курса в сторону пожеланій блока Государственной Думы.

С такими мыслями, по пріѣздѣ в Петроград, я заѣхал к Протопопову, но был сразу же поражен его словами, что он полюбил Государя и всю его семью и не знает, за что и его полюбили, и что он готов все для них сдѣлать. Эта формула в устах государственнаго человѣка меня удивила, хотя я и склонен был приписать ее впечатлѣнію, оставшемуся у человѣка, для котораго было ново ласковое обращеніе с ним со стороны высочайших особ. Ближайшіе дни показали мнѣ, однако, что в области пониманія государственных задач между мной и Протопоповым лежала безграничная пропасть, и скоро мнѣ пришлось вступить в рѣшительный конфликт с ним.

Мой доклад Государю происходил уже послѣ того, как я был вынужден рѣзко выступить против мысли о передачѣ

продовольственнаго дѣла Министерству Внутренних Дѣл. Вполнѣ сознавая, что и Министерство Земледѣлія оказалось не на высотѣ положенія, особенно со времени управленія графа Бобринскаго, я, однако, никак не мог согласиться с мыслью о возможности поручить такое жгучее дѣло столь непопулярному вѣдомству, не привыкшему работать в согласіи с общественными силами.

Эти мысли были мною категорически заявлены в засѣданіи Совѣта Министров, и в послѣдовавшем обсужденіи вопроса большинство членов Совѣта стали постепенно склоняться на мою сторону, кромѣ Бобринскаго, слабо меня поддержавшаго. В то же время, однако, их повидимому сильно смущало положеніе дѣла и в Министерствѣ Земледѣлія. Только этим можно об'яснить, что при окончательном голосованіи голоса разбились почти поровну: Макаров, Трепов и, к моему особому удивленію, Покровскій своими голосами поддержали Предсѣдателя Совѣта и Министра Внутренних Дѣл.

В моем докладѣ Государю я подробно изложил всѣ перипетіи этого дѣла и разсказал про ту борьбу, которую мнѣ пришлось выдержать. Я указал насколько неестественно положеніе дѣла, когда Министру Народнаго Просвѣщенія приходится занимать боевое положеніе по вопросам общегосударственной политики.

По этому поводу я еще раз опредѣленно высказал свои соображенія о значеніи, силѣ и смыслѣ русской общественности. В борьбѣ на выдержку, на истощеніе побѣдит лишь та сторона, которая сумѣет сорганизоваться и облегчить мирному населенію тяготы войны. У нас же как будто нарочно создаются все большія тяготы для все болѣе широких слоев населенія. Недовольство все растет и докатывается до верховнаго вождя арміи. «Я не хочу быть пророком, — сказал я, — но мнѣ кажется, что достаточно будет одной искры, чтобы вспыхнул страшный пожар».

Государь не отрицал моих опасеній, но высказал, что здѣсь, в Петроградѣ, все кажется хуже, чѣм оно есть в дѣйствительности. К этому он добавил, что, конечно, необходимо принять всѣ доступныя мѣры для облегченія тягот населенія.

VII.

Послѣ моего октябрьскаго доклада событія стали быстро развиваться. По городу стали распространяться слухи, что думскій блок готовит сильное выступленіе в день возобнов-

ленія занятій Государственной Думы. Самая редакция заявленія держалась в тайнѣ. 1-го ноября, во вторник, должна была собраться Государственная Дума, а в пятницу вечером Штюрмер экстрено вызвал нас к себѣ в Министерство Иностранных Дѣл для срочнаго совѣщанія. Предсѣдатель Совѣта Министров доложил нам, что в его распоряженіи находится текст той резолюціи, которую блок намѣрен огласить в засѣданіи Государственной Думы. Этот текст был прочитан и, должен сказать, произвел на меня тяжелое впечатлѣніе с точки зрѣнія того глубокаго уваженія, какое я всегда питал к Думѣ и ея отвѣтственным выступленіям. Мнѣ казалось, что все, сказанное в резолюціи, могло быть сказано в той или иной рѣчи отдѣльнаго члена Думы, но в текст резолюціи могли входить лишь мысли и обвиненія провѣренныя и не могущія быть названными клеветой. Больно прозвучало слово «измѣна» и указаніе на факты, упоминаніе о коих было рискованным, так как едва-ли эти факты могли быть доказаны.

В кабинетѣ был полумрак. В одном концѣ, в глубоком креслѣ, полулежал Штюрмер с больной ногой. Вокруг него сидѣли ближайшіе его соратники: Макаров, Трепов, Раев и Протопопов, дальше Григорович, Шуваев. В другом концѣ кабинета, на диванѣ, сидѣли мы с Покровским и к нам подсѣл Шаховской.

Кто-то из министров, послѣ долгой и томительной паузы, спросил, нельзя ли переговорить с Предсѣдателем Государственной Думы и постараться исключить то, что с точки зрѣнія интересов обороны являлось нежелательным. На это Штюрмер сказал, что Родзянко с ним и разговаривать не будет. Нам всѣм показалось это странным, но я не знал тогда, что за нѣсколько часов перед этим произошла между Штюрмером и Родзянко крупная размолвка, по поводу крайне рѣзкаго отказа в пріемѣ Предсѣдателя Государств. Думы в Ставкѣ. Штюрмер не нашел нужным поставить членов Кабинета в извѣстность о случившемся.

Послѣ такого отвѣта стали выражать сужденія, кому взять на себя порученіе переговорить, так как высказанная мысль о возможности отсрочки засѣданія Государственной Думы была отвергнута, и это во всяком случаѣ не могло имѣть мѣста прежде, чѣм не были испробованы всѣ средства для предотвращенія рѣзкаго и публичнаго конфликта власти с Государственной Думой, с ея большинством. Всѣ возможныя комбинаціи переговоров были постепенно забракованы.

Вдруг, послѣ новой томительной паузы, Штюрмер глухим

голосом сказал: «Граф, Вы нам помогите». Этот вызов вывел меня из состоянія равновѣсія и в страстной репликѣ я сказал, что меня насильно держат в этом составѣ Совѣта Министров, что этот Совѣт, как и выяснилось в этом совѣщаніи, не смѣет и не имѣет нравственнаго права вступать в переговоры с Государственной Думой, со страной, и от имени Совѣта, по его порученію, я говорить ни с кѣм не могу. Но мнѣ безконечно дорого счастье и благополучіе родины, мнѣ дороги честь и достоинство ея законодательных учрежденій, и во имя этого я, как Игнатьев, буду говорить и сдѣлаю все от меня зависящее, чтобы измѣнить редакцію резолюціи. Я убѣжден, что я буду не один, что Н. Н. Покровскій, из тѣх же побужденій, будет дѣйствовать в знакомых ему кругах. Все это, однако, под одним условіем, — чтобы никто нам не мѣшал и особенно Министр Внутрених Дѣл. Протопопов обѣщал, но вдруг Раев вставляет свою фразу: «Нам было бы все-таки интересно знать, что будут говорить членам Думы наши делегаты». Это меня совершенно взорвало и я, сознаюсь, грубо и рѣзко сказал: «Видимо, меня не поняли, я делегатом этого Совѣта не могу и не желаю быть, никому здѣсь отчета в своих дѣйствіях давать не намѣрен и буду дѣйствовать, как Игнатьев, а не как член этого Совѣта. Если эти условія не пріемлемы, я не пошевелю «пальцем». Всѣ удостовѣрили, что меня поняли. Покровскій также подтвердил, что при условіи полной самостоятельности только и возможны его шаги перед членами Думы.

Послѣ совѣщанія с князем Волконским, бывшим Товарищем Предсѣдателя Госуд. Думы, мы с Покровским раздѣлили районы наших дѣйствій и часть этой ночи, а также всю субботу посвятили переговорам с разными видными членами Думы. Выяснилось, что резолюція была выработана секретно, что имѣется лишь опредѣленное число ея экземпляров, так что ни один из моих собесѣдников не мог мнѣ ее показать для возобновленія в памяти текста. Видимо, резолюція была сообщена Протопопову одним из членов Думы (как преполагалось, Крупенским). Тогда лишь я узнал, что Родзянко получил отказ в пріемѣ, что это было сдѣлано в довольно рѣзкой формѣ, причем конверт должен был быть адресован Штюрмеру для словесной передачи резолюціи, но по ошибкѣ был послан прямо Родзянкѣ. Наши долгія бесѣды привели к тому, что члены Думы согласились значительно смягчить резолюцію, поняв, что рѣзкія и недостаточно еще провѣренныя обвиненія, как обвиненія в измѣнѣ, могут быть высказаны в рѣчах, но не

в резолюціи большинства Думы. В воскресенье утром атмосфера казалась значительно разряженной, но тут же выяснилось, что Протопопов не сдержал слова и, вѣроятно, через того же члена Думы пустил слух среди членов Думы — крестьян и духовенства, что если редакція формулы не будет измѣнена, то рѣшено Думу распустить, а послѣдствіем будет призыв военно-обязанных на фронт и лишеніе окладов. Это злостное застращиваніе, конечно, возымѣло совершенно обратное дѣйствіе. Всѣ смягчающія рѣшенія предыдущаго вечера стали пересматриваться втеченіе воскресенья и возбужденіе вновь стало расти.

Когда в воскресенье вечером мы вновь собрались в кабинетѣ Предсѣдателя, Покровскій, не знавшій еще о происшедшей перемѣнѣ, доложил о благопріятных результатах нашей миссіи. Члены Совѣта, имѣвшіе случай в субботу вечером бесѣдовать с нѣкоторыми членами Думы, подтвердили все это. Засим обратились ко мнѣ и мнѣ пришлось заявить, что все это так было, но произошли обстоятельства, о которых я предупреждал и что если и будут сдѣланы исправленія, то значительно меньшія, что атмосфера крайне сгущенная и что все это случилось потому, что один из членов Совѣта не сдержал даннаго слова и пустил в средѣ членов Думы застращивающіе слухи, которые и произвели обратное впечатлѣніе. Протопопов не отрицал, что он это сдѣлал, но увѣрял, что мои пессимистическія впечатлѣнія преувеличены.

Засѣданіе 1-го ноября оправдало мои предсказанія. Послѣ рѣчи Милюкова, вынесшаго на кафедру обвиненіе против Штюрмера, мы опять собрались в кабинетѣ послѣдняго и заявили, что так это оставить нельзя, что Штюрмер должен выступить и как Предсѣдатель Совѣта Министров и как лично затронутый человѣк. Штюрмер отказался. Тогда ему была предложена формула привлеченія Милюкова к суду за клевету, для чего нужна была неисправленная стенограмма рѣчи Милюкова. Об этом было написано письмо Родзянкѣ.

Так как в думских рѣчах упоминалась фамилія Курлова и к этому дню мною была получена бумага за подписью Курлова, то это дало мнѣ возможность возбудить вопрос, какое положеніе занимает в Министерствѣ Курлов и можем ли мы давать ход бумагам за его подписью. По этому поводу Макаров доложил об отказѣ Сената исполнить один или два рапорта за той же подписью. Все это меня так взорвало, что я опять крайне рѣзко выступил с заявленіем, что я не понимаю, как можно ставить Государя и правительство в такое положеніе,

что оно должно скрывать от страны имена тѣх, кто вѣдает ея судьбами. Курлов человѣк, на котором осталось не смытым подозрѣніе в убійствѣ своего начальника, человѣк, чуть-ли не на днях прогнанный высочайшей властью из Прибалтійскаго края, и вдруг нам приходится узнавать, что он «аки тать в нощи», но все-таки товарищ. До такого униженія государственность еще никогда не доходила.

На это Протопопов слащавым голосом сказал, что я напрасно волнуюсь, что он хорошо знает Курлова, что он его друг и послѣ совершенно несправедливаго обвиненія в Кіевском несчастьи даже жил у него на квартирѣ и потому он за него совершенно ручается.

Меня это возмутило, так как, повидимому, когда Курлов жил на квартирѣ у Протопопова, послѣдній от имени фракціи с думской кафедры выступил с запросом о незакономѣрных дѣйствіях своего друга. Я и высказал эту мысль, закончив словами: «И вот в таких руках Министерство Внутренних Дѣл — вся внутренняя политика страны, и в такую минуту!» Мы разстались с Протопоповым, не простившись.

Возможность дальнѣйших выступленій в Думѣ и Гос. Совѣтѣ казалась мнѣ ужасной с точки зрѣнія интересов обороны и достоинства страны перед лицом врага. Вот почему казалось желательным выступленіе представителей военных сил, чтобы убѣдить германцев и нашу армію в том, что эти тренія с властью не отзываются на нашей боеспособности. Разговор мой с Шуваевым во время перерыва засѣданія Гос. Совѣта показал мнѣ, что он на это пойдет. Соотвѣтственная мысль была внушена Трепову, который, как потом оказалось, переговорил со Штюрмером и Макаровым и они рѣшили секретно от всѣх, что такое выступленіе дѣйствительно необходимо, и Макарову было поручено составить шпаргалку для Шуваева.

На слѣдующій день мы были собраны в кабинетѣ у Предсѣдателя, с цѣлью выясненія дальнѣйшей тактики нашей по отношенію к Государственной Думѣ. Протопопов был рѣшительно за роспуск Думы, другіе крайне сомнѣвались в цѣлесообразности и возможности этой мѣры без крупных затрудненій в дѣлѣ снабженія арміи. Трепов предложил правительству попробовать выступить в Думѣ с приглашеніем приступить к работѣ, но эта мысль была быстро отвергнута.

Тогда тот же Трепов сказал: «Может быть выступит кто-либо из министров с кѣм Дума еще готова имѣть дѣло, например, Военный Министр?». Шуваев, не колеблясь, заявил, что

если ему будет приказано, он исполнит свой долг солдата. Из дальнѣйшей бесѣды выяснилось, что у Макарова уже приготовлена шпаргалка для выступленія Шуваева. Я видѣл все смущеніе и волненіе при этом Шуваева и, возмущенный, вскочил и страстно заявил, что я извиняюсь за то, что вмѣшиваюсь не в свое дѣло, но я убѣжден, что говорю то, что на душѣ у Военнаго Министра. Нѣт, не по шпаргалкѣ, не от Совѣта Министров, который не смѣет выступить перед Думой, а как честный солдат, болѣющій за свою родину, за родную армію, выйдет Дмитрій Савельевич на кафедру Государственной Думы и скажет тѣ слова, которыя подскажет ему его совѣсть, его любовь к родинѣ. Мое вмѣшательство рѣшило направленіе дѣла. Шуваев горячо поддержал меня, Григорович также. Вскорѣ состоялось выступленіе обоих министров в Думѣ, нѣсколько успокоившее поднятыя страсти.

Вот тѣ событія, которыя привели меня к убѣжденію, что дальше по этому пути итти было нельзя. Небольшой проблеск надежды появился с уходом Штюрмера и назначеніем 19-го ноября Трепова. Тотя я далеко не раздѣлял его взглядов, но у него, по крайней мѣрѣ, были опредѣленныя мысли и болѣе или менѣе точная программа, что совершенно отсутствовало у Горемыкина и Штюрмера. Однако, работать с ним мнѣ не хотѣлось. Я просил его помочь мнѣ уйти в отставку, но Трепов отказался.

VIII.

Еще до ухода Штюрмера я получил пріема у Государя и был принят в Ставкѣ 19-го ноября. Послѣ доклада текущих дѣл, я доложил Его Величеству о своем смущеніи, что так скоро послѣ 21-го октября позволил себѣ снова безпокоить его просьбой о пріемѣ. При этом я не скрыл, что это было вызвано тѣм волненіем, которое я испытывал, исполняя несвойственную мнѣ роль политическаго дѣятеля и даже закулиснаго агитатора.

«Со дня моей просьбы о пріемѣ — сказал я — протекло немного времени, но, слава Богу, Россія уже освобождена от Штюрмера, но она еще не освобождена от Протопопова. Мы всѣ, члены Совѣта Министров, кромѣ нѣкоторых, готовы поддержать в работѣ Трепова, он твердо и опредѣленно взял руль в руки, и с ним считаться будут всѣ. Только Протопопов ничего общаго не имѣет с нами. Он себя отмежевал и от Совѣта Министров и от всей Думы. В кругу своих сослуживцев

он прямо говорит, что не намѣрен считаться ни с Думой, ни с Совѣтом Министров, он де один, сильный любовью и довѣрiем Вашего Величества, поведет дѣло.

«Вѣдь, Протопопова Вы взяли, полагая, что он не бюрократ и может быть полезен, как связь с Думой и земщиной, русским обществом. Но и Дума и все общество от него отвернулись. С самаго начала он сдѣлал ряд политических ошибок, сдѣлавших его безполезным для Вашего Величества. Он об'явил себя тѣсно связанным с политикой не Совѣта Министров, а Штюрмера, а эта политика была осуждена страной и Вами. В то время, как Вы призываете всѣх к единенiю, он хочет один спасать Россiю. Вмѣсто того, чтобы со всѣми нами оградить Ваше Величество, престол и ближайших членов Вашей семьи от толпы, он между толпой и собой ставит Вас, Вашу семью, утверждая, что будет дѣйствовать свободно, так как Вы его любите, т. е. будет дѣйствовать, почерпая свои силы в Вашей любви и Ваших личных указанiях. Таким образом всѣ его ошибки становятся ошибками Вашего Величества.

«Чѣм иным, как не преступленiем назвать то, что он через Меньшикова помѣстил в «Новом Времени» со слов своего сотрудника Ковалевскаго, что армiя имѣет запасы на четыре года? Почему же тогда населенiе стоит в хвостах и живет впроголодь? Что это, как не преступное натравливанiе голоднаго народа на армiю? А кто во главѣ армiи? Стало быть, всѣ боятся, всѣ пресмыкаются, чтобы угодить Вам, заставляют голодать населенiе и гноят четырехлѣтнiе запасы для Вашей армiи.

«Есть два вида преданности в служенiи родинѣ: одни служат по мѣрѣ сил и разумѣнiя, стремясь полезной работой на благо родины радовать своего Государя, но есть и преданность холопа, который ищет как бы угодить своему господину внѣшним проявленiем услужливости. В минуту испытанiя служилый человѣк перваго типа примет на себя всѣ невзгоды и спасет господина, а холоп защитит свою шкуру, выдав господина».

В заключенiе я заявил, что не могу быть соучастником дѣла вреднаго престолу и родинѣ и прошу лучше меня освободить. Государь сказал мнѣ: «Спасибо Вам, теперь мнѣ глаза открыли, оставайтесь, работайте для меня». Я отвѣтил, что тяжело бросать работу во время войны, но я не могу измѣнить своим взглядам.

Послѣ доклада, который длился очень долго и окончился послѣ 8 часов вечера, я обошел всѣх, кого только знал в

Ставкѣ, чтобы убѣдить воздѣйствовать на Государя в смыслѣ удаленія Протопопова. Днем еще я успѣл повидать больного генерала Алексѣева, затѣм генералов Гурко, Максимовича, Мосолова, гр. Граббе, отца Георгія Шавельскаго, Дена и, наконец, Воейкова.

Я узнал, что и до меня откровенно говорили Государю о грозящей опасности политики отчужденія от страны. Особенно опредѣленно говорили о Протопоповѣ Кауфман-Туркестанскій (его я уже не застал в Ставкѣ) и о. Георгій Шавельскій. Всѣ, кромѣ Воейкова, горячо поддерживали меня. Воейков на всѣ мои доводы нашел лишь один отвѣт: "Vous plaidez une cause perdue"! («Вы хлопочете по заранѣе проигранному дѣлу»).

Согласно указаніям, данным мнѣ Государем на вечернем докладѣ, я должен был явиться еще раз на слѣдующее утро к одинадцати часам для дальнѣйших разговоров по поднятому мною вопросу общеполитическаго значенія. Утром же ожидался пріѣзд Министра Финансов Барка и его доклад должен был состояться около десяти часов утра. Мнѣ пришлось ночевать в министерском моем вагонѣ на запасных путях Могилева. Рано утром я был разбужен грохотом проходившаго поѣзда. Оказалось, что из Царскаго Села, в экстренном порядкѣ, прибыл императорскій поѣзд с Государыней Императрицей и всею царской семьей. Государь прибыл к поѣзду и пробыл с Императрицею нѣкоторое время. Какой был разговор, конечно, никто не знает, но его результаты сказались немедленно.

Встрѣтив Петра Львовича Барка, прибывшаго утром из Петрограда, я ему передал содержаніе моего доклада Государю и сказал о предположенном его продолженіи. Но вмѣстѣ с тѣм я выразил опасеніе, что теперь встрѣчу иное отношеніе, так как экстренно только что прибыла Государыня со всей семьей, тогда как еще вчера, повидимому, ея пріѣзда никто не ожидал.

К одинадцати часам я прибыл в Ставку. Доклад Барка уже окончился и его я уже не застал в помѣщеніи Государя. Государь находился в помѣщеніи Штаба, куда он пошел переговорить с генералом Гурко и проститься с больным генералом Алексѣевым, уѣзжавшим в этот день в отпуск для леченія. Я стал прохаживаться по скверу, в ожиданіи появленія Государя. Не могу при этом забыть неожиданной встрѣчи с протопресвитором о. Георгіем Шавельским. Поздоровавшись, он тут же на площадкѣ перед губернаторским домом, занимаемым Государем, благословил меня большим истовым крестом со словами: «Помогай Вам Бог».

Незадолго до полудня Государь вышел из помѣщенія Штаба. Когда у дверей его помѣщенія я подошел к нему с формальным рапортом, что явился согласно данному приказанію, то получил отвѣт: «Мы, кажется, уже обо всем переговорили, приходите сюда с нами позавтракать, а там можете ѣхать в Петроград».

Я пошел отыскать Барка, чтобы сказать ему, что предполагавшееся продолженіе доклада у Государя отмѣнено.

Так как приближался час завтрака, то мы вмѣстѣ прошли в помѣщеніе Государя и стали в сторонѣ, в углу против окон в пріемном залѣ. Стали собираться всѣ приглашенные к завтраку, а также офицерство, представлявшееся Государю по разным причинам. Зал был полон, когда пріѣхала Государыня с дѣтьми. Пройдя на минуту в кабинет Государя, примыкавшій к залу, Государыня скоро вышла и встала с дѣтьми спиной к окнам, как раз против того мѣста, гдѣ мы стояли с Петром Львовичем. Невольно пришлось нам замѣтить недовольство нами Императрицы: наш поклон не был замѣчен и мы не удостоились быть вызванными к Государынѣ, как то обычно имѣло мѣсто. Многіе из присутствующих представлены были Императрицѣ. В это время наличные члены Императорской фамиліи, помнится, Великій Князь Михаил Александрович и герцог Лейхтенбергскій, подходили к нам, горячо жали руки нам обоим и заявляли о своей солидарности с нами...

Вскорѣ Государь вышел из своего кабинета, обошел всѣх представлявшихся. За завтраком пришлось мнѣ сидѣть между двумя представителями союзных армій и как раз напротив царских дѣтей. Видимо, и они, особенно старшія княжны, отчасти были в курсѣ происшедшаго, так как с любопытством разсматривали Барка и меня и при этом пересмѣивались. Послѣ завтрака Государыня немедленно удалилась с дѣтьми; Государь кратко с нами простился и отпустил, оставшись для бесѣды с военными представителями союзников...

Я уѣхал под гнетущим чувством, что надежды мало, хотя еще и теплился нѣкоторый ея луч...

IX.

Условіем моей дальнѣйшей работы я ставил удаленіе Протопопова из состава Совѣта и образованіе Министерства по списку министров, предложенному Треповым Государю. Это являлось не совсѣм отвѣтственным министерством, но подходило уже к разрѣшенію этого больного вопроса —пере-

ложенія всей отвѣтственности за неудачный состав исполнительной власти с Монарха на Предсѣдателя Совѣта Министров.

Среди моих доводов был один, который мнѣ казалось, мог успокоить тѣх, кто так опасался всяких новшеств. И в своих докладах Государю, и в предварительных бесѣдах с Треповым я напомнил, что уже Император Александр II, рѣшив послѣ тяжких неудач под Плевной, что его долг быть с арміей, перед от'ѣздом в Болгарію дал моему дѣду, Павлу Николаевичу Игнатьеву, секретный указ, поручавшій ему в отсутствіи Императора управлять внутренними дѣлами Россіи и назначать должностных лиц, в крайних лишь случаях обращаясь к Монарху, и принять на себя всю отвѣтственность перед Монархом и страной. Мнѣ казалось, что повтореніе такого указа Предсѣдателю Совѣта Министров, лишь со вставкой об установленіи согласованной работы с законодательными палатами и с требованіем представленія на утвержденіе Государя списка министров намѣчаемого кабинета, могло внести упорядоченіе в дѣла внутренняго управленія и вмѣстѣ с тѣм удовлетворить значительное число членов Думы и в особенности ея Предсѣдателя. Такой указ в то время был бы принят, как первый шаг к установленію отвѣтственнаго министерства.

Свершилось устраненіе Распутина.

Трепов был в Ставкѣ и привез извѣстіе, что есть надежда на удаленіе Протопопова и измѣненіе политики с предоставленіем ему права подобрать сотрудников. Однако, вскорѣ было получено свѣдѣніе об утвержденіи Протопопова в должности Министра Внутренних Дѣл. Макаров был удален, намѣчалось назначеніе, вопреки желанію Трепова, на это мѣсто Добровольскаго. Я просил Трепова считать мой портфель свободным и послал просьбу о пріемѣ, в виду необходимости доложить нѣкоторыя срочныя дѣла.

Я получил приглашеніе явиться в Царское Село 21-го декабря.

Послѣ доклада текущих дѣл, я приступил к докладу о своей дальнѣйшей службѣ.

«Я был бы преступником, — сказал я, — если бы по долгу присяги не доложил Вашему Величеству, как тяжко на душѣ всякому русскому, любящему родину и Царя.

«19-го ноября я докладывал о своих опасеніях. Онѣ оправдались: Государственная Дума, земства, города, Государственный Совѣт, Об'единенное Дворянство высказались и высказались совершенно опредѣленно. И это дѣло тѣх людей

или вѣрнѣе того человѣка, я назову его — Протопопова, который заявлял, что он «один спасет Россию». Но может ли это сдѣлать один из нас смертных без поддержки общественной среды?

«Это по плечу лишь авторитету Монарха. Вы отвѣчаете перед Богом, но, Ваше Величество, Вы — человѣк и православная церковь отвергла принцип непогрѣшимости Папы Римскаго. Для того, чтобы авторитет Монарха был неприкосновенным, всю отвѣтственность перед страной должны нести слуги царскіе.

«Россія жаждет сильной власти, но без единенія со страной одинокая власть нигдѣ, а в Россіи в XX вѣкѣ в особенности, сильной быть не может. Армія? Но гдѣ ея старые кадры? Они легли на полях Галиціи и Царства Польскаго. Теперь это милиція, вооруженный народ. У самаго Престола Сводный полк, конвой. В них гнѣздится уже дух осужденія и они не разойдутся с братьями по оружію. Эти десятки тысяч прапорщиков — вѣдь это вчерашніе студенты. На них развѣ думают опереться без сочувствія страны? Это невозможно. А Протопопов что дѣлает? Всѣх возстановил против власти. Зачѣм он Вашему Величеству? Он не исполнил того, что Вы на него возложили, он не оправдал Ваших надежд».

Я вручил Его Величеству письменное прошеніе об отставкѣ слѣдующаго содержанія:

«Ваше Императорское Величество, Государь Всемилостивѣйшій!

19-го ноября в Ставкѣ Вашего Императорскаго Величества, я счел своим долгом, налагаемым на меня совѣстью и присягой, докладывать о тѣх опасеніях, которыя возникли у меня в связи с дѣйствіями нѣкоторых лиц и ходом политической жизни страны. Я умолял Ваше Императорское Величество не принуждать меня быть соучастником тѣх лиц, дѣйствія коих, по совѣсти, я считал гибельными для Престола и Родины.

В твердом убѣжденіи, что полезна Вашему Императорскому Величеству и Родинѣ лишь правительственная власть, об'единенная единством мысли государственной, пониманіем основных цѣлей управленія и путей к их достиженію, считаю вѣрноподданическим долгом своим покорнѣйше просить Ваше Императорское Величество снять с меня непосильное бремя служенія против велѣнія совѣсти.

Вѣрьте, Государь, что умолять об этой милости заставляет меня, унаслѣдованная от предков, вѣками испытанная,

вѣрность исконным началам, на которых создалась и крѣпла мощь Державы Россійской в единеніи Царя с народом.

«И вдали от непосредственнаго участія в дѣлах управленія, по завѣтам и примѣру отца, я останусь тѣм же вѣрным слугой Вашего Величества, Престола и Родины.

Вашего Императорскаго Величества
вѣрноподанный слуга
в должности Шталмейстера

Граф Павел Игнатьев».

Чтеніе моего прошенія, видимо, взволновало Государя. Послѣ нѣкотораго времени томительнаго молчанія Государь, вскинув на меня глаза, сказал: «Не волнуйтесь и продолжайте Вашу полезную работу. Ваше прошеніе останется у меня в столѣ». При этом Государь выдвинул один из ящиков стола и положил туда мое прошеніе...

До 27-го декабря я никакого отвѣта не имѣл. 27-го вечером от газетных сотрудников по телефону я узнал, что указ о моем увольненіи состоялся. Ни обычнаго письма, ни рескрипта не послѣдовало.

Я счел долгом явиться к Военному Министру, прося его сдѣлать распоряженіе о зачисленіи меня, как прапорщика запаса, на военную службу. Хотя я сознавал, что полезным чином арміи я едва-ли могу быть, по состоянію моих сил и неподготовленности, но в виду указаній чинов Министерства Народнаго Просвѣщенія, что мое отношеніе к воинской повинности остается неопредѣленным, я не желал считаться уклоняющимся. Шуваев был сильно поражен и сказал, что допустить этого он не может, это было бы скандалом. При прощаніи я просил Министра выяснить этот вопрос в ближайшіе дни.

Совершенно неожиданный для меня результат имѣло мое посѣщеніе в тот же день Министра Двора, старика графа Фредерикса, с моим прощальным, по обычаю, визитом. В отвѣт на мою офиціальную фразу прощанія и благодарности за постоянно доброе ко мнѣ отношеніе маститый старец по французски отвѣтил: «Мнѣ ужасно грустно, что все это произошло. Вы, говорят, написали Государю совершенно невозможныя вещи». Усмотрѣв из этого, что мое прошеніе стало кое кому извѣстно при Дворѣ и ему дано какое-то превратное толкованіе, я рѣшился ознакомить гр. Фредерикса с дѣйствительным его содержаніем. У меня с собой был первоначальный текст прошенія, который мнѣ пришлось еще раз переписать перед подачей

Государю, вслѣдствіе вкравшейся ошибки и необходимости сдѣлать помарку.

Сказав, что я думал, со слов Государя, что мое прошеніе останется в столѣ в его кабинетѣ, но что повидимому произошло измѣненіе в намѣреніях Государя и прошеніе стало кое-кому извѣстно и, по моему мнѣнію, в превратном толкованіи, я просил графа Фредерикса ознакомиться с подлинным его текстом и быть моим судьей. С видимым волненіем граф внимательно прочел прошеніе, встал и со слезами на глазах, обняв меня сказал: «Вы сдѣлали то, что каждый честный человѣк должен был в Вашем положеніи сдѣлать. Это совсѣм иное, чѣм мнѣ передавали в Царском Селѣ; я так дѣло оставить не могу. Не покидайте Вашей квартиры, пока я Вас не вызову».

На слѣдующее же утро я был вызван к Министру и он радостно мнѣ сообщил, что Государь, видимо, был крайне доволен возможности хоть отчасти исправить то, что было напутано исполнительными органами... Уже послѣ революціи я узнал, со слов Кривошеина, что, отдавая распоряженіе о моей отставкѣ по прошенію, Государь выразил желаніе, чтобы я был внесен в список новых членов Государственнаго Совѣта, но уступил протесту вновь назначеннаго Предсѣдателя Государственнаго Совѣта — Шегловитова, бывшаго Министра Юстиціи.

Так как приказ о наградах на первое января 1917 года был уже к тому времени отпечатан, то мое производство в шталмейстера, с присвоеніем гражданскаго чина тайнаго совѣтника, приказано было издать в видѣ спеціальнаго дополненія к новогоднему приказу. Как я потом узнал, граф Фредерикс, как только я вышел из его кабинета и несмотря на уже поздній час, по телефону испросил экстренный доклад у Государя и на автомобилѣ поѣхал в Царское Село.

Послѣ перваго января, граф Фредерикс телефонировал мнѣ, что Государь непремѣнно желает со мной проститься, перед моим от'ѣздом к матери для отдыха.

9-го января 1917 года я был вызван в Царское Село для принесенія благодарности по поводу моего производства. Я еще раз повторил тѣ опасенія, которыя заставили меня уйти со службы. Вмѣстѣ с тѣм я высказал, что душа болит за дѣло, в которое я вкладывал всю любовь и душу.

На это Государь сказал мнѣ: «Не опасайтесь, я останусь на стражѣ всего, что было сдѣлано»...

При этом Государь меня обнял и сказал: «Поѣзжайте к матери, отдохните, поправьте Ваше здоровье и возвращайтесь продолжать Вашу работу».

Взволнованный до слез, я отвѣтил: «Ваше Величество, чует душа, что в этом кабинетѣ меня больше никогда не будет. Храни Вас Господь».

Моим преемником назначен был Кульчицкій.

Так завершилась моя служба в Вѣдомствѣ Народнаго Просвѣщенія.

Дѣло не было закончено. Были лишь намѣчены вѣхи и заложены камни фундамента. Больно было покидать дѣло, в которое вѣрил, в которое вложил всѣ свои мысли и всѣ свои силы.

Должен сказать, что мои сослуживцы были трогательны во время моего прощанія со всѣми ними в залах Министерства Народнаго Просвѣщенія. Этих минут я никогда не забуду. Трудно вспомнить тѣ слова, которыя вырывались из взволнованнаго сердца. Старшіе служащіе собрались в моем кабинетѣ. Моя просьба к ним была продолжать работу, стойко итти по намѣченному пути, крѣпко любя нашу мать-Россію. Рыков отвѣтил мнѣ нѣсколькими теплыми взволнованными словами. Засим я обошел всѣ канцеляріи; служащіе собрались проводить меня в большом залѣ: опять обмѣн взволнованных слов. Когда, от охватившего всѣх нас волненія, уже не стало своих слов, мнѣ припомнилось стихотвореніе Алексѣя Толстого — «Други, гребите...». «Конечно, только отдѣльныя, особенно вдохновенныя строфы приходили мнѣ на память и звучали каким-то трагическим призывом вѣрить, что вложенныя в нашу общую работу мысли и принципы должны восторжествовать. «Верх над конечным возмет безконечное...», произнес я и громовая овація присутствующих была отвѣтом. Меня подхватили десятки рук и так на руках, поверх толпы, стоявшей в залѣ и по парадной лѣстницѣ, меня снесли в мой автомобиль...

Тепло отозвалась на мой уход общественная Россія. Телеграммы, письма посыпались со всѣх сторон. Ряд высших учебных заведеній пожелал высказать мнѣ свою признательность, но это удалось осуществить уже послѣ переворота: Петроградскій Университет, Женскій Медицинскій Институт, Пермскій Университет, Императорское Московское Техническое Училище и, наконец, Академія Наук (уже осенью 1917 года) избрали меня своим почетным членом.

Гр. **П. Н. Игнатьев.**

И. П. ПАВЛОВ

(Главы из биографии)

Имя знаменитого русского физиолога Ивана Петровича Павлова известно каждому образованному человеку. Но что Павлов сделал в той научной области, в которой он работал почти шестьдесят лет, как он достиг результатов, давших ему мировую известность, и какой он был человек — знают немногие. Мне казалось, что мое долголетнее сотрудничество с И. П. Павловым, сначала в качестве ученика, а затем в качестве его ассистента, завершившееся пожизненными дружескими отношениями, дает мне право и накладывает обязанность поделиться с другими тем, что я знаю о своем учителе. Мне казалось это тем более необходимым, что в настоящее время появилось не мало т. н. художественных биографий, где на основании биографического материала автор «пишет портрет» своего героя, стараясь создать определенный образ. Такие приемы таят в себе опасность создания легенды. Как современник Павлова, я только передам без прикрас то, что знаю о нем, и то, каким он мне представлялся в течении нашего 35-летнего знакомства.

В виду отрезанности от России, биографический материал о Павлове, находившийся в моем распоряжении, по необходимости был скуден. Большую часть биографических сведений о Павлове, в особенности, о ранних годах его жизни, собрал профессор В. В. Савич, ученик Павлова и мой покойный друг. Его статья о Павлове, написанная с большою любовью, была напечатана по русски в юбилейном сборнике, посвященном 75-летию И. П. Павлова*).

Еще в 1925 году В. В. Савич просил меня поместить его статью в каком нибудь американском научном журнале. Несмотря на мое желаніе помочь своему другу, я не мог этого сделать, так как И. П. Павлов был недоволен этой биографией. Он находил, что В. В. Савич коснулся в ней некоторых слишком интимных сторон его жизни, не подлежавших обнародо-

*) Государственное издательство, Ленинград, 1924.

ванию. Думаю также, что Ивану Петровичу был не совсем приятен тот психологический анализ, которому В. В. Савич подверг его в своей биографии. Анализ был в известной степени обоснован фактическим материалом, но ведь каждый из нас знает о себе много больше, чем любой биограф, и потому во многих случаях анализ мог казаться Павлову односторонним, да и едва-ли кому-либо может доставить удовольствие подвергаться психологическому анализу при жизни. Когда в августе 1929 года Иван Петрович со своим сыном, Владимиром Ивановичем, профессором физики в Петербургском Технологическом Институте, гостили у нас в Монтреале, я дал Ивану Петровичу прочитать небольшую заметку, которую я написал по просьбе П. Б. Струве для «Русской Мысли*) по поводу 75-летия Павлова. Ни в какое сравнение эта заметка не могла итти с основательной биографической статьей В. В. Савича. Тем не менее, прочтя ее и не зная, что я находился в соседней комнате, Павлов сказал сыну: «Ну, вот это совсем другое, чем то, что написал Владимир Васильевич». После смерти Павлова, конечно, весь биографический материал, собранный Савичем, может быть использован. Очень многое из того, что я включил в мои воспоминания, были рассказы самого И. П. Павлова. Он охотно делился своим прошлым с нами, работавшими в его лаборатории. Кроме того многое мы узнавали о Павлове от наших старших коллег, его товарищей.

I.

Иван Петрович Павлов родился 14/27 сентября 1849 года в городе Рязани. Отец его был священником в бедном приходе Николы Долготели. Чтобы понять особенности характера И. П. Павлова, которым он в значительной мере обязан своими научными успехами, духовное происхождение Павлова и обстановка, в которой он рос, дожны быть приняты во внимание.

Прежде всего, нужно отметить, что Павлов был чисто русского происхождения, так как наше духовенство составляло обособленный класс, члены котораго вступали в брак с незапамятных времен почти исключительно в пределах этого класса. Я подчеркиваю это обстоятельство не потому что являюсь последователем расовых теорий. Менее. чем где либо в Европе, расовое происхождение играло роль в России. Русское образованное общество не придавало значения нацио-

*) Книга X-XII, 1923-1924.

нальному происхождению своих членов и охотно принимало иностранцев в свою среду. Ценились, главным образом, культурное развитие людей и их духовный облик.

Мы русские никогда не сомневались в том, что Россия может дать и уже дала своих великих людей. Это мнение, однако, не всегда разделялось на Западе. Например, создание российской империи и ее необычайное культурное развитие многими приписывалось непосредственному вліянію немцев. Но в славянской натуре Павлова не было ни капли иностранной крови, если не считать скифской, сарматской, финской и крови племен, населявших когда-то восточную равнину Европы. Но ведь небольшие струйки этой крови циркулируют в каждом из нас; они хорошо смешались с потоком славянской крови.

Сто лет тому назад Россия была почти исключительно земледельческой страной. Жизнь сельского духовенства мало чем отличалась от жизни крестьян. Сельский священник сам и пахал, сам и косил и обрабатывал свой огород на церковной земле. При многосемейности бедность была большая.

Профессор Савич верно отметил, что этот неустанный земледельческий труд, при некотором умственном развитии, создал сильное духовно и здоровое физическое поколение. Характеры складывались не в искусственной и принижающей атмосфере чиновного быта, не в городских канцеляриях, а в постоянной и реальной борьбе с природой. Правда, епархиальный архиерей был истинным владыкою, но ведь когда-же он добирался до сельского батюшки. Засуха или ненастье, дождь или заморозки, нехватка зерна, павшая лошадь или корова, вот что было постоянно в мыслях русского сельского духовенства. Более энергичные выбивались из этих тяжелых условий и достигали лучшего положения. Прапрадед отца Ивана Петровича был пономарем в селе. Отец Ивана Петровича, Петр Дмитриевич, уже прошел курс в семинарии и начал службу священником в одной из бедных церквей Рязани, а кончил всеми уважаемым благочинным в одном из лучших ее приходов.

Петр Дмитриевич был, несомненно, человеком, выдававшимся из своей среды. Он обладал большой волей, был требователен к другим, но строг и к самому себе. На всю жизнь он сохранил умственные интересы и любовь к чтению. Иногда он даже покупал книги, что при скудости материальных средств было очень не легко. Иван Петрович нередко вспоминал завет отца читать каждую книгу, если она того стоила, два раза. С другой стороны, от своих предков-хлеборобов,

Петру Дмитриевичу передалась любовь к земле и физическому труду. В Рязани у него были огород и фруктовый сад, где он и работал.

Иван Петрович унаслѣдовал многие из этих черт своего отца. Нельзя сказать, чтобы у него, каким я его знал, была во всем непреклонная воля. Это не был, как говорится, «заворотень», который гнет и ломает для выполнения своего желания или мысли все то, что стоит на его пути. Нередко, в особенности во второстепенных вопросах, Павлов шел на компромисс. Но ничто не могло изменить его решения или ослабить настойчивости в преследовании поставленной себе цели, если Павлов был уверен в правоте своего убеждения или дела. Эта черта характера проходит красной нитью через всю жизнь Павлова. Она особенно ярко выявилась и в его научной работе и в его отношении к политическим событиям, сменившимся, как в калейдоскопе, в течении его долгой жизни. Но если Павлов убеждался в ошибочности своего воззрения, он не упорствовал, ради сохранения своего престижа, а принимал новую точку зрения. Однако, переход от одного взгляда к другому никогда в Павлове не совершался легко: требовалось немало фактических доказательств для того, чтобы перестроить его первоначальное убеждение.

Любовь к чтению также была унаследована или перенята Павловым от его отца. Иван Петрович не был «книжным человеком», который читает все и вся и знает немного обо всем. По своей специальности, по физиологии, он читал главным образом то, что имело то или другое отношение к его работе. Но он читал постоянно, редко в лаборатории, а главным образом дома, после после-обеденнаго отдыха. Читал он медленно, нередко перечитывая прочитанное. Чтение доставляло ему большое удовольствие. Он интересовался не только научной, но и художественной литературой. Даже летом, будучи на отдыхе, он всегда ставил себе задачей прочитать или перечитать какого-нибудь автора. То это был Шекспир, то Пушкин, то, после революции и обособления Украины, это был Костомаров. (В истории украинского народа, как она была изложена Костомаровым, Павлов нашел немного привлекательного). Однако, для лабораторного исследователя, как для самого себя, так и для своих учеников, Павлов считал наиважнейшим экспериментальную работу. Когда я написал свою первую монографию о пищеварительных железах и посвятил ее Павлову, в своем благодарственном письме (осенью 1913 года), которое, к сожалению, у меня не сохранилось, он предупреждал

меня не увлекаться чтением научной литературы и писанием научных книг. Он писал, что только очень немногие исследователи с'умели сохранить равновесие между экспериментальной и литературной работой, большинство же, вступив на научно-литературное поприще, переставали интересоваться лабораторией.

Хотя Павлов и получал большое удовольствие от чтения, но книга не была для него только средством развлечения: она удовлетворяла до известной степени его стремление узнать что-то новое и понять его. Это то, что он впоследствии сам называл «исследовательским инстинктом», и то, что несомненно направило его на путь научного изследования.

Третья характерная черта, которую Иван Петрович унаследовал от своего отца, была любовь к физическому труду, и именно труду на земле. Еще будучи мальчиком в Рязани, он один из всей семьи охотно помогал своему отцу в огороде и в фруктовом саду. Петербургская жизнь, которая охватывает период со времени поступления Павлова в С.-Петербургский Университет до его кончины, т. е. около 67 лѣт, конечно, не давала ему возможности заниматься ни огородом, ни фруктовым садом. Однако, в годы революции 1918-1920 годов и голода в Петербурге, Павлов с увлечением и упорством разводил огород на своей доле того участка, который был отведен служащим Института Экспериментальной Медицины на Аптекарском Острове.

В обычное же время Павлов удовлетворял эту страсть к работе на земле иным образом. Он еще ранней весной в городе высеивал в ящиках цветы. Сколько помнится мне, в особенности он любил левкои. Затем, во второй половине мая, он совершал одну или две экспедиции на свою дачу в Силломяги, в Эстляндии. Здесь он приготовлял клумбы и высаживал цветы. Павлов с такою жадностью набрасывался на любимое занятие, что нередко до того переутомлялся физически, что не мог спать ночью. Тем не менее, когда через день, по возвращении в Петербург, он рассказывал в лаборатории о своих садоводческих подвигах и мы его спрашивали, как он себя чувствует после такого физического напряжения, он неизменно отвечал: «Великолепно. От этой работы я получаю «мышечную радость», которая дает мнѣ больше удовлетворения, чѣм умственная радость». И если кто-нибудь из работающих в лаборатории выражал по этому поводу удивление, Павлов добавлял: «Да, да то так, я по натуре больше мужик, чем профессор».

Эту любовь к физическому труду Павлов сохранил до глубокой старости. В письме к Вседонецкому Слету Мастеров Угля от 7 января 1936 года, т. е. меньше чем за два месяца до смерти (27 февраля 1936 г.) Павлов пишет*):

> Уважаемые горняки. Всю мою жизнь я любил умственный труд и физический, и, пожалуй, даже больше второй. А особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь хорошую догадку, т. е. соединял голову с руками.
>
> Вы попали на эту дорогу. От души желаю Вам и дальше двигаться по этой единственной, обеспечивающей счастье человека, дороге.
>
> 7 января, 1936 г. С искренним приветом
>
> Колтуши. И. Павлов, академик.

II.

Семья благочинного Павлова была многочисленная. Дети разделялись на две группы. Старшую группу составляли: Иван, Дмитрий и Петр, все погодки и все крепкого здоровья. Вторую группу составляли самые младшие дети в семье: Сергей и Лидия. Промежуточная группа в шесть человек вся вымерла от инфекционных болезней. Это обстоятельство, в связи с почти непрерывным ношением, рождением и кормлением детей, сделало то, что мать Ивана Петровича (тоже происходившая из духовного звания) из крепкой женщины стала болезненной. Возможно, что вслѣдствии этого двое младших детей не отличались ни здоровьем, ни кипучей энергией, которыми были надѣлены три старшие брата. Иван, Дмитрий и Петр, окончив духовную семинарию в Рязани, поступили в С.-Петербургский Университет. Дмитрий избрал своей специальностью химию и по окончании Университета и оставлении при нем, получил место ассистента там-же. Впоследствии он был профессором химии в Ново-Александрийском Институте Сельского Хозяйства(под Варшавой). О Петре у меня нет сведений. Кажется, что он погиб в ранней молодости. Младший брат, Сергей, по окончании духовной семинарии не пошел дальше, а сделался священником.

---

*) И. П. Павлов. Полное собрание трудов. Том I, стр. 31.

Детство Иван Петрович провел вместе со своими двумя братьями так, как его проводили и проводят большинство детей в провинциальных городах, т. е. жил на свободе, играя, когда было время со своими сверстниками на улице в бабки и другие игры. Проф. Савич приводит несколько эпизодов из ранних лет жизни Павлова. Только 11-ти лет он поступил вместе с братом Дмитрием во 2-й класс Рязанского Духовного Училища. Это позднее поступление об'ясняется тем, что в возрасте около 9-ти лет, мальчик упал с забора на кирпичный пол, разбился и долго хворал. Одно время опасались даже, что повреждены его легкие. (Между прочим, легкие у Павлова на всю жизнь остались слабым местом в организме. Вообще он отличался прекрасным здоровьем, но тем не менее он перенес несколько пневмоний за всю жизнь и умер от пневмонии).

По окончании Духовного Училища братья Павловы поступили в Рязанскую Духовную Семинарию. Иван Петрович с большой любовью вспоминал семинарию и нередко рассказывал нам в лаборатории об особенностях преподавании в ней. Как это ни странно было слышать, но факт оставался фактом, что в шестидесятых годах девятнадцатого столетия духовные семинарии, в отношении некоторых педагогических приемов. были передовыми учреждениями. Они чужды были той формалистики, которой было проникнуто преподавание в классических гимназиях и реальных училищах, даже в мое время, т. е. в 90-х годах прошлого столетия. Семинария имела в виду не среднего ученика, который должен был в одинаковой мере преуспевать по всем предметам, а индивидуальные способности и наклонности каждого мальчика. Если такой мальчик выдвигался знанием и любовью к какому-нибудь одному предмету, то на недохватки по другим смотрели сквозь пальцы. Как много Россия обязана таким безвестным учителям Павлова, как Никольский внушавший своим ученикам любовь к русской литературе, или Орлов, преподававший такой сухой предмет, как греческий язык, но умевший пробудить лучшее в своих учениках. Многие из преподавателей семинарии были сами молодыми людьми и переживали под'ем 60-х годов. Семинаристы старших классов зачитывались «Современником», «Русским Словом» и др. «толстыми» журналами. Наибольшее влияние на молодежь того времени имел Писарев. Именно увлечение Писаревым побудило Павлова избрать, как предмет изучения в университете естественные науки. Впечатления, получаемые в молодые годы, необычайно сильны и оставляют

по себе неизгладимый след на всю жизнь. Так, например, до конца жизни Павлов сохранил почти восторженное отношение к учению и к личности Дарвина. А несомненно, что с Дарвиновской теорией естественного отбора Павлов впервые познакомился из статей Писарева.

Все то новое, что после тяжелого режима Николаевской эпохи сразу свалилось на неподготовленное к тому русское общество, конечно, порождало бесконечные споры. Профессор Савич картинно описывает, как группы семинаристов, идя по улицам сонной Рязани, страстно обсуждали всевозможные вопросы. Можно легко себе представить, что это был за крик, хохот, а иной раз, вероятно, и чертыхание. Даже придя в гости, молодежь ни на минуту не прекращала спора. К ним присоединялись хозяева и время незаметно уходило на ни к чему не приводившее и никого ни в чем ни убеждавшее словопрение. И. М. Сеченов в своей знаменитой книге «Рефлексы головного мозга», написанной в начале шестидесятых годов, сравнивал такие споры с трескучим фейерверком, по окончании которого у зрителя остается только смутное воспоминание о чем-то, очень шумном и ярком, но крайне неопределенном.

Иван Петрович выделялся среди спорщиков своею страстностью и меткостью замечаний. И в зрелые годы он сохранил любовь к спору и нередко говаривал, что для того, чтобы успешно спорить, не надо позволять противнику опомниться, а «бить его на голову», все время самому владея разговором. Нередко в обыкновенном разговоре, Павлов перебивал собеседника словами: «нет, слушайте, слушайте», и развивал свою собственную мысль. Не смотря на такой азарт в споре, Павлов совершенно терялся, когда ему приходилось встречаться с нахалом. Он не умел дать такому наглецу должного отпора, не находил, что ему ответить, молчал или говорил незначущие вещи. Зато на другой день в лаборатории. Павлов изливал все свое негодование на обидчика, рассказывая о происшедшем. Такая как-бы уступчивость наглому напору об'ясняется чрезвычайной застенчивостью Павлова. Даже при новых знакомствах он несколько терялся.

К счастью для русской науки во время пребывания Павлова в духовной семинарии семинаристам было дано право поступать в Университет до полного окончания семинарского курса. Как известно, много воспитанников духовных семинарий воспользовались в ту эпоху этим правом. Одним из них был и Павлов. Вместе с двумя товарищами Павлов приехал в

1870 году в Петербург и поступил на естественный факультет Петербургского Университета. Через год к ним присоединился второй брат Ивана Петровича — Дмитрий. Рязанцы держались вместе и жили бедно. Обедали по кухмистерским, платя 15-20 копеек за два блюда с неограниченным количеством хлеба.

На лето братья Павловы уезжали к отцу в Рязань. Охоту, которой увлекались братья Ивана Петровича, он не любил, но зато со страстью отдавался игре в городки. Эта страсть сохранилась у него на всю жизнь. Много позже, каждое лето на даче в Эстляндии, игра в городки была одним из главных развлечений. Когда подросли дети Ивана Петровича, то они и их приятели составляли группу «детей», которые нередко одерживали верх над «отцами», т. е. более пожилыми игроками, в число которых входил и сам Иван Петрович

Доктор W. H. Gantt, работавший в лаборатории Павлова с 1923 по 1929 год, пишет, что он был свидетелем того, с каким неподдельным и юным воодушевлением семидесятисемилетний Павлов играл в городки в 1926 году. Его выносливость и мышечная сила были необычайны. Он не только обыгрывал людей, бывших вдвое моложе, но когда, после трех дней игры по восьми часов в день, городковый турнир окончился, только у одного Павлова осталось еще достаточно энергии, чтобы предложить его возобновление на четвертый день.

III.

Наибольшее влияние в университете оказал на Павлова профессор физиологии Илья Цион. Это был прекрасный ученый с европейской репутацией, блестящий лектор и физиолог, обладавший совершенно исключительной экспериментальной техникой. Он необычайно быстро и искусно производил операции во время опытов над животными. Верность его глаза и ловкость рук были необыкновенныя. Павлов рассказывал, со слов Циона, что когда этот последний был где-то в Вене на представлении знаменитого фокусника, то привел артиста в большое смущение тем, что точно повторил его фокус. Фокуснику завязывали определенным образом руки и он быстро освобождался от опутывавших его веревок. То же самое сделал и Цион.

Между прочим Цион написал и издал первое в высшей ст п ни и ное руководство по ксперимента льной физиологии с атласом. Посл того было издано много подобных руководств, некоторы во многих томах, однако, и по сию пору, иной раз

приходится обращаться к книге Циона за точными указаниями, как произвести тот или иной опыт.

Цион настолько увлек молодого человека своим предметом, что еще будучи студентом 3-го курса Павлов решил сделаться физиологом. Подобно Циону, Павлов был исключительно искусным оператором. Наблюдателя всегда поражала точность хирургических приемов Павлова, быстрота, отсутствие лишних движений при манипулировании и деликатное обращение с тканями. Профессор Гельсингфорского Университета Robert Tigerstedt писал в юбилейном томе в честь 25-летия научной деятельности И. П. Павлова, что Павлов производит так быстро какую-либо простую операцию, что он кончает ее, когда зритель думает, что он ее только что начал.

По предложению Циона Павлов, еще будучи студентом Петербургского Университета, произвел совместно с М. М. Афанасьевым свою первую экспериментальную работу о нервах поджелудочной железы. Работа была удостоена золотой медали и задержала на один год окончание Павловым университета. Он получил свой диплом в 1875 году. Хотя тема работы была предложена Ционом, но руководить ее выполнением Цион уже не мог, так как еще в 1872 году был избран Конференцией Медико-Хирургической Академии профессором физиологии и перешел в это учреждение.

Когда в 1875 году Павлов окончил Петербургский Университет, проф. Цион предложил ему место ассистента в своей лаборатории в Медико-Хирургической Академии. Павлов решил воспользоваться этим предложением и соединить ассистентство с прохождением медицинского курса, для чего он поступил на 3-й курс Академии. Однако, план этот осуществился только на половину: в Академию Павлов поступил, но сдѣлаться ассистентом у Циона он не смог, потому что Циону пришлось уйти из Академии.

По увольнении в отставку проф. Циона, на кафедру физиологии в Медико-Хирургической Академии был выбран конференцией Тарханов (если не ошибаюсь князь Тархан-Моуравов), один из учеников Сеченова. Это был умный и крайне порядочный человек, всегда элегантно одетый, хороший, но довольно манерный лектор, к сожалению, почти не оставивший следа в науке.

Когда Тарханов получил кафедру физиологии, он предложил Павлову место ассистента, но Павлов отказался от этого предложения, хотя и был в крайне затруднительных обстоятельствах. Проф. Савич в своей статьѣ о Павловѣ пишет, что

«Павлов решительно отказался только потому, что Тарханов не задолго перед этим покрыл своим авторитетом промашки лица, имевшего вес и занимавшего видный пост, в ущерб истине». Я не знаю, что проф. Савич имел в виду, когда писал это, но мне Павлов рассказывал о следующем инциденте с Тархановым, происшедшем на одном из научных заседаний в Петербургском Университете. Проф. Овсянников и его ассистент Чирьев демонстрировали опыт на анестезированной собаке, который должен был показать эффект мышечной работы на некоторые функции в организме. Опыт состоял в том, что задние ноги собаки, лежавшей на спине, были привязаны к колесу, которое вертели. Ноги собаки при вращении колеса сгибались и разгибались. Павлов, тогда еще студент, встал и сказал, что в этом (поистине нелепом!) опыте никакой работы мышцы не совершали, так как движения ног животного были стент Чирьев демонстрировали опыт на анестезированной состоянии под влиянием наркоза. Таким образом выводы докладчиков не могут относиться к действительно сокращающимся мышцам. По словам Павлова, Овсянников был задет за живое замечаниями какого-то студента, но не нашелся, что ответить. Вот тут-то на его защиту и выступил Тарханов, и в мало убедительной форме старался доказать, что мышцы в этом опыте все-таки немного сокращались. Был-ли этот инцидент причиной отказа Павлова взять ассистентское место у Тарханова или что-либо другое, я не знаю, но несомненно одно, что на такого страстного и неподкупного искателя научной истины, как Павлов, Тархановское кривление душой и заискивание перед человеком, который чуть-ли уже не тогда был членом Академии Наук, произвело отталкивающее впечатление. Впоследствии отношения между Павловым и Тархановым были вполне корректные, пожалуй даже дружественные. Сколько я знаю, к Павлову, как ученому, Тарханов относился с большим уважением. Он нередко пользовался услугами Павловской лаборатории и брал для демонстрации на публичных лекциях, которые он часто читал по выходе из Академии, собак с постоянными фистулами пищеварительного канала из Института Экспериментальной Медицины.

Со своей стороны Павлов всегда говорил о Тарханове, как об умном человеке, что, однако, не мешало ему подсмеиваться над Тархановскими научными приемами и самими его исследованиями. В особенности Павлов критиковал Тархановскую манеру доверять другим производство опытов, не входя самому во все детали экспериментального исследования.

Павлову все-таки удалось устроиться ассистентом при Академии во время прохождения ее курса, но не в медицинском ея отделе, а в ветеринарном, в физиологической лаборатории проф. Устимовича. В 70-х годах прошлого столетия еще существовал при Медико-Хирургической Академии ветеринарный отдел, позже упраздненный. Павлов пробыл ассистентом в лаборатории Устимовича с 1876 по 1878 год. Здесь он начал несколько самостоятельных работ, частью по физиологии кровообращения, частью по физиологии пищеварения. (Между прочим он разработал здесь новый метод оперативного положения постоянной фистулы поджелудочной железы, опубликованный им только в 1879 году).

Работы по кровообращению, произведенные Павловым в эти годы, были важны не только в научном отношении, но и в практическом для самого Павлова. Его работы по кровообращению уже тогда обратили на себя внимание, а его знакомство с постановкой опытов над сердечнососудистой системой дали право доктору Я. Я. Стольникову, имевшему отношение к академической клинике знаменитого клинициста С. П. Боткина, рекомендовать своего друга Павлова в качестве заведующего физиологической лабораторией при клинике Боткина.

В бытность ассистента в Ветеринарном Институте Павлов, несмотря на скромность своего бюджета, с'умел с'ездить заграницу. Лето 1877 года он провел в Бреславльской физиологической лаборатории проф. R. Heidenhain'a. Heidenhain интересовался вопросами пищеварения и Павлов сделал у него работу о следствиях перевязки поджелудочной железы у кролика*). Эта была первая напечатанная работа Павлова.

IV.

Павлов окончил Медико-Хирургическую Академию 19-го декабря 1879 года с награждением золотою медалью. По конкурсу он был оставлен для усовершенствования при Академии (1880—1884), а затем послан в научную заграничную командировку на два года (1885—1886).

Его решение сделаться физиологом оставалось неизменным, но причисление к кафедре физиологии проф. Тарханова, в качестве институтского врача, исключалось в виду прежнего

*) Folgen den Unterbindung des Pankreasganges bei Kaninchen. Pflueger's Archiv, Band 16, p. 123. 1878.

отказа Павлова занять в этой лаборатории ассистентский пост и его критического отношения к самому Тарханову. Счастливое стечение обстоятельств, приглашение проф. С. П. Боткина, помогло Павлову найти условия работы, в которых его талант экспериментального исследователя мог вполне развиться.

С. П. Боткин заведывал академической (факультетской) терапевтической клиникой в Военно-Медицинской Академии. он был наиболее выдающимся русским клиницистом своего времени и был представителем, так называемой, «научной медицины», которая стремилась и стремится заменить эмпиризм в медицине точным знанием физиологических и патологических отношений в организме. Он старался контролировать клинический опыт экспериментальной разработкой медицинских проблем. Его собственный интерес к физиологии не угасал. В противовес этому направлению в Московском Университете в тоже самое время существовала знаменитая школа проф. Захарьина, но с исключительно клиническим направлением.

В виду тех задач, которые ставил себе Боткин, ему, конечно, нужна была лаборатория, где могли бы производиться эксперименты на животных, и нужен был руководитель, на ответственности которого лежало бы ведение работ многочисленных учеников. Такую лабораторию Боткин и организовал при своей клинике, если этим именем могло называться маленькое деревянное строение в саду клиники Виллие, мало приспособленное к ведению научных исследований, чрезвычайно бедно обставленное и имевшее из более сложных физиологических приборов только один старый кимограф Людвига.

Заведывание этой лабораторией было всецело поручено Павлову, так как в это время сам Боткин, перегруженный другими обязанностями, уж не вел лабораторной работы. Это по истине поразительный факт: только что окончивший студент*), новоиспеченный институтский врач, который сам бы должен был у кого-нибудь учиться, делается руководителем научных работ (Chef des travaux) в самой знаменитой клинике внутренних болезней в России.

Работа в Боткинской лаборатории оказала огромное влияние на научное развитие Павлова. Общение с таким выдаю-

*) Л. А. Орбели пишет во введении к полному собранию трудов Павлова, Москва-Ленинград, 1940, том I, стр. 12, что Павлов «еще будучи студентом» был приглашен Боткиным принять руководство во вновь организованной им лаборатории. У меня нет возможности проверить этот факт.

щимся человеком, как Боткин не могло не отразиться на научных взглядах Павлова. Боткин придавал исключительно важное значение нервной системе в развитии болезненных явлений и роли ненормальных рефлекторных влияний в возникновении патологических процессов. Так, например, он старался всегда найти «внутренную» причину для какого-либо кожного заболевания, полагая, что ненормальное состояние кожи может быть в некоторых случаях отраженным, возникая в результате скрытого страдания какого-либо внутреннего органа, а не чисто местным процессом. Это только один пример того «невризма», которым были проникнуты научные концепции Боткина. Также и у Павлова — через всю его научную деятельность проходит эта тенденция «невризма». Она у него была так сильна, что когда, приблизительно, в середине его научной карьеры было точно установлено, что кроме влияния друг на друга через нервную систему, органы тела могут сноситься друг с другом через кровь (это так называемый «гуморальный» способ передачи раздражений), Павлов оставил работу в области физиологии пищеварительных желез, где это было доказано с особою убедительностью, и перешел к исследованию функций центральной нервной системы, где в то время «гуморизм» еще не имел приложения.

Влияние Боткина и его клиники сказалось еще и в другом. В течение всей своей жизни, Павлов не уставал повторять о настоятельной необходимости кооперации лаборатории и клиники. Он часто говорил, что считает исключительно важным для физиолога пройти через медицинскую школу. Его мысль могла бы быть формулирована так: «Наша экспериментальная фантазия и наше поневоле грубое манипулирование над живою тканью ни в какой мере не могут сравниться с разнообразием и тонкостью тех повреждений, которые может произвести в организме патологический процесс. Клиника учит нас, как нужно подходить к эспериментальному разрешению физиологических проблем». Павлов, конечно, не отдавал предпочтения клиническому исследованию перед лабораторно-экспериментальным, но уже будучи на склоне лет, он сам дал пример того, как важно для физиолога быть в контакте с клиникой. Когда Павлову было уже больше 75 лет, он стал изучать практически психиатрию в больнице, что ему было нужно для лучшего уяснения своих исследований над экспериментальными неврозами у собак.

Павлов с благодарностью вспоминал время, проведенное в Боткинской лаборатории. Я помню, что когда я сделался его

ассистентом в Институте Экспериментальной Медицины и мне приходилось тратить много времени, помогая другим работающим в ущерб моей собственной работе, Павлов в утешение мне сказал, что он с огромным удовлетворением вспоминает время, когда он работал в лаборатории Боткина не для себя, а для других. Это расширило его экспериментальный опыт и дало ему неоценимую практику в руководстве физиологическими и фармакологическими работами. Повидимому, он говорил это не только мне одному, потому что проф. Савич упоминает о том же.

Заведывание Боткинской лабораторией сблизило Павлова со многими молодыми докторами, работавшими в ней. Некоторые из них, как например, Н. П. Симановский, Г. А. Смирнов и др. сделались его друзьями.

За бескорыстную преданность делу, жизнь отплатила добром Павлову. Много позже, в 1890 году при выборах на кафедру фармакологии в Военно-Медицинской Академии, заведывание Боткинской лабораторией было одним из обстоятельств, которое помогло Павлову получить эту кафедру. Но несомненно, что помогая ученикам Боткина, Павлов думал меньше всего о какой-нибудь материальной для самого себя выгоде, в какое угодно отдаленное время.

До своей командировки заграницу, Павлов не только помогал другим в их работах, но сделал и свое собственное чрезвычайно важное экспериментальное исследование об усиливающих нервах сердца. Эту работу Павлов представил в качестве диссертации на степень доктора медицины и получил эту степень 23 мая 1883 года.

Сущность этого исследования заключалась в установлении совершенно нового факта, а именно, что различные веточки сердечных нервов при их раздражении индукционным током способны производить не только замедление или ускорение биений сердца, что было известно и раньше, но их усиление или ослабление. Таким образом, впервые на теплокровном животном (собаке) было установлено, что нервы сердца оказывают на него не только ритмическое, но и динамическое действие. Одновременно с Павловым и независимо от него, к тем же выводам, работая над сердцем черепахи, пришел известный английский физиолог W. H. Gaskell. Это были открытия первостепенной важности и в свое время трактовались, как установление существования особых усиливающих и ослабляющих нервов сердца, в придачу к известным уже тогда замедляющим и ускоряющим нервам. Современные пр д-

ставления о действии нервов на сердце отличаются от тех, которые имели на этот счет Павлов и Gaskell, но факты, установленные ими, остались непоколебленными.

Техника опытов для демонстрации на собаке, анестезированной тем или иным способом, различного действия сердечных нервов чрезвычайно трудна. Для неспециалистов могу сказать, что трудность опыта состоит не только в том, чтобы вскрыть всю грудную клетку и удалить ее переднюю часть с наименьшею потерею крови и найти тоненькие нервные веточки около самого сердца, но и в том, чтобы уменьшить сколько возможно неизбежный шок, производимый такой операцией. Павлов достигал этого чрезвычайно быстрым, ловким и в то же самое время деликатным манипулированием.

Немного меньше, чем через год после защиты диссертации, Павлов был сделан приват-доцентом по физиологии при Военно-Медицинской Академии (24 апреля 1884 г.), а приблизительно через 8 месяцев он поехал в двух-годичную заграничную командировку.

Здесь, в Боткинской лаборатории, у молодого Павлова совершенно ясно определились те черты одухотворенного и неподкупного научного исследователя, которые он сохранил на всю свою долгую жизнь. Я уже упоминал выше то, как Павлов оценивал свое участие в работе тех, чьими исследованиями он руководил. Его всегда интересовало только то, как разрешить ту или иную научную проблему. Поэтому никакие посторонние соображения, а в особенности соображения практического свойства, не играли при этом роли. Это вовсе не значит, что Павлов был лишен практического смысла в жизни: он очень хорошо разбирался в трудных делах и положениях. Но если возникал конфликт между практическими требованиями жизни и науки, Павлов без всяких колебаний становился на сторону последней.

Для иллюстрации отношения Павлова к его научной работе, привожу несколько эпизодов из его жизни, рассказанных им самим.

Первый эпизод относится к его докторской диссертации. Все, окончившие Военно-Медицинскую Академию, получали обер-офицерский чин титулярного советника. Степень доктора медицины автоматически переводила в разряд штаб-офицеров, давая чин коллежского ассесора и, что много важнее, некоторое увеличение жалованья. Павлов женился в 1881 году, т. е. на второй год заведывания Боткинской лабораторией. Жалованье институтского врача в 50 рублей в месяц, даже и

по тем временам, было более чем скромным. Можно себе представить, до чего трудно было жить Павлову с ребенком (старший сын Владимир), который вскоре у них появился. Павлов рассказывал, что много раз жена со слезами на глазах просила его ускорить получение степени доктора медицины, говоря, что он помогает стольким докторантам, а для себя ничего не хочет сделать. Но Павлов остался непреклонен. Он хотел сделать хорошую работу для своей диссертации, а главное, быть уверенным в своих результатах. Все это требовало времени, и только, когда он сделал первоклассное открытие усиливающих нервов сердца и был абсолютно уверен в своих данных, он представил это исследование в 1883 году в качестве диссертации на степень доктора медицины.

Другой случай, рассказанный Павловым, был такой. Он ставил опыты с одним из докторантов. Результаты получались отчетливые, но нужно было сделать контрольный опыт, который должен был подтвердить основные факты, но, конечно, мог и показать, что положительные результаты зависели от случайных причин. Докторант (Павлов не назвал его имени) пришел в ужас, поняв ясно, что плоды его трудов и самая степень доктора медицины со всеми сопряженными с нею благами могут погибнуть от этого контрольного опыта. Он взмолился и просил Павлова не делать этого предательского опыта. Он взмолился и просил Павлова не делать этого предательского опыта. Нужно знать Павлова, чтобы понять с каким неподдельным негодованием он отверг такое предложение и с какою яростью на следующее утро он ставил этот опыт. По счастью для докторанта, контрольный опыт не опроверг, а наоборот подтвердил результаты, полученные до того и диссертация была спасена. Никогда, за всю свою жизнь. Павлов не пошел на компромисс, который хотя бы самым отдаленным образом мог послужить в ущерб научной истине...

Проф. Н. Я. Чистович, описывая время совместной его работы с Павловым в Боткинской лаборатории*), говорит следующее:

«Вспоминая это время, я думаю, каждый из нас ощущает чувство живейшей признательности нашему учителю не только за талантливое руководство, но, главное, за тот исключительный пример, который мы видели в нем лично, пример человека, всецело преданного науке и жившего только наукой, несмотря на самые тяжелые материальные условия, буквально

*) См. «Сборник, посвященный 75-летию И. П. Павлова» (Ленинград, 1925).

нужды, которую ему приходилось переносить со своей героической «дражайшей половиной» Серафимой Васильевной, умевшей его поддержать в самые трудные минуты жизни. Да простит мне Иван Петрович, если я расскажу некоторые эпизоды из этого, давно прошедшего времени».

«Одно время Ивану Петровичу приходилось переживать полное безденежье, он был вынужден разлучиться с семьей и жил один в квартире своего приятеля Н. П. Симановского. Мы, ученики Ивана Петровича, знали про его трудное материальное положение и задумали ему помочь: пригласили его прочесть нам серию лекций об иннервации сердца и, собрав в складчину денег, передали ему как-будто на расходы по курсу. И ничего у нас не вышло: он на всю сумму накупил животных для этого курса, а себе ничего не оставил».

«Был и такой случай. Возвратившись из заграничной командировки, Иван Петрович имел льготный год оставления при Академии. Год прошел, а пристроиться при Академии Ивану Петровичу не удалось. У С. П. Боткина при кафедре не было вакантнаго места, а было таковое у проф. В. А. Манассеина и нужно было пойти к Манассеину попросить его об этом месте. Мы дружно насели на Ивана Петровича, чтобы он сделал этот шаг, но он упорно отказывался, находя, что это неловко. Наконец мы его уломали и он пошел, но, не дойдя до кабинета Манассеина, свернул домой. Тогда мы уже приняли более энергичные меры, уговорили его пойти снова и послали служителя Тимофея присмотреть за ним, чтобы он снова не свернул с дороги».

Этот последний случай, описанный проф. Чистовичем не только свидетельствует о том, что Павлов проявлял минимальную заботу в отношении материальных благ, но также о его крайней застенчивости.

Несколько позднее, в конце 80-х годов, Павлов был забаллотирован на выборах на кафедру физиологии в С.-Петербургском Университете. Профессором был избран Н. Е. Введенский. Эта крупная неудача мало тронула Павлова потому, что, как он сам рассказывал, в это время он был совершенно поглощен наблюдениями над превращением куколок в бабочек. Как раз на другой или на третий день после поражения в Петербургском Университете Павлов, к своему ужасу, заметил, что легкие звуки, исходившие от коконов, в которых шевелились насекомые, прекратились. Он подносил коконы к уху, напряженно прислушивался и не мог уловить ни малейшего намека на царапанье. Очевидно, насекомые были мертвы. Так оно и

оказалось. Квартира, в которой жили Павловы, была очень сухая и недостаток влаги в воздухе погубил бабочек.

Нужно-же было случиться так, что в момент этого печального открытия в комнату вошла Серафима Васильевна, — жена Ивана Петровича, и стала сетовать по поводу неудачи в Петербургском Университете. Была надежда, что для Павлова откроется широкое поле для его научной деятельности, а семья выйдет из того невыносимого материального положения, в котором она находилась так долго, и эта надежда рухнула. Кто не поймет состояния жены и матери, замученной нуждою, какою бы прекрасною женою и матерью она ни была. Но Павлов на это ответил (привожу по памяти его подлинные слова): «Ах, оставь меня, пожалуйста. Тут случилось действительное несчастье, погибли все бабочки, а ты беспокоишься из-за какого-то вздора». И это, конечно, была не поза, а действительное горе истинного научного исследователя.

Б. П. Бабкин.

РАССКАЗ О ХУДОЖНИКЕ В. Э. БОРИСОВЕ-МУСАТОВЕ

1.

С именем Борисова-Мусатова у меня связано воспоминание о голубом небе и ярком солнце над приволжским городом Саратовом; о его гористых улицах по одну сторону Волги и широких степных пространствах по другую.

Я прибыл в Саратов впервые в феврале 1899-го года. До тех пор я прожил год в Берлине и после Берлина город с его деревянными домами и заборами показался мне игрушечно малым и провинциальным. Хотя мне, как музыканту, мечтавшему о большой художественной дороге, не нравилась эта тишина, но я решил последовать совету моего бывшего профессора В. И. Сафонова и взять освободившееся место в Саратове. «Ничто так не формирует артиста, как самостоятельная работа в провинции», писал мне Сафонов.

2.

Начал знакомиться с городом. Узнал, что в нем есть музей, так называемый, Радищевский музей, а при нем Боголюбовское рисовальное училище; есть городской театр с чередующимися сезонами оперы и драмы; Народный театр и Народная аудитория, а также Общество изящных искусств.

Посетил музей. Помещение маленькое, тесное, но нашел большие ценности итальянского, французского и голландского искусства, развешанные без всякой системы. Прочел об'явление, что открывается выставка картин местных художников. Посетил ее. Вся имена мне неизвестные: Коновалов, Корнеев, Боев, Мусатов. Картины мало интересные. Но вот небольшое полотно маслом, — голова девушки на ярком солнце. В каталоге — название: «Девушка с агавой» В. Мусатова. Я смотрел на нее и не мог оторваться. А рядом другая картина того же Мусатова: на зеленой траве, на коленях, спиной к зрителю сидит голый мальчик с красной феской на голове. На спине его пятна желтой краски и бело-голубые полосы. Все это загадочно и привлекательно.

В местной газете я прочел отзыв о выставке. Касаясь вещей Мусатова, рецензент становился веселым и развязным: «Девушка с агавой» похожа на прокаженную, у «Мальчика в феске» — яичница на спине и т. п.

3.

На лето я уехал к себе, на юг. А осенью к началу занятий вернулся в Саратов. Полудиллетантская работа в Музыкальном училище, где я служил, меня не удовлетворяла. Я был полон сил и желания работать и, несмотря на скромный бюджет школы, старался оживить ее деятельность: организовал камерные концерты, лекции по истории музыки. По моей инициативе были открыты классы гармонии и стали устраиваться изредка симфонические концерты.

Бывая во всех слоях местного общества, я встретился в одном доме с директором Радищевского музея и Боголюбовского рисовального училища, В. И. Рупини. Несмотря на итальянскую фамилию, он был чистокровный русский, сын крепостного певца, которого помещик из Репина перекрестил в Рупини. Я стал распрашивать его о художнике Мусатове и получил ответ, что это «большой чудак, бог знает, что пишет». Вообще Рупини не любил говорить об искусстве. Отвечал неохотно на мои вопросы и на лице его изображалась скука.

Мусатова я встретил в другом доме. Он сидел молча, и когда мне назвали его фамилию, то снова прибавили «чудак»! Это был горбатый, совсем маленький человечек с небольшой русой бородкой. Он сидел неподвижно, подперши голову длинными руками. На одной руке был какой-то тяжелый браслет и в белых красивых пальцах его руки и во всей его внешности было нечто аристократическое и болезненное.

Я подошел к нему и заговорил с ним об искусстве. Он оживился. Но когда я выразил желание увидеть его мастерскую, он как-то сжался и ответил, что как-нибудь пригласит меня. Однако, когда мы встретились во второй раз, на концерте, в котором я выступал, он несколько более дружелюбно отозвался на мое желание посетить его. Мы условились, что я приду к нему в ближайшее воскресенье.

4.

Это было весной 1900 года. Чтобы попасть к Мусатову, надо было итти по Вольской улице вниз, по спуску к Волге. Почти в конце улицы на солнечной стороне, или как говорили

в Саратове, на «красной стороне», стоял двух-этажный кирпичный красный дом, с фасадом, выходившим на площадь, которая называлась Плац-парадом. Здесь помещались артиллерийские казармы и пушки стояли прямо на площади, с дулами, направленными на дом Мусатова. При доме был сад, а в глубине его стоял деревянный флигель, где собственно и жил художник с сестрой.

Когда я подошел к двери и дернул звонок, то раздался резкий звук, но никто не отозвался. Откуда-то из глубины я услышал отчаянный лай собаки. Он длился долго. Наконец, издалека я слышу — «Кто там?» Открывает двери сам Мусатов, но прежде, чем меня приветствовать, старается успокоить свою собаку, Мушку.

В гостиной, которая собственно и была его «мастерской», на стенах были развешаны его этюды и картины, а на мольберте, в глубине ее, стоял недавно законченный «Портрет художника и его сестры».

Это большое полотно, написанное на воздухе, изображало горбатого художника в блузе, а рядом с ним сидела девушка лет 15-ти, в кринолине, с открытой шеей и голыми руками. Возле нее мраморный самоварный столик и на нем несколько красных роз. Все это на фоне кустов с широкими листьями. Написана была вещь широкими мазками, в голубых тонах. Мрамор и розы переданы великолепно, во всем чувствуется весенняя радость.

Хотя я не был знатоком в живописи, несмотря на мою любовь к ней, но я инстинктивно почувствовал, что передо мной большой художник. Я почувствовал симпатию к этому маленькому человеку и стал жаловаться ему на диллетантскую атмосферу Училища, в котором работал, говорил о своих мечтах и стремлениях. В ответ Мусатов стал говорить и о своих печалях: Нет хороших моделей, нет натурщиц, нет товарищей, с которыми можно было-бы поспорить об искусстве, о том, что делается в Париже, в Москве. В его голосе была теплота и искренность. Мы решили, что будем видеться чаще.

В следующее воскресенье он пришел ко мне, и мы скоро стали друзьями. Нас связывала моя любовь к живописи и его — к музыке, которую он «обожал». Он говорил, что так любит музыку, что если-бы не был художником, то стал-бы музыкантом.

5.

Иногда я приезжал к нему с инструментом и играл ему. Его сестра выходила к нам и молча слушала. Она была до дикости застенчива и обычно убегала, когда я приходил.

Сестра была единственным другом Виктора Эльпидифоровича. Она следила за его здоровьем, позировала ему по целым часам в разных костюмах и неудобных позах. Достать модель в Саратове было почти невозможно.

Однажды Мусатову нужна была модель мужчины. Случайно он рассказал об этом своему знакомому офицеру. «Вам мужчина нужен? да сколько угодно». Через несколько дней, возвращаясь домой, художник увидел на дворе множество солдат. Унтер-офицер скомандовал: «смирно!» и отрапортовал: «Так что их благородие поручик Н. Н. прислал Вам взвод и приказал выбрать, кого желаете».

В поисках натурщицы Мусатов попытался дать об'явление в газете. В ответ получил письмо от какой-то женщины, которая охотно соглашалась позировать в костюме и без костюма. Мусатов отправился по указанному адресу, где его встретила молодая женщина, выразившая крайнее удивление его приходу. А когда Мусатов показал ей письмо, она ударилась в слезы и воскликнула: «это он, подлец, мстит мне»! Она узнала почерк своего знакомого, который ухаживал за ней, хотел жениться и получил отказ.

6.

Однажды, я встретил художника на каком-то студенческом вечере, на который он сопровождал свою сестру. На этом вечере я много танцовал с одной высокой блондинкой, пышной и стройной, в красном платье, в локонах. Я заметил, что Мусатову блондинка понравилась и спросил его, не хотел-ли бы он ее нарисовать. Он ответил положительно. Я их познакомил. Я старался вызвать в ней интерес к нему, как художнику, играя на ее женском тщеславии: я говорил ей, что ее портрет будет выставлен в Москве и в Петербурге, воспроизведен в газетах, и что она станет знаменитостью. С трудом удалось мне уговорить ее притти посмотреть на его картины. Она пришла в сопровождении своей маленькой сестры, но в картинах ничего не поняла. На лице ее было написано полное равнодушие и скука. Но художник отдал ей визит и к моему

удивлению она пришла к нему, и он сделал с нее эскиз акварелью. Эта акварель была известна впоследствии, как «Портрет мадемуазель Д.» и считалась одним из лучших этюдов Мусатова.

7.

Мы много говорили о живописи, об импрессионизме, о Гогене и Ван-Гоге, Манэ и Ренуаре. Из не-импрессионистов Мусатов особенно любил Бастьен-Лепажа, учителя Марии Башкирцевой. Из художников Ренессанса он преклонялся перед Леонардо да Винчи и, особенно, Ботичелли. Репродукции Ботичелли висели у него на стене. Из русских художников он любил Левитана, Сурикова, ценил Сомова и Бенуа. Он любил и Врубеля, но опасался, что краски его недолговечны и почернеют. Из своих учителей он с благодарностью вспоминал Чистякова из петербургской Академии. Но отрицательно отзывался о московской Школе живописи. Он не любил Репина и не верил в его искренность. О Серове говорил, что он хороший рисовальщик, но что женские портреты его плохи. К молодым художникам он относительно снисходительно и прощал им недостатки техники за фантазию, искренность и темперамент.

Саратовские художники, Павел Кузнецов, П. Уткин, Петров-Водкин, Матвеев были в то время еще учениками московской Школы живописи. Наезжая в Саратов, они считали своим долгом притти на поклон к своему старшему собрату. Они отводили с ним душу, критиковали художественных «генералов» и своих учителей, возмущались Третьяковской галлереей, не приобретавшей картин новых течений. Особенно выделялся в этом кружке Павел Кузнецов, уроженец Саратова и сын иконописца. Он говорил на каком-то своем языке о природе, птицах и зверях. Было в его рассказах что-то нелепое и все-же привлекательное. Бедны они все были, как церковные крысы.

8.

Однажды, (кажется в 1901-м году) эта молодая компания получила заказ расписать одну из церквей в Саратове, где-то на окраине города. С благословения Мусатова, они подписали контракт с церковным начальством и с воодушевлением принялись за работу.

Разумеется никто из них не был подготовлен к религи-

озной живописи. Работали без устали, с большим увлечением, в уверенности, что создают нечто новое в своем родном городе. Художественной фантазии дали полный простор. Мусатов их одобрял и поощрял.

Но когда все было окончено, церковное начальство, осмотрев работу, не только не одобрило ее, но признало все святотатственным и подлежащим замазыванию.

Возмущению наших художников не было предела. Их духовный вождь Мусатов советовал им судом требовать деньги согласно контракту. Он, будучи сам равнодушным к церковным обязанностям, добился даже свидания с архиереем, чтобы лично защищать дело художников. Но Высокопреосвященному уже было известно о живописи этой церкви и он прямо заявил Мусатову, что все в ней «не молитвенно!»

Чтобы осветить это дело, он написал письмо в редакцию местной газеты. Но редактор лично отправился в церковь посмотреть живопись и разразился ругательным фельетоном по адресу художников. Письмо Муратова осталось ненапечатанным. Он показал его мне. Он писал: «не сегодня-завтра эта талантливая молодежь станет известна всей России и имена их будут у всех на устах». В этом он не ошибся.

Вскоре состоялся суд. Судьи, когда им показали фотографии с росписи, не могли удержаться от смеха. В гражданском иске было отказано и живопись было постановлено замазать.

Мусатов был удручен. Впоследствии он написал мне на своей фотографии: «Самым большим пятном на моей совести было то, что я родился в Саратове».

9.

Я разделял все интересы художника, духовные и материальные. Они мне были дороги, как мои собственные.

Экономическое положение Мусатова было трудное. Иногда я сам давал ему немного денег. Иногда доставал взаймы у других. Я играл ему, добывал ему бесплатные билеты в концерты и оперу. Помещал в газетах о нем заметки. «Ты всех самоотверженнее ко мне относился», писал он мне в одном из своих писем.

Я любил сидеть в его мастерской и любоваться его картинами. Из висевших на стене этюдов привлек мое внимание один, изображавший какой-то дремучий лес с фантастическими растениями. Было непонятно, где видел художник такой пей-

заж и откуда эти джунгли? «В моем саду, — сказал мне художник, — я писал его с точки зрения мыши или насекомого. Я лег ничком на землю и все вдруг начало казаться мне огромным и фантастическим».

10.

Осенью 1901-го года в Саратов переехал мой старый друг Владимир Константинович Станюкович с семьей.

Я много рассказывал ему о Мусатове, имя которого он знал по выставкам и по газетным издевательствам над его живописью. Просил привести его к нему.

Они сразу понравились друг другу. Мусатов очаровал Станюковича своей детской чистотой и наивностью. Станюкович произвел впечатление на художника своей огромной эрудицией в вопросах искусства и литературы.

Дом Станюковичей стал для нас местом отдыха и духовного развития. Куда исчезли скука и серость провинциальной жизни! Я приносил с собой свой инструмент; Станюкович декламировал стихи своего школьного товарища Брюсова и других молодых поэтов, а иногда читал и свои, тогда еще тщательно скрываемые, произведения. Я подбирал музыку к его декламации.

Мусатов не знал нот, не знал названий многих инструментов, но глубоко чувствовал музыку. Под влиянием Мусатова я стал не только любить, но и понимать живопись. Станюкович же был настоящим знатоком живописи и Мусатов разговаривал с ним, как с товарищем художником. Влияние Станюковича на Мусатова было очень велико.

Иногда, по вечерам, мы приходили к Мусатову. Днем он работал и мы не хотели ему мешать. Мусатов любил работать в полном одиночестве. При нас он только иногда рисовал или прилаживал рамы к картинам.

Гуляя по городу, он любил по долгу останавливаться перед витринами магазинов, любовался сочетанием красок выставленных материй. Иногда он по целым дням ничего не делал, только читал, мечтал или приходил ко мне слушать музыку. Он был сверх обычного молчалив и это было признаком какого-то внутреннего духовного роста.

Эта исключительная молчаливость привела однажды к комическому эпизоду. Поступившая к нему прислугой ста-

рушка через две недели заявила, что уходит. «Но почему же?» — спросил удивленный художник. «Оченно у Вас скушно. Ни вы ничего не говорите, ни я не знаю, ндравлюсь-ли я вам, али нет?»

11.

Общественная жизнь в России в начале 1900-х годов сильно оживилась. Студенчество волновалось. Общество было полно либеральных чаяний. В литературе и искусстве отражались эти бодрые настроения и шла борьба за новые формы.

С одной стороны «декаденты» с их эстетическими тенденциями, с другой — Чехов, Горький и начинающий Леонид Андреев. Ими зачитывались, о них спорили. Появились переводы с французского Бодлера, Верлена, Верхарна. С английского — Шелли, Эдгара По. Вышел роман «Homo Sapiens» Пшибышевского. В нем был выведен тип «нового человека» с ницшеанскими наклонностями. Роман имел успех, им зачитывались, и даже строгий Станюкович был в восторге.

Но каково было наше удивление, когда Мусатов забраковал роман, как циничный и неискренний. В противовес он усиленно нам рекомендовал прочитать «Юлиана Отступника» Мережковского.

К Горькому он относился отрицательно, а Чехова уважал. Нашими общественными волнениями он не заражался.

Он любил прошлое, но не историю, а поэзию ушедшего времени. Женщины на его картинах отображают эту поэзию прошлого. Он не считал себя певцом помещичьих усадеб, как называли его дружественные критики, сравнивая его с Сомовым. Мусатов ценил высокое мастерство Сомова, но не считал себя похожим на него, а еше менее его подражателем.

Ему нравились помещичьи дома с колоннами, старые запушенные парки, кринолины, цвета старинных материй, но он порою смешивал эпохи и стили и не заботился об исторической точности.

12.

Семья В. К. Станюковича состояла из трех человек: его, жены Надежды Юрьевны и мальчика Коли, пяти лет. Надежда Юрьевна, маленькая и худенькая, необыкновенная чуткая женщина скоро полюбила друзей мужа. Она участвовала во всех наших беседах и спорах, проказах и шутках.

Она была больна малокровием, но часто тратила свои силы, не считаясь с своей болезнью.

Мусатов был счастлив в нашем кругу и гордился им. Он называл его нашим «английским клобом».

У Станюковичей бывали многие из художников: Кузнецов, Уткин и другие, но постоянными членами нашего кружка они не стали, как и бывавшие у него — мои друзья — музыканты. «Клоб» наш все ограничивался нами четырьмя. Так было, пока не появился пятый член нашего «клоба», художница Елена Владимировна Александрова, ставшая женой Мусатова.

13.

Мусатов скрыл свою женитьбу даже от нас, лучших своих друзей.

Долго я задавал себе вопрос, почему? Много позже я понял, что это произошло все от той-же особенной психологии, которая отличала его от других людей.

Его горб наложил отпечаток на его характер и психику. Он никогда не забывал о своем уродстве. Чтобы говорить о своих намерениях жениться, он должен был-бы говорить о любви и чувствах. А этого он избегал.

Когда я в один из вечеров пришел к нему, то впервые застал у него сидящую за самоваром незнакомую женщину. Я подумал, что это должно быть натурщица и не стал расспрашивать, — кто она?

Когда он с улыбкой сказал мне: «вот моя жена», я подумал, что он шутит. Тогда он забеспокоился и начал убеждать меня, что он действительно женился и что Елена Владимировна его законная жена.

При этом вышел в другую комнату и принес в доказательство брака свой паспорт, очень серьезно убеждая не стесняться просмотреть его.

И я прочел: «выдан кузнецкому мещанину, Саратовской губернии, Виктору Эльпидифоровичу Борисову-Мусатову, родившемуся в г. Саратове тогда-то и пр. Такого-то числа и года обвенчался с девицей такой-то и пр.»

Тут я воспользовался случаем спросить его, почему, собственно, он носит двойную фамилию Борисов-Мусатов. Он ответил, что его фамилия просто «Мусатов», но что после смерти отца, который по паспорту назывался Эльпидифор Борисов Мусатов, было нетрудно присоединить отчество

«Борисов» к фамилии. Такая фамилия казалась ему более звучной и аристократической. Кстати он рассказал мне, что отец его был татарского рода.

На следующий день я не выдержал и побежал к Станюковичам сообщить им о женитьбе нашего друга. Владимир Константинович не удивился, а только улыбнулся, жена-же его даже завизжала от радости.

Через несколько дней Мусатовы пришли к Станюковичам и мы по случаю радостного события распили бутылку шампанского.

А еще через короткое время стало ясно, что наш «английский клоб» обогатился новым равноправным членом.

14.

Материальные дела Мусатова были плохи. Вся надежда была на его дом, который надо было заложить под вторую закладную. Но где найти такого охотника, когда было известно, что у художника много долгов и неоплаченных векселей.

Нужно было найти поручителя за него, но это было не легким делом.

Я старался помочь ему, говорил со спекулянтами, расспрашивал о финансовых комбинациях. Было ясно, что нужно найти солидного поручителя.

У Мусатова были знакомые, которые торговали фотографическими и художественными принадлежностями. У них он однажды познакомился с неким статским советником Соловьевым, управляющим Контрольной Палатой. Это был сгорбившийся старик, громко кашлявший и ворчливый. К Мусатову он никакого интереса не проявлял.

Но именно к нему Мусатов решил обратиться за помощью. Он явился к нему и рассказал о своих финансовых затруднениях. Сказал, что у него много картин, которые могут быть реализованы и просил за него поручиться.

Старик прямо заявил ему, что его картинами он не интересуется, но что ему жалко бедного художника и он охотно подпишет поручительство.

Но материальные заботы не мешали нам думать о художественных делах.

Я упомянул уже, что в Саратове, в центре города, была Народная Аудитория с прекрасным верхним светом и хорошей акустикой. Я устраивал там народные концерты, а иногда и камерные вечера. Мне пришла в голову мысль использовать

это помещение для выставки. Справился у заведующего и получил положительный ответ.

Поделился своим планом с Мусатовым. Он осмотрел залу и нашел освещение идеальным для выставки.

Я предложил собрать вещи у саратовских художников, выписав кое-что из Москвы. Но он запротестовал против придания выставке саратовского характера и предпочитал выставку московских художников. Я просил его списаться с Москвой. В ответ Московское Товарищество Художников сообщило, что готово прислать картины с условием, что мы оплатим расходы по перевозке. Писали, что можно собрать триста полотен.

Я обратился к своему знакомому инженеру Кандаурову, Управляющему Рязано-Уральской железной дорогой, с просьбой помочь нам в перевозке картин по удешевленному тарифу. Он нашел, что единственное, что можно сделать — это применить к ним закон о перевозке лубочных картин по минимальному тарифу. Он сделал распоряжение по линии и все пошло гладко.

Когда картины прибыли, то надо было уплатить что-то около 65 рублей, которых ни у меня, ни у Мусатова, конечно, не было. Нас выручил Станюкович. Главную работу по устройству выставки взял на себя Мусатов, а мы ему помогали.

Весело было наблюдать, как маленький горбун Мусатов, как гном, тащит большие полотна, стучит молотком, примеряет, приспособливает, ища подходящее освещение для каждой картины. Он не знал устали. Его собственных вещей было штук тридцать.

Публика охотно отозвалась на новинку и пришла в большом количестве. Местная критика отнеслась к выставке снисходительно, но попрежнему издевалась над картинами Мусатова. Нас это не слишком огорчало.

Из платы за вход мы собрали средства для отправки картин обратно в Москву.

15.

Летом 1902-го года Мусатов поехал в свою любимую Зубриловку, где раньше писал свой «Гобелен».

Оттуда он привез новое большое полотно, которое нам еще не было известно. Мусатов, как всегда, был скуп на сообщения о своих работах, но его жена не любила скрывать от друзей, что делает ее Виктор. От нее мы узнали, что он

написал летом замечательную вещь, но что все еще копается над какими-то деталями.

Мы ждали, что Мусатов покажет ее нам. Он, действительно, пригласил нас всех днем в мастерскую.

Большая гостиная, служившая ему мастерской, была вся заполнена картинами и этюдами, которые все накоплялись, так как его вещи неизменно возвращались с выставок не проданными. Новое большое полотно стояло на мольберте в глубине комнаты. Мусатов попросил нас сесть подальше и вышел, как бы для того, чтобы не мешать нам.

Долго мы сидели молча, даже жена Станюковича, обычно столь экспансивная. Прошло несколько минут и вдруг словно что-то прорвалось. Все мы сразу заговорили, зашумели, бросились к Мусатову, чтобы поздравить и обнять его. Художник вернулся в мастерскую и со счастливой улыбкой стал давать нам об'яснения. Спрашивал, чувствуем ли мы движение облаков, отраженных в воде?

Я спросил, как он думает назвать картину. Он сказал на распев: «Водоем». Я рассмеялся и сказал, что это похоже на «водовоз». Он видимо обиделся. «Это красивое, звучное слово», и снова повторил «во-до-ем». Но согласился переменить название на «У водоема».

Картина была отправлена в Москву на выставку. Мы с волнением ждали отзывов печати. На этот раз критика обратила внимание на художника и встретила картину с одобрением. Но мечте его попасть в Третьяковскую галлерею не удалось осуществиться. Серов, главный авторитет покупочной комиссии, дал отрицательный отзыв. На выставке ничего не было продано и денежные дела Мусатова не поправлялись.

В Москве Мусатов узнал, что компания электрического трамвая об'явила конкурс на рекламу. Впервые в жизни он решился на такую работу и сделал несколько очаровательных акварельных эскизов: посещение Екатериной лаборатории Ломоносова, своих «мусатовских» женщин с кружевными зонтиками, застигнутых грозой. Но компания его работы не приняла.

Кажется, мы, его друзья, больше страдали от этих неудач, чем сам художник. Мусатов относился к ним философски. Мечтал выставить свои картины в Париже, где его поймут, и тогда его оценит и русская публика.

Зимой 1903-го года берлинский художественный салон Кассирера решил устроить выставку русских художников. И. Э. Грабарь обратился за картинами к Мусатову. Художник дал

«Гобелен» и «У водоема». Он страстно хотел поехать заграницу вместе с картинами, но не было денег.

У меня не было возможности помочь ему. Но Станюкович дал ему 500 рублей на поездку. Мусатов с радостью их принял. Решено было, что он посетит Берлин и Гамбург, где картины тоже должны были выставляться, а затем повезет их в Париж. Мусатов поехал с женой.

В Германии русские художники имели успех, но сенсации не вызвали. Зато в Париже на Мусатова обратили внимание и в публике, и в печати.

16.

В Россию он вернулся бодрым и жизнерадостным, словно артистический воздух Парижа вдохнул в него новые силы. Он стал строить широкие планы и решил переехать в Москву.

Но тут опять встал вопрос о деньгах. Долг Станюковичу он уплатил, предложив ему выбрать любую его картину. Станюкович выбрал «Весну». Между тем из Москвы стали приходить приятные вести: московские меценаты справлялись о ценах на «Гобелен» и «У водоема».

Хотя Мусатов и очень нуждался, но из артистической гордости требовал за «У водоема» 2.500 рублей, а за «Гобелен» 1.500. Меценаты были возмущены: «художник еще молод и неизвестен и не имеет права на такие цены». Но Мусатов предпочитал голодать, чтобы заставить считаться с собой. От Третьяковской он принял бы любую цену, но не хотел, чтобы «московские купцы диктовали цену моим картинам».

Наконец, вторая закладная уладила его денежные дела и Мусатовы стали серьезно готовиться к переезду в Москву.

Но это могло осуществиться только к концу 1903-го года. На лето они снова уехали в деревню в Хвалынский уезд, куда отправились и Станюковичи. Там Мусатов особенно много и хорошо работал. Кроме ряда этюдов он написал картины «Изумрудное ожерелье», «Призраки» и «Встреча у колонны». Там же он начал большой портрет г-жи Станюкович. Мусатов всегда работал быстро. Он долго заранее обдумывал свои вещи, но писал их почти без подготовительных этюдов. Так к «Водоему» сделал он только один этюд, а к «Гобелену» ни одного. Кажется, труднее всего было для него придумывать названия для своих картин. В этом ему помогала жена. «Изум-

рудное Ожерелье», «Призраки», «Парк погружается в тень», «Сон божества» — все это ее названия. Я дал имя картинам «Осенняя песнь» и «Одиночество».

17.

Одновременно с большим портретом г-жи Станюкович, он написал с нее небольшой этюд в блеклых тонах, названный «Дама у гобелена». Отныне между художником и его моделью с ее чудными печальными глазами и небольшой хрупкой фигуркой установилась большая духовная близость. Он говорил, что она напоминает ему мадонну Ботичелли.

Когда осенью я вернулся в Саратов, у Мусатовых уже шли приготовления к переезду в Москву. Перспектива разлуки с другом удручала меня. Мусатов утешал меня, говоря, что я буду приезжать к нему в Москву и рано или поздно туда переезду.

Мусатову приходилось проделать чистку своих художественных «авгиевых конюшен». Я думаю, что его квартира никогда еще не разгружалась от лишнего хлама. В пылу чистки он уничтожил немало этюдов, рисунков и даже картин, например, первый вариант картины «Гармония», большой и единственный этюд для «Призраков». Выброшенный им акварельный эскиз к картине «Встреча у колонны» я подобрал, как и несколько других рисунков и этюдов. Большие полотна он отправил в Москву малой скоростью, а мелкие взял с собой.

Перед самым отъездом собрались у Станюковича. Я играл, Станюкович читал, мы много пили, стараясь разогнать печаль расставания. Но Мусатов был настроен бодро. Он подарил мне свою картину «Одиночество» с надписью: «М. Е. Букинику — члену английского клоба».

18.

Картина висела у меня на стене и напоминала о друге. Мы часто переписывались. Он писал бодрые письма, много работал и был полон надежд. «Работай и мечтай — писал он мне — без этого стимула не может быть производительной работы. Надо работать и совершенствовать свою технику».

Он сообщил мне, что начинает налаживаться продажа картин «Водоем» и «Гобелен» за ту цену, которую он назначил с самого начала. Он торжествовал, что выдержал характер

и не унизился. Писал, что мечтает расписать стены одного особняка и сделал несколько законченных эскизов в духе Пювис-де-Шавана. Они приняты не были и Мусатов послал их на выставку. Они были куплены Третьяковской Галлереей, и художник был счастлив этим первым общественным признанием.

Но все же жизнь в Москве была слишком дорога и шумна, и Мусатовы переехали в Подольск, в полутора часах езды от Москвы. Там он мог работать интенсивней и плодотворней.

Он уже больше не думал о признании, а только о том, чтобы побольше успеть сделать. Художественная фантазия его не ослабевала, но физических сил становилось все меньше. Он чувствовал себя плохо, у него был застарелый туберкулез костей и ему надо было сделать себе операцию. Но на это не было времени.

Но и в Подольске ему начинало казаться, что Москва слишком близка. Надо уехать подальше, чтобы ничто и никто не могли помешать осуществлению его художественных замыслов .Он выбрал захудалый городок Тарусу, Калужской губернии, на берегу реки Оки, напоминавшей ему волжские просторы. Там он написал свои: «Куст орешника», «Осеннюю песнь» и другие картины на осенние, печальные мотивы.

В это время началась японская война. Все пришло в движение. Военные и политические интересы были в центре общественного внимания. Но Мусатов был погружен в свое искусство.

19.

Весной 1904 года Станюкович, как офицер запаса, был мобилизован. Я оставил Саратов. Все мы разбрелись, осенью того-же года я уехал за-границу.

Станюкович находился где-то в Манджурии на китайской границе. Мусатов писал мне, что жена его, Надежда Юрьевна, волнуется за мужа. Она в Москве. Ребенка своего отослала на юг к бабушке, а сама поступила на курсы сестер милосердия, так как не может жить без своего Владимира и должна ехать на фронт.

Она, действительно, уехала, но по дороге заболела и после долгих скитаний вернулась в Москву. Там она скончалась.

Эта смерть любимого друга потрясла художника. Из Тарусы, ночью, он написал мне длинное письмо-исповедь. Он

писал о смерти Надежды Юрьевны, о своей боли и мечте увековечить ее в своем искусстве. Я получил это потрясающее письмо в Париже.

Он писал: «Я напишу ее, воспою в красках так, что она будет жить для Владимира, как и для нас всех... Такой человек не должен быть забытым... Она была большой поэт!»...

20.

В России в это время (октябрь 1905 года) начались беспорядки и Мусатов писал мне: «как хорошо, что тебя сейчас нет в России. Наверное, убили-бы»...

Но я затосковал по родине и хотел ехать обратно. Однако, поезда в Россию не шли, — все находилось в хаосе, приходилось ждать. В ожидании я жадно читал русские газеты. В одной из них я натолкнулся на краткую телеграмму из Москвы: «Внезапно умер художник В. Э. Борисов-Мусатов». Ошеломленный, я побежал на телеграф и дал телеграмму Елене Владимировне в Тарусу — правда-ли это? Увы! Она подтвердила.

Через несколько дней пришло от нея подробное письмо. Она писала, что только что похоронила Виктора и описывала его последние дни.

После смерти Надежды Юрьевны Станюкович он долго не мог ничего делать, не спал, не ел. Но потом приступил к работе и стал делать наброски и рисунки к картине, в которой духовная жизнь ее должна была пройти, как в религиозной процессии.

Он писал, рисовал, сравнивал, увеличивал, уменьшал и явно был во власти вдохновенья. Елена Владимировна вначале не мешала ему, но потом вынуждена была отрывать его от работы для еды, для сна и отдыха. Он работал, забывая о своем больном теле.

В ночь на 26 октября 1905 года старого стиля, он особенно много работал и хотел закончить картину. Был уже третий час ночи. Елена Владимировна стала беспокоиться. «Довольно, Виктор! Завтра закончишь», говорила она.

«Сейчас, сейчас! Вот еще только один, два штриха и все будет готово!»... И вдруг он упал, не сказав ни слова, и умер от разрыва сердца.

Похоронила она его там-же, в Тарусе, на берегу Оки.

21.

Японская война кончилась. Станюкович вернулся домой. Я приехал в Россию.

Мы стали думать об устройстве выставки картин покойного. Приступили к изучению его художественного наследства и изумлялись его обширности и совершенству, которого достиг художник в последние годы своей короткой жизни.

Картину, над которой он работал перед смертью, Станюкович назвал «Реквием», что соответствовало ее глубокому религиозному чувству.

На нашей совести лежал еще долг обеспечения семьи покойного, состоявшей из жены, ребенка и сестры Елены Ельпидифоровны.

Станюкович в Петербурге засел за биографию Мусатова, а я стал работать над организацией посмертной выставки. Нашел помещение в Страховом Обществе «Россия» на Кузнецком мосту. В работе принимали участие, кроме Елены Владимировны, художники, друзья покойного: Ульянов, Павел Кузнецов, Уткин. Моя роль была больше административной и хозяйственной. Елена Владимировна просила меня быть заведующим выставкой и вести все денежные дела.

Посмертная выставка была открыта в феврале 1906 года.

На «вернисаже» я принимал комиссию Третьяковской Галлереи, давал об'яснения и вел переговоры с покупателями.

Цены, которые теперь назначались, казались легендарными в сравнении с ценами, назначенными при жизни художника. Меценаты возмущались и роптали. Многим из них не нравилось вмешательство в художественные дела неизвестного им музыканта и они старались обходить меня, обращаясь непосредственно к вдове художника, но та отказывалась от коммерческих дел и направляла их ко мне.

Я ясно видел, что Мусатов вырос в глазах художников и меценатов и соответственно с этим цены назначались такие, какие назначали Репин, Серов, Сомов и др. и с которыми покупателям приходилось мириться.

Третьяковская Галлерея приобрела «Призраки», «Изумрудное ожерелье», этюд «Ветер», «Осеннюю песнь» и несколько рисунков к «Реквиему». Главный авторитет комиссии В. А. Серов поражался точности рисунка в «Реквиеме». Галлерея запросила о цене на эту картину, но Елена Владимировна заявила, что «Реквием» не продается.

Выставку посетил художник Нестеров и упрекнул меня, что картины оценены слишком высоко. Но, увидев пастель «Осенняя песнь», был так восхищен, что сказал: «Вот за такую вещь можно дать, сколько просят. Такая картина цены не знает. Это Божьей рукой написано!»

Успех выставки был огромный. В обществе и печати заговорили о Мусатове, как о большом русском художнике.

Материальный успех превзошел все наши ожидания. Семья была обеспечена на многие годы.

22.

Елена Владимировна говорила, что пока она жива, она не продаст «Реквиема». Я пытался доказать ей, что именно потому, что эта вещь совершенна, нельзя ее прятать, что она должна быть общим достоянием, что по ней будут учиться художники и что скрывать ее — это эгоизм. «Если же она не хочет торговать» такой вещью, то можно пожертвовать ее в музей.

Но она отвечала: «Пока я жива, я хочу, чтобы «Реквием» был со мной».

«Но как-же вы будете хранить его?» — спрашивал я.

«Я закажу для него особый футляр, который будет запираться и который всегда будет со мной».

Я старался показать ей опасности, которым она подвергала картину. Представлял железнодорожную катастрофу, в которой картина погибнет, а она уцелеет. Говорил, что в сырой квартире нежная акварель «Реквиема» может испортиться, что картина может попасть в воду во время путешествия на пароходе. Но никакие доводы не помогали.

Несколько лет Елена Владимировна путешествовала по России с «Реквиемом» в футляре. Но мое предсказание сбылось. Во время ее плавания по Черному мору волны, переливая через борт, затронули картину. Ее удалось спасти и она осталась цела, но это так потрясло Елену Владимировну, что она попросила меня наладить пожертвование «Реквиема» в Третьяковскую галлерею. Формальности были выполнены и картина в заказанной ею раме белого цвета была водворена в Галлерею.

23.

Перед нами стоял еще вопрос о постановке памятника над могилой Мусатова.

Памятник был заказан молодому скульптору Матвееву,

другу и поклоннику покойного. Памятник должен был быть из гранита. Матвеев долго и упорно работал над памятником. Но когда гранит прибыл в Тарусу, то мы неожиданно наткнулись на препятствие в лице местного духовенства: памятник, якобы, был «языческий», так как изображал голое тело отрока, да к тому же и креста на нем не было.

Не мало хлопот стоило Елене Владимировне добиться разрешения, памятник уцелел, но на подобающем месте был поставлен крест.

Над памятником выросли две березки, ветки которых поют свою печальную песнь о молодом русском художнике, жившем так мало и страдавшем так много.

Мих. Букиник.

Апрель, 1944 г.

МЕЛОДИИ ЕВРЕЙСКОГО БЫТА

Среди многих искажений, которым обыкновенно подвергаются различные ретроспективы еврейской жизни, не последнее место занимает представление о черте оседлости и о жизни евреев в маленьких местечках России. Черта рисуется чем-то вроде гетто, а еврейский быт печальным и мрачным. Чтобы с самого начала от этой традиции отгородиться, я озаглавляю мой очерк не «вздохи и стоны», как полагалось бы сделать доброму еврею, а «мелодии еврейского быта», хотя это название содержанию очерка соответствует не вполне.

В одной из еврейских мелодий Байрона есть горькие строки:

У птицы есть гнездо, у зверя логовище,
А у Израиля одно только кладбище.

В плане историческом это, конечно, верно — еврейский народ бездомен, но в бытовом отношении мы этот приговор не можем и не должны принять. Нет, не кладбищем были еврейские общины диаспоры, а зелеными пастбищами, которые орошала живая вода. Это были теплые, плодовитые культурные гнезда.

1.

Можно родиться в Сибири, воспитываться в не-еврейской среде и все таки вырости евреем. Но тот, кто с детства не дышал воздухом чисто-еврейской среды где-нибудь в старинной исторической общине, как Прага или Вильна, или в маленьком местечке черты оседлости, никогда не узнает подлинного вкуса еврейства. И это потому, что не одно знание, не одно благочестие, не история одна и не одни идеалы содержат в себе существеннейшее ядро нашей коллективной жизни. Есть еще особая еврейская мелодия, очень оригинальная, воистину неповторимая, в которой звучат все колокола и колокольчики нашей жизни, праздников и будней. Синагогальные суровые напевы и дурашливые раешники ортодоксальной богемы, веселые и грустные хасидские песни, шутки, прибаутки, скорбные заутрени и бесшабашные пуримские игры, свадьбы с двумя скрипками и барабаном и похороны без помпы

и черных одежд. Какое же это густое варево! Полухасидское, полумиснагидское, немного аристократическое, немного плебейское, вот набожное, вот чуть-чуть еретическое, — варево, заправленное соусами многих традиций и культур, плодами всех климатов и стран. Десятки, десятки лет прошли, десятки тысяч верст скатертью легли над горами и морями, отделяющими нас от тех родовых гнезд, а образы их близки и неотступны. Сладостные и печальные воспоминания, гордость и жалость пробуждаются в душе еврея, снова еще раз переживающего эти молодые, истинно-еврейские годы. Их нельзя вырезать, это кровь и кожа. Нередко узнаешь их следы во внуке давно почившего деда, — как отзвук, как некий витамин, дарящий разум и силы. Медленно накоплялись они в тишине маленьких местечек и не использованы поколениями ортодоксальных дедов. Это наши корни, наше наследие. Никогда не придем мы туда назад, но не надо позволить ветрам сдунуть с наших ног эту дорогую, эту священную пыль.

Первое мое замечание покажется парадоксальным: у местечковых евреев черты не было чувства чужбины. Как!? А сионизм, а «в будущем году в Иерусалиме»? Я знаю, какое огромное значение в еврейской жизни имели эмоции, породившие сионизм, но факт остается фактом. Местечковый еврей не чувствовал себя блуждающим странником, случайно забредшим на чужой двор, с которого его вот-вот сгонят. Он чувствовал себя таким же коренным жителем своего местечка, как крестьянин — своей деревни. Жизнь его была полна и ярко своеобразна. Кладбище еврейское, поросшее старыми березами, пестрело каменными памятниками, надписи на которых стерлись сто лет назад. Синагога, чудом не сгоревшая при последнем пожаре, от ветхости прогнила и зелена как незрелый лимон. Держится чудом, но как уверенно стоит она близь церкви, новенькой, в голубых и зеленых куполах, и белого с башеньками костела... Ну, время от времени по хозяйски-грозно пошумит становой — отчего не чищены улицы, отчего не посажены у домов липки, на радость козам. Протокол. Но соберут несколько желтеньких бумажек, и буря утихает. В конце концов, становой знает, что не евреи живут у него, а он, за грехи свои всякие, попал в еврейское местечко. И исправник это знает, и благочинный, и сам губернатор. Как же не знать это Господу Богу? Нет, местечко еврейское, и жизнь в ней еврейская, и праздники еврейские. Чувство это прочно, как над местечком небо.

Жизнь полна потому, что местечко точный сколок с

большого города, с самой столицы. Население не стадо однообразное; сколько Господь Бог не создал человеческих типов — они тут, все, на перечет. Что ни еврей, в каком-нибудь отношении он оригинал. Кажется, Бальзак и Диккенс могли бы найти тут достаточно типов для картинных своих галлерей. В миниатюре тут весь мир. За десять тысяч рублей вы тут Рокфеллер. Хорошее знание Талмуда и Каббалы даст вам положение Эйнштейна. Если вы имеете вкус к власти, к политике, к интригам, и чем-нибудь сильны — синагога, община дадут вам обширное поприще для дипломатии, деспотизма или самодурства. Вы будете вождем. У вас будет соперник, сторонники, враги, льстецы и клеветники.

Всмотритесь хорошо, и вы в толпе заметите странную персону с бледным меланхолическим лицом аскета. Знаете ли вы кто это? Это Ейцер-Тойв, нашептыватель добрых дел, из еврейской мифологии. У него в местечке не мало клиентов: Францисков Ассизских, Дон-Кихотов, Зосим, Каратаевых... А вот, в капелюше, видите, розовая рожа с широкой улыбкой на жирных губах! Вы знаете кто это? Ейцер-Хоре, шептун греха, из той же мифологии. И у него в местечке не плохая практика. Подпольная, тайная... Да, совсем столица!...

2.

Местечко еврейское, что и говорить, было бедно. Уровень жизни материальной был необыкновенно низкий. Плохо питались, убого одевались, жили в тесноте. Рубль был большой барин, да и копейка пешком не ходила. Бедность сопровождала естественная мелочность. Но замечательно, однако, что запах бедности местечку был чужд. Не то, чтобы люди, как у нас говорили, щипали себе щеки, чтобы ставить краску, то есть, мучительно скрывали бедность и корчили из себя зажиточных людей. Нет. Это не было в нравах, да это было бы и бесполезно. В местечке очень хорошо знали, что у кого варится в горшке. Просто люди, задолго до Островского, сговорились, что бедность не порок. А не порок это потому, что ученый бедняк, или бедный потомок знатных предков, уважаем больше грубого выскочки-богача. Житейски люди, конечно, завидовали соседу, если дом его просторнее, если лавка его доходнее, если денег у него больше, но жизнь это не определяло. Вопреки суровому материализму бедной жизни, и ее основа, и ее надстройки были духовными. Культ совершенного знания, культ откровения, культ святости — идеалы недостижимые,

но сердцу традиционного еврея понятные и близкие побеждали. Маймонид (Рамбам) или Баал-Шом-Тойв, виленский гаон или любавичевский раввин были для еврея больше и важнее Ротшильда.

Вследствие этого бедность, в общем, не угнетала местечкового еврея. Не лишала его достоинства и не освобождала от заботы о поддержании известного уровня благопристойности в манерах и одежде в рамках убогого быта. Местечковый еврей редко «опускался». Общий тон жизни был живой и легкий. Конечно, были среди евреев кислые люди. Где их не найдешь? Но в общем население было веселое. Ирония, шутка, шаловливость мысли, пародия, острый намек составляли главную суть того, что мы назвали бы «салонной жизнью» местечка. Когда много позже мне приходилось читать гениальную прозу Генриха Гейне (нередко она лучше его стихов), вспоминались мне евреи моего родного местечка. Вот так они шутили, вот это был жанр их остроумия. Чего, в самом деле, плетется на шумный, тесный, бестолковый пятничный базар старый реб Нисен? За душой у него нет копейки живой. Ничего не купит, нечего ему и продать. А он со своей суковатой палкой проводит там часы. Это он, видите ли, идет на базар беречься, чтобы его, не дай Бог, не переехали... Так по гейневски реагирует на горькую нужду местечко.

А сколько веселья и кипящей браги в местечковой голи! Ну, вот, наш приятель Лейзер. Лайдаком, его зовут, то есть, бездельником. Бездельник он и есть. Никогда не думал он как-нибудь уютно прислониться к жизни, устроиться, приобрести деньгу. Это здоровенный парень, с открытой волосатой грудью, желтобородый, широкоротый, с отличным приятным баритоном. Еврея в нем выдает только ситцевый картуз, легкомысленно висящий на макушке. Ему бы полагалось ходить с открытой головой — это было бы в стиле персонажа. Профессии у Лейзера нет. То он в синагоге подпевает кантору, то водит дилижансных лошадок к водопою, свистит им и урезонивает по-еврейски: «пейте, детки, пейте!», то грузит баржу на Соже, то посыльным идет двадцать верст пешком в соседнее местечко. Это наш Марк Твен, наш Шолом-Алейхем и в то же время замечательный комик. Когда в летний день на каком-нибудь крыльце он заведет свою волынку, никто не пройдет мимо. Остановится и будет слушать долго. Кислая физиономия местечка, и та станет поодаль и, пощупывая бородку, прислушается к искрящейся чепухе Лейзера. Над кем он смеется? Над всеми. Над лицемерными святошами, над

скупыми благотворителями, над молодыми франтихами, не желающими ходить в микве, над местечковым богачом, над раввином, над становихой, над попом... Но все его любят потому, что он всех сердечно любит, со всеми брат и кум. Посмотрите, однако, на этого самого Лейзера в тот торжественный час, когда его, в кои веки раз, почтут в синагоге призывом к Торе — захудалую ему, конечно, дадут, главу, но как он взволнован, как он трепещет, тут не до смеха — Тора!...

Кто в местечке не понимает шутки, намека, каверзной шпильки? Как полнокровна, сочна ругань возбужденного извозчика-балаголэ! Как утончена ирония дамского портного, шьющего на помещицу, и потому весьма прославленного, когда шестипудовая еврейка хочет до горла влезть в три метра полотна! Блестит, светит, колет, щекочет острое, умное, веселое словечко местечкового еврея, когда он в ударе...

3.

В известной части нашей интеллигенции господствует мнение, что еврейский религиозный культ был сух и лишен поэзии. Они ставят в пример культ христианских религий. Если бы это было так, еврейский народ, конечно, не сохранился бы. Он давно исчез бы с лица земли. Не могла бы еврейская жизнь быть горячей, живой и глубокой, если бы горячей, живой и глубокой не была религия, ее питавшая, ее хранившая. Верно, что церковь декоративнее, театральнее и красочнее нашей синагоги. Но поэзии в еврейском культе столько, что ею можно было опьянить пол-мира. Что такое поэзия? Все то, что пробуждает в человеке чувства, думы и настроения, которые сильнее и глубже его нормальных чувств и настроений. Все то, что человека на время отрывает от его собственных, личных волнений и связывает его с чем-то, что больше его, и богаче его бедной действительности. Это может быть слово, звук, мелодия, краска, символический жест руки или тела, обряд, процессия — все то, что разбивает монотонность эгоистического материализма и напоминает человеку, что не все кончается им, что есть прошлое и будущее, и что не все так просто и плоско, как серебрянный доллар...

И вот, если обозреть с этой точки зрения еврейский религиозный культ, окажется, что жизнь обыкновенного еврея в глухом местечке была символической поэзией гораздо богаче, чем жизнь современного еврейского поэта в Париже или Нью

Иорке. Следует заметить, что особенностью еврейской религии является то, что очень много синагоги перенесли в домашний быт. Обычаи и ознаменования различных житейских событий насыщены эмоциональным содержанием и очень сильно влияли на впечатлительность еврейских детей.

Милая театральность обряда обрезания. Возбужденные праздничные лица семьи и гостей. В белом кителе (как на троне) важно заседает почетный блюститель обряда. На белой подушке, в белое одетый, юноша подносит ему младенца. Блеснет белая сталь ритуального ножа и взлетает, как струя фонтана, краткая молитва... И первый крик любовно исторгнутой боли. Острая атмосфера торжества, освящающего бытие на земле нового человека... Первое совершеннолетие в год тринадцатый, когда мальчик возлагает на свои плечи первую ношу ответственности за свои дела и помыслы. Затем красота и символизм традиционного венчания под пурпурным балдахином на золотых колоннах и вся сложная цепь от века установленных свадебных обычаев, от которых делается так празднично, что хочется плакать. И возвращение домой с музыкой на улице... О, эта скрипка хилого, черного, бедного местечкового музыканта, как остро, как пронзительно она звучит между равнодушным, мещанским барабаном и задумчивой, укоряющей флейтой! Старая бабушка, вдруг помолодевшая в комическом менуэте, и степенный дедушка, гордый сегодня тем, что немного пьян... Три дня праздника и плясок, и десятки людей под окнами...

Знакома ли вам поэзия ранних пробуждений к заутрене? Еще темно, местечко спит. Старый петух разбивает тишину простуженным «кукареку!», и вторит ему слабосильный тенорок синагогального служки реб Хаима:

— В синагогу идите евре-е-и!

— Кукареку!...

И тихо, с маленьким фонариком в руках, в холодную улицу спешит дедушка. Покашливает, покрякивает... Но как сладко будет литься из старой груди нежная и благоговейная его любовь к Богу! С каким трепетом он скажет: «Если выжмешь глубины закона, кто перед Тобой устоит на суде?»...

А пасхальный сейдер с трогательно наивным и театральным его символизмом, с глубокими его жестами, с открытием двери для незримого явления пророка Илии, с чудесными его балладами и мало кому на земле доступным чувством трехтысячелетней традиции. Затем, веселый, легкий Шовуэс — праздник Синая, 10 заповедей и Торы. Громовое предисловие

к трехтысячелетней литературе. Как не простить ортодоксальному еврею, если Дант и Шекспир для него только дети, играющие камешками у подошвы Синая, на которой стоит Моисей...

А кущи? Уж небо дышет осенью, холодновато, а из горячей страны, из Палестины, приходит золотой эсрог, близнец золотого лимона, и сопровождает его стройная пальмовая ветвь. И вот будет день, один из восьми дней праздника, когда местечковые евреи будут в синагогах радоваться Торе, и будут от радости пьяны. Как первосвященники облачатся в белые одежды. Левой рукой крепко и любовно прижмут к груди свитки Торы в зеленых, синих, белых, красных шелках и бархате, увешанные золотыми и серебрянными эмблемами, львами, оленями, птицами, а правой рукой высоко подымут пальмовую ветвь с золотым эсрогом у основы, и ликуя, в блестках и пятнах внутреннего света, плавно закружатся вокруг амвона: Аллилуя, Аллилуя!...

И сколько еще дней и вечеров, полных значения. Вечер Эсфири, Мордухая и Гамана, и вечер Иеремиады, лучшей поэмы скорби в мировой литературе. И день Нового Года, и День Дней — Иом-Кипур, с его мистическим шофером. Можно ли придумать более потрясающий звук для разбитого сердца, более трагический тембр для Дэ Профундис?...

4.

Старый еврейский хедер было бы трудно рисовать радужными красками. Песталоцци мог бы найти в нем много уродств, да и все мы сходились на том, что система обучения еврейских детей была уродлива. Рациональные педагоги обращаются с мозгом ребенка так же осторожно, как врачи обращаются с его желудком. И тот и другой они питают молочком, легкими кашками и т. п. Дважды два четыре, занятные сказки, птицы, цветы. Потом немного покрепче — волк, медведь, ведьма, колдуны. Что же делал хедер? Он брал мальчика в самом нежном возрасте, опускал его в крепкие студеные воды, потом прожигал его огнем и ковал стальными молотами! Хедер сразу вводил мальчика в великую драму человеческой жизни. Не молочком он поил его, а горькой водой глубочайших колодцев. Библию много и всячески возносили как великое литературное произведение. Не знаю только, в достаточной ли мере сознано ее величайшее достоинство, а именно то, что в ней сказана вся правда о человеке. О человеке без прикрас, как

вышел он из рук Творца! Страсти, грехи, преступления, раскаяние, жалость, честолюбие, борьба, добро и зло, величие и падение. Начиная с оглушительного рассказа о сотворении мира, когда ребяческое воображение колышется между хаосом, звездами, тьмой и планетами, до конца царства Соломонова — какой калейдоскоп изумительных событий! Разнообразие их необычайно. Каждый эпизод нов и оригинален. Сцена, декорации, герои меняются с волшебной быстротой. Перспективы все шире и шире. Эта часть Библии — от Адама до Соломона, потому что после Соломона рассказы становятсся скучнее и суше, — принадлежит к высшим образцам повествовательного искусства. Форма слита с содержанием с той естественностью, на грани которой искусство переходит в колдовство. Все ясно, кратко, пластично, подлинно. Ни одного лишнего слова, почти ни одного прилагательного. Персонажи натуральны как земля и звезды. Никаких завитушек, никаких гримас. Ничто не спрятано, ничто не скрыто. Каждая страница свидетельское показание о человеке и о жизни.

Я позволю себе дать беглый перечень тех тем, которые хедер предлагает еврейским мальчикам в возрасте от шести до десяти лет. Этот перечень напомнит нам то, что мы, впрочем, плохо знали. Библию у нас читают мало.

Рай. Два дерева, четыре реки и змей. Чудом искусства этот скупой рисунок создает иллюзию величия, просторов, свежести, зелени и блеска. И в этом идиллическом саду счастья первые людские слезы, горечь изгнания и проклятье трудового пота. Предисловие к мировой истории... И скоро — первое братоубийство, бездомная отверженность, чужая даль без покоя и отдыха. Ревность старой Сарры и драма Агари и Измаила в пустыне. Содом и Гоморра — дантовский эпизод. Ной и Хам. Потоп и ковчег. Радуга над миром. Исаак и чечевичевая похлебка. Рабство Иакова. Сон Иакова о лестнице, ведущей к небу и его борьба с Богом на заре. Братья Иосифа продают его в рабство. История Иосифа в Египте: жена Пентефрия, темница, сон Фараона, мудрость и возвеличение Иосифа. Встреча с братьями. Эффектная и великодушная его месть им. Египетское рабство и эпопея Моисея. Первая месть угнетателю. Неопалимая купина, чудеса, сорок лет пустыни. Синай, и в грозе и пламени десять заповедей. Новые чудеса, поражающие ум и душу своей четкой образностью: золотой телец, Огненный Столб ночью и облако днем. Моисей на пороге страны обетованной — с вершины горы он видит страну, в которую не вступит. Кара за то, что ударил камень,

когда ему было сказано обратиться к камню со словом. Иерихон, падающий от гласа иудейских труб... Ханаан. Судьи и короли. Саул, пошедший искать верблюдов отца и нашедший корону — первый еврейский Царь, которого народ пожелал, несмотря на самую яркую в мировой литературе анти-монархическую речь пророка Самуила!... Мрачная душа Саула и арфа Давида. Борьба Давида с Саулом, и гордая смерть благородного Саула на поле битвы... Надгробная песня о Сауле красоты и окрыленности необычайных. И царство Давида — горячее, сильное, грешное. Дружба Ионафана и Аббасолома. Сын, восстающий против венценосного отца и его трагическая, случайная смерть, похожая на кару... И, наконец, блистательное царствование Соломона. Поэта, мудреца, Царя. Дочь Фараона — иудейская царица, храм из кедров и золота, и первое дыхание всемирности на холме Иерусалима — в молитве Соломона при освящении первого храма...

Надо заметить, что Библию в хедере не просто читали — ее изучали, медленно и очень вдумчиво. Ее пили глотками. И судили. Мы, дети хедера, судили всех, потому, что переживали каждый эпизод, каждый поступок. Мы негодовали, радовались, стыдились, ликовали. Таким образом, в самые ранние детские годы мы инстинктивно, сердцем решали множество моральных проблем. О жизни мы, вследствие этого, знали больше, чем наши христианские ровесники. Мы рано духовно и умственно созревали. Еще много лет были мы пассивны и молчаливы, но в час зрелости, — все то, что мы узнали, пережили, пробуждалось сразу, и с большой силой. Мы вступали в жизнь мужами в семнадцать лет.

Конечно, не все ученики хедера так воспринимали Библию. Но о сонных натурах что говорить? Те же, в которых был огонек жизни, воображение, чувство — для тех библейская жизнь тесно сплеталась с жизнью родной Белоруссии, с ее пейзажами, с ее бытом, и была для нас существенной реальностью. Сколько иудеев нам рисовались в белых зипунах, а египтяне имели черные, как уголь, чуть-чуть воровские глаза, носили черные бархатные кафтаны с серебрянными пуговицами величиной в яйцо — это был костюм наших цыган... Библия нам снилась ночью, после того, как целый день мы дышали ее атмосферой.

5.

Социальный историк тут рассказал бы вам, как это местечковое еврейство, сотни лет бывшее литовским, белорусским, украинским, в течение каких-нибудь пятидесяти лет сделалось русским еврейством. История эта интересна и назидательна. В мою задачу это не входит. Должен только указать, что в руссофикации еврейства очень большую роль сыграл один из библейских рассказов. Это рассказ о Иосифе в Египте. Для хедерного мальчика Иосиф был просто белорусским еврейчиком, сыном Янкеля, слепого старика из местных нотаблей. И какая карьера, какая жизнь! Сколько в нем благородства. Как обошелся он с братьями! Как приласкал отца на старости лет. Сколько тысяч виз достал сородичам из Палестины!... И все это потому, что из Ханаана попал в Египет, в чужеземный край. Только там, далеко, люди начинают по-настоящему жить. Только там случаются такие чудесные события. Только там, далеко, на чужбине...

К разумной ассимиляции с Россией, к просвещению и и реформе ортодоксального быта, еврейские массы призывали так называемые «маскилим», то есть, просветители. Но они имели мало успеха пока еще держался старый экономический уклад местечка. В мои задачи не входит и освещение процесса крушения этого уклада. Скажу только, что наступил момент, когда молодое поколение евреев в местечках почувствовало себя трагически-бездельным. Говорю я не о классическом безделье героев Шолом-Алейхема, пресловутого, скажем, Менахем-Менделя, еврея «живущего воздухом», луфтменча. О, этот вовсе не бездельник, он очень занят! Он же всем интересуется, он должен все обсудить, должен обойти все крылечки, на которых люди болтают о том и о сем, а чаще ни о чем. Нет, Менахем-Мендель веселый малый, о трагедии и не подозревает, и вздыхает он большей частью только по привычке, когда уже очень становится туго... Местечковая молодежь томилась иным бездельем. Есть мускулы, и не к чему их применить. Томление духа, тоска по деятельности, по осмысленности жизни. Энергии много, а что делать? Помогать матери в жалкой лавченке? Ходить за отцом в базарный день и по его примеру совать руку в набитый мужицкий воз, щупать — нет ли кур для продажи? Засесть в синагоге и зубрить Талмуд? Местечко становится беднее и беднее, семьи растут, заработков все меньше. И нечего делать — целый день, целую неделю, **целый год!**

Жизнь в местечке, что для деда была такой богатой и полной, для отца — тяжеловатой, но еще интересной, для внука стала скучной, пустой и грустной. Слишком много религиозных наказов, слишком много запретов. Поэзия праздников действует на него слабее, чудесный пасхальный сейдер слишком долог, открытую для пророка Илии дверь, от которой когда-то дрожало сердце, хочется скорее затворить — дует, простудишься, а пророк все равно не придет. О, конечно, юноша еще хранит уважение к обычаям, ходит в синагогу, молится, но сладость молитвенных слов оскудела. Холодно, холодно жить.

Это не значит, что бытовая «мелодия» уже совершенно безвластна над душей молодого еврея. Время от времени она его захватит, и увлечет, и освежит. Ну, хотя бы пирушка «Священного Братства», ордена благочестивых братьев, ведающих в общественных интересах кладбищем и вечным покоем евреев, — самое оригинальное, забавное, веселое и характерное явление зимнего «сезона» в местечке. Долгий зимний вечер благочестивого разгула, смеха, песен и своеобразной «комедии дель-арте». Но веселую ночь сменит хмурое утро. Холодное встанет солнце и небо трезво, как постный день, долгий и скучный. Опять томление духа, опять тоска. И юноши вспоминают историю Иосифа! Их начинает тянуть в Египет. Их Египет не на Ниле, потому, что они не в Ханаане. Египет для них столичный город, из которого ежедневно приходят дешевые газеты; Египет для них русская школа, университет, русский язык, русская жизнь. В Египет идет железная дорога. Двадцать, тридцать часов езды, а то и меньше. Египет называется Петербургом, Москвой, Одессой, Харьковом. Египет все то, что не маленькое местечко, не узенький домик, не болото в середине улицы, не пятничная ярмарка с мужиками из окрестных деревень, что к вечеру пьянеют, и то лезут целоваться, то ругаются с кулаками под нос...

Но не все могут уйти в голубую даль. И всеми доступными средствами они, прикованные, стараются обмануть свою тоску. Книги, описывающие «иную жизнь и берег дальний», становятся страстью местечка. А иногородний гость, случайно попавший в местечко, в полчаса становится героем времени. Если это юноша, девушки не спускают с него глаз. Вот молодой человек из губернского города. Брюнетик, усики, красивая барашковая шапочка. Дантист. Откроет кабинет, увидите. Пока что он женится на хорошенькой сиротке и получает в приданое пять сот рубл й. Наличными. Ч р з несколько меся-

цев молодой Фараон с его барашковой шапочкой мнимым дипломом исчезает, не оставив адреса, а в местечке оказывается еще одна покинутая женщина...

6.

Местечковый еврей устремился в мир со всеми возможными замыслами, мечтами и снами. Что же взял он с собою из местечка? Что он знал? Что он умел? Чем он обязан своей среде, отцу и деду, еврейству?

Знал он, надо признать, очень мало. Невежество было в местечке, можно сказать, энциклопедическое. Евреи ничего не знали о природе, ни о земле, ни о небе, ничего не знали о чужих народах, об экономике, о политике. Конечно, местечко знало больше деревни, но скудное знание было почти мифическим. В синагоге толковали о Наполеоне, о Бисмарке, о Биконсфильде-Дизраэли, но за очень редкими исключениями это были сказки о Бове королевиче. Музыканты не знали нот, играли по слуху. Канторы нот не знали. Пели по слуху. Театральные игры — пуримские и другие — были чрезвычайно примитивны. Рисование сводилось к самым несложным подражаниям графике заглавных листов Талмуда или пасхальных сказаний. Моделями нередко служили литографические портреты знаменитых раввинов или филантропов, которые можно было найти чуть ли не в каждом еврейском доме. О писании красками никому не снилось. Торговцы, мелкие промышленники — кожевенники, маслобойщики, пенькотрепатели — если они не жили в непосредственной близости от границы, не имели понятия о мировых ценах и не всегда знали, куда направляются их товары из того уездного города, куда они их сбывают. Словом, невежество было густое. Однако, из этой среды вышло довольно значительное число весьма выдающихся людей — музыкантов, певцов, актеров, художников, врачей, адвокатов, купцов, промышленников, ученых. Местечковый молодой еврей оказался необычайно даровитым в приспособлении ко всякого рода чужбине, ко всякого рода новым условиям жизни, к самым разнообразным родам новой деятельности.

Об'ясняется это тем, что еврейский быт, эмоциональное богатство традиционных и исторических переживаний и то, что я назвал «мелодией» еврейской коллективной жизни одарили еврейского индивидуума достаточно тонким умственным аппаратом, а также известной долей психологической чуткости.

В новой среде ему будет не трудно измерить, высчитать, понять чужую действительность. Ему надо только изучить новый язык, перевести самого себя на этот язык. Если он в местечке был просвещенным книговедом, какие трудности предстоят ему при изучении чужой литературы? После Библии, Талмуда, толкователей, что будет трудно ему обнять сознанием, если он сделает к этому усилие? Он проделал тончайшую интеллектуальную гимнастику, он ходил по проволокам схоластики, упражнялся на трапециях метафизики. Поэзия европейских литератур не сшибет его с ног, если он чувствовал поэзию литературы древней. После пророка Даниила и Зогара ни один европейский мистик ему не страшен. Короче говоря, в столице чужого интеллектуализма он не провинциал — он сам пришел из большой столицы.

Но и простолюдин-еврей, це ученый, не поэт, не книговед, и тот обладает весьма хорошим аппаратом. Содержания мало, но форма есть. Мало, так сказать, каши, но тарелка не плохая и ложка круглая, отполированная. Отсутствие твердой экономической традиции, цеховых навыков и предпочтений, так сказать, известный деловой диллентатизм, из недостатка в оседлом состоянии превращается в качество для иммигранта, все равно, куда он эмигрировал, в русский губернский город, в столицу или за-границу и за-море. От недостаточной почвенности он гибок, и потому легче одолеет и обойдет сопротивление экономически-новой среды. К этому следует добавить, что патетическое влечение к новым краям и к новым условиям жизни, которое явилось следствием «трагического безделья» в местечке, психологически подготовляет еврейского эмигранта к самым трудным испытаниям жизни, к самой упорной борьбе за успех, в какой бы области он ни пробовал своих сил и своего счастья. Он перенесет страшную нужду, он будет работать дни и ночи, он примет много ударов судьбы, но в отчаяние не впадет, руки у него не опустятся. Ведь он не «кончает» жизнь, дотягивая лямку, — он ее «начинает»...

Из невежественных маленьких местечек могли выйти большие музыканты, художники, актеры, ученые потому, что духовная атмосфера еврейской ортодоксальной среды, острая и восторженная, весьма заостряла идейность молодых искателей Золотого Руна. Выше было указано на чрезвычайную бедность знаний местечка, на отсутствие технического «подножья» для искусства. Но тем замечательнее было отношение молодого еврея к тем крохам красоты, которые были ему доступны. В наивном и страстном восторге, с которым они

лелеялись, было нечто воистину религиозное. И когда совсем юный еще скрипач, которому суждено было стать светилом концертных эстрад, брал в руки трехрублевую скрипку и жидкий смычок, это не было подготовкой к профессии, погоней за успехом — это было горение, духовная жажда. К звезде, мелькнувшей ему в мечтаниях, этот юноша пойдет с неуклонностью лунатика. Он перетерпит и голод, и холод, и непосильный труд... Он жадно впитает в себя все звуки жизни вокруг, ритм дождей, порывов ветра, шелест листьев и шопот воды, и звук человеческого вздоха. Все силы души уйдут в слух, в дрожание струн, в музыку... А будущий живописец, не видевший ни одной картины в красках, так же «тотально» предастся поклонению краскам. Его зачаруют радуги огородов, подсолнечники и маки, и морковь, и малина, и «турецкия» шали на плечах деревенских девушек в базарный день... Когда нибудь это, быть может, пригодится Сергею Дягилеву в Париже.

Напряженная духовность еврейской ортодоксальной жизни, вековая и наследственная, наложила свою печать и на физический тип еврея. Если моя оценка наследия черты оседлости покажется кому-нибудь пристрастной, я посоветую ему побродить день-другой по улицам нью-иоркского Ист-Сайда, где еврейское население густо и подвижно. Пусть всмотрится в лица простых евреев с пейсами и в лапсердаках, и пусть подсчитает сколько встретит он там одухотворенных лиц. Он, вероятно, наткнется и на какой-нибудь вполне законченный тип еврея-аристократа. Как чудесно изваян лоб, тонко, светло, как глубоки, чисты и полны смысла умные глаза, с их древним сознанием, жалостью, добротой или гневной остротой. Как благородно выточены руки с длинными пальцами из слоновой кости. Сколько духовности, спокойной гордости, сколько человечности... Думаете ли вы, что все это получили они в бараках Эллис Айланда?...

(Окончание следует)

С. Поляков-Литовцев.

О. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ

13-го июля 1944 года в Париже, тогда еще не освобожденном, скончался о. Сергий Булгаков. За последние 20 лет имя его занимало одно из первых мест в ряду религиозных философов и богословов. В задачи этой заметки не входит, однако, изложение, хотя бы самое краткое, системы мыслей о. Сергия. Ея задача более скромна — всего только наметить основные этапы жизненного пути и творчества скончавшегося.

Сергей Николаевич Булгаков родился 16 июля 1871 года в городе Ливнах, Орловской губернии, в семье священника. Среднее образование он получил в орловской духовной семинарии и елецкой гимназии, высшее — на юридическом факультете московского университета. По окончании этого факультета он был оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности по кафедре политической экономии. По сдаче магистрантского экзамена, С. Н. Булгаков был назначен преподавателем политической экономии в московском техническом училище. В 1901 году он защитил диссертацию на тему «Капитализм и Земледелие» и немедленно был назначен профессором киевского политехнического института по кафедре политической экономии, но в 1906 году вернулся в Москву приват-доцентом университета. Был избран во вторую Государственную Думу, но видной роли в ней не играл. В 1911 году, вместе со многими другими, он ушел из университета, в протест против нарушения университетской автономии министром Кассо.

К этому времени С. Н. Булгаков был уже одним из виднейших русских экономистов и философов. Начал он свою ученую и общественную деятельность, как представитель легального марксизма. В одном из своих ранних трудов, «О рынках при капиталистическом производстве», он полемизировал против народнического представления о невозможности развития капитализма при отсутствии внешних рынков. Свою магистерскую диссертацию он предпринял для того, чтобы доказать приложимость марксистской схемы эволюции к сельскому хозяйству, но по мере работы нашел, что факты говорят обратное. Отсюда он сделал вывод об ошибочности марксистской теории общественного развития и признал, что обосно-

вание руководящих начал личной и общественной жизни возможно только путем выработки безусловных мерил в вопросах добра, истины и красоты. Много способствовала перелому в миросозерцании С. Н. Булгакова и «встреча с красотой»: в молодые годы он был склонен отрицать искусство, как проявление буржуазной культуры. Но, чтобы проверить себя, он поехал в Дрезден — и был пленен красотой сикстинской мадонны.

Оттолкнувшись от берега марксизма, С. Н. Булгаков начал долгий и трудный путь к другому берегу, к которому пристал лишь много после. Промежуточным этапом было приобщение его к философскому идеализму, сначала в духе Канта, затем Шеллинга и Владимира Соловьева. Ряд статей, в которых был обоснован и запечатлен переход на новыя позиции, был издан в 1903 году под заглавием «От марксизма к идеализму». На своем философском пути Булгаков был не один, и только естественно было, что имя его появилось, вместе с именами П. Струве, Н. Бердяева, Б. Кистяковского и С. Франка, в знаменитом сборнике «Вехи» (1909 г.).

Идеалистическая философия С. Н. Булгакова, однако, все более становилась богоисканием. Наиболее значительными произведениями, созданными на этом этапе развития, были «Два Града. Об общественном идеале» (2 тома, 1907 г.) и «Философия Хозяйства» (1912 г.). В последнем все части человеческого общества понимаются, как органическое единство, в котором первенство принадлежит церкви.

Логическим завершением метафизически-религиозной устремленности мыслей С. Н. Булгакова было принятие им священства. Это произошло уже после революции, в 1918 году, на Духов День. С. Н. Булгаков становится о. Сергием — так он теперь неуклонно желал быть именуемым. Около этого времени им были написаны: «Свет Невечерний» (1917 г.) и «Тихие Думы» (1918 г.).

Революционные потрясения не остановили умственной работы о. Сергия. Ее первым плодом, после принятия священства, был сборник: «На пиру богов. Современные диалоги». Издан он был уже в эмиграции, в Софии, куда о. Сергий попал из Крыма, где власти разыскивали его не то как опасного для режима священника, не то как одного из подлежащих высылке ученых и философов.

Тем временем, в Праге началась «русская акция» и, хотя и не без затруднений, ее руководителям удалось пригласить о. Сергия на кафедру церковного права на русском Юриди-

ческом Факультете (1923 г.). В своих лекциях о. Сергий выдвигал ученье о церкви, как социальном теле; влиял он на студентов и богослужениями в профессорско-студенческом общежитии «Свободарня», и живым участием в русском христианском студенческом движении (Y. M. C. A.), к которому о. Сергий остался близок до конца.

Но пражский период жизни о. Сергия был непродолжителен. В 1925 году в Париже был основан Русский Православный Богословский Институт, впоследствии переименованный в Академию, и было только естественно, что о. Сергий был приглашен профессором богословия и инспектором.

Работа в богословском институте-академии занимала центральное место за последние 19 лет жизни о. Сергия. Период этот оказался исключительно плодотворным для его богословского творчества. Труды его, за этот период, могут быть разделены на две серии. Первая состоит из целого ряда сравнительно небольших исследований на богословские темы. Все они об'единены новым подходом к богословским вопросам, которым о. Сергий оплодотворил и обновил грозившую окаменеть богословскую мысль. Подход этот состоит в привлечении, в качестве материала, церковных песнопений и иконописи. О. Сергий убедительно доказывал, что в песнопениях и иконах так же твердо запечатлелось церковное преданье, как в трудах Отцов Церкви, основном, до него, источнике богословствования. К этой серии принадлежат: «Святые Петр и Иоанн» (1927 г.); «Неопалимая Купина» (1928 г.); «Друг Жениха» (1928 г.); «Лествица Иаковля» (1929 г.); «Икона и иконопочитание» (1931 г.) и «О чудесах евангельских» (1932 г.).

Вторая серия была замышлена о. Сергием, как трилогия. До его смерти вышли две части — «Агнец Божий» (1933 г.) и «Утешитель» (1936 г.). Третья часть, «Невеста Христова», по имеющимся сведениям, была сдана им в печать. Трилогия об'единена заголовком «О богочеловечестве» и должна дать окончательное и систематическое изложение богословских взглядов о. Сергия.

В этих взглядах, с ранних времен, еще до принятия о. Сергием священства, видное место принадлежало учению о Софии, Премудрости Божией. Ученье это было избрано некоторыми противниками о. Сергия за основание для обвинения его в ереси. Обвинение было пред'явлено, почти одновременно, из двух источников — епископами из состава карловацкого собора и митрополитом (впоследствии патриархом) московским Сергием. По предложению митрополита Евлогия, о. Сергий написал

подробные доклады по поводу обоих обвинений, из коих второе, между прочим, было пред'явлено без ознакомления с его подлинными трудами, на основании краткой докладной записки, доставленной митрополиту из Парижа. В своих докладах о. Сергий, помимо обстоятельных ответов по существу, выразил протест против именования ересью взглядов, предложенных ученым богословом на обсуждение церковных авторитетов и других богословов; такие взгляды, которые о. Сергий скромно называл «домыслами», могли бы стать ересью только после осуждения высшими церковными авторитетами (мнения отдельных епископов недостаточно) и настояния на них, после осуждения. Свободу богословствования о. Сергий считал одним из великих преимуществ православия и скорбел о непонимании этой ценности многими.

За свои парижские годы, о. Сергий много потрудился над сближением православия с другими христианскими вероучениями. Выпущенная им, по-французски и английски, книга «Православие» открывает в православии глубины и красоты, неведомые и большинству русских православных людей. О. Сергий принимал деятельное участие в братстве святых Сергия и Албания, ставящем себе целью сближение православия с англиканством, равно как в экуменических с'ездах разных наименований. Англиканские богословы с благоговением прислушивались к учению о. Сергия; сильно заинтересованны им были и католические богословы. Два раза, в 1934 и 1936 годах, о. Сергий приезжал в Соединенные Штаты; здесь он читал целые циклы лекций по разным городам и произносил проповеди в епископальных (англиканских) храмах. 7-го ноября 1934 года о. Сергий произнес проповедь о социальной доктрине православия в Seabury Western Theological Seminary, во время ежегодного с'езда епископального духовенства. Как в этой проповеди, так и во многих других проповедях и трудах о. Сергий показывал, что его не переставала интересовать и волновать тема о религиозном освящении хозяйства, которой он был так предан до принятия священства.

За последние годы о. Сергий тяжко болел, а германская оккупация прервала возможность сношений между ним и поклонниками его творчества, русскими и иностранными. Судьбе не угодно было, чтобы живая связь с ним возстановилась. Но духовное общение с ним не может прерваться, ибо труды его вошли в сокровищницу избранных произведений человеческого духа, удел которых — бессмертие.

Н. С. Тимашев.

П. Б. СТРУВЕ КАК ЭКОНОМИСТ

Недавно скончавшийся в эмиграции русский ученый П. Б. Струве, с которым пишущему эти строки приходилось близко работать на экономическом отделении Русского Научного Института в Белграде, бесспорно займет видное место в истории русской экономической мысли. И это несмотря на то, что покойному не удалось создать своей школы в среде русских экономистов и что его склонность к крайнему эмпиризму скорее отвечает английскому образу мышления, чем русской тенденции видеть в политической экономии прежде всего науку о междучеловеческих (т. е. социальных) отношениях в сфере хозяйства. Впрочем, Струве начал свою деятельность как экономист книгой историко-социологического характера и свою карьеру как педагог курсом по истории хозяйства.

Если не считать некоторых статей (частью больших рецензий), появившихся в 1892 и 1893 г.г. в журнале «Вестник Европы» и в немецких марксистских изданиях (напр., в берлинском «Архиве Брауна»), первым действительно научным трудом П. Б. Струве были «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», вышедшие в 1894 году в С. Петербурге. В это время молодой Струве (ему тогда было всего 24 года) уже имел репутацию одного из лидеров русского марксизма и его отзывы о некоторых народнических трудах В. П. Воронцова и Н. Карышева не только обратили на себя всеобщее внимание, но и вызвали ожесточенную полемику в среде русских экономистов. В этих первых научных статьях Струве уже проявились его прагматизм и отталкивание от народничества, которое он воспринимал как одну из вредных социальных утопий. В сущности К. О. Зайцев (ближайший, если даже не единственный настоящий ученик Струве) имел полное право заявить в 1925 году («Студенческие Годы», №2, Прага), что «принципиальное отвержение народничества было всю жизнь источником пафоса Струве». С другой стороны, научные статьи Струве, появившиеся в Германии в 1893 году, привели в смущение и некоторых правоверных марксистов (в частности Ленина), которые усмотрели в них сознательное «извращение» марксистской догмы.

С появлением «Критических заметок» Струве снова стал мишенью противоположных нападок. Противники Карла Маркса об'явили его научным вдохновителем революционного марксизма, а сами марксисты усмотрели в его книге апологию капитализма. В сущности обе стороны были правы, так как первая книга Струве звала к насаждению промышленного капитализма в России, но делала это в интересах развития «классового самосознания» и в целях подготовки социалистического строя. Сам же Струве руководился в ней в первую очередь своим «антинародн『ческим пафосом» и желанием вывести хозяйство России на путь «исторически возможного» прогресса. Народничество представлялось ему социальной утопией, углублявшей русскую «некультурность». Основным заданием «Критических заметок» и была антинародническая критика от имени легального марксизма, но в духе тогдашнего «западничества», видевшего в капитализме мощный фактор культурного прогресса. Отсюда конечный вывод автора: «признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Этот вывод подвергся нападкам со стороны революционных марксистов, которые, разделяя взгляд Струве на неизбежность и даже желательность временного развития капиталистического строя в оссии, усмотрели в его заявлении этическое оправдание капитализма и в особенности отвержение идеи классовой борьбы. Плеханов охарактеризовал крылатую фразу Струве как «благородное увлечение западника», а Ленин обвинил автора в симпатии к «буржуазному либерализму». В действительности же Струве не так был занят «апологией капитализма», как желанием научно опровергнуть важнейшие положения народничества. Припомним, что русские экономисты-народники верили в роль творческой личности в историческом процессе, защищали веру славянофилов в самобытность русской культуры и полагали, что Россия минует период капитализма и от общин и артелей, являвшихся, по их мнению, зародышем коллективизма, непосредственно перейдет к социализму. В общем народники не были только «романтически-сентиментальными» апологетами натурального хозяйства (в их терминологии «народного производства»), но и старались научно доказать, что капитализм в России никогда не сможет развиться, так как он пролетаризует крестьянство разрушением общины и кустарных артелей, понижает заработную плату городских рабочих из-за роста сельского пролетариата и тем самым вдвойне разрушает внутренний рынок, который только и мог бы явиться «естественной» основой капиталистического строя в

России. Надо признать, что народники строили вполне логическую концепцию, так как исходили из предпосылки, что не «возрастание стоимости капитала», а потребление является мотивом капиталистического производства, и утверждали, что разрушение внутреннего рынка не может быть скомпенсировано ростом внешней торговли, ибо развитые промышленные страны всегда вытеснят с мирового рынка продукты русского, преимущественно натурального и частью коллективизованного, народного хозяйства. Против всех этих основных положений народничества и выступил Струве в 1894 году от лица легального марксизма. Он в этом отношении явился пионером, так как его «Критические заметки» вскоре нашли дополнение в известных антинароднических трудах Плеханова, Ленина, Булгакова и Туган-Барановского.

Прежде всего Струве обрушился на утверждение народников, что «для личности нет «социологической необходимости» и что всякий критически мыслящий интеллигент творит прогресс. Для молодого Струве, сторонника исторического материализма и экономического детерминизма, такая точка зрения была неприемлемой*).

Струве доказывал далее, что «прыжок из отсталых условий жизни в России в царство коллективизма является исторически невозможным» и что «русское хозяйство пойдет тем же путем, что и хозяйство европейского Запада». Не верил он и в то, что России удастся сохранить «неклассовую» интеллигенцию, которой народники отводили важнейшую роль при «вростании» народного хозяйства в социализм. Струве отрицал крайне важное утверждение народников, что капитализм раззорял русское крестьянство и разрушал внутренний рынок. Он видел лишь разрушение примитивного натурального хозяйства денежным и рост сельской буржуазии, которая, ослабляя общину, освобождала рабочие руки для промышленного капитализма и тем вдвойне увеличивала спрос на продукты индустрии. Настаивал Струве также и на том, что в России происходило отделение обрабатывающей промышленности от земледелия, увеличивались в городах либеральные профессии, росло производство средств производства, колонизовалась Сибирь, открывались для русских изделий рынки в Азии и т. д. В этих условиях возможно было ожидать появления периодических

*) Нужно отметить, однако, что уже в это время исторический материализм Струве умерялся его эмпиризмом и что детерминизм его тоже носил условный характер.

кризисов из-за неравномерного развития зависящих друг от друга отраслей производства, но никак не кризиса самого капитализма. Не соглашался Струве с народниками и в том, что капитализм разрушал в России «докапиталистические» формы хозяйства (общину, артели). По его утверждению, прогрессивные формы капитализма сменяли отсталые. Он доказывал, что крестьянское кустарное производство уже вылилось в примитивную форму децентрализованного капиталистического производства (т. е. в господство скупщика над кустарем) и что община уже разложилась от социальной дифференциации внутри ее состава и от господства в деревне торгового капитала и ростовщичества. Вывод автора «Критических заметок» сводился к следующему совету: «пора перестать цепляться за примитивную экономическую самостоятельность мелкого производителя и следует бедное меновое хозяйство России заменить капитализмом». Вот в кратких чертах основное содержание первого научного труда Струве. На первый взгляд его антинародническая установка имела за собой все преимущества. Однако, в действительности проблема была гораздо сложнее. Конечно, каждый экономист согласится со Струве, что форсирование железнодорожного строительства, рост протекционизма, привлечение иностранного капитала и разочарование в натуральном хозяйстве после голода в 1891 году, сделали возможным и даже неизбежным рост «капитализации» технически отсталого хозяйства России. Но возникает вопрос, следовало-ли стремиться к столь радикальному разложению крестьянского натурального хозяйства и к созданию многочисленного городского пролетариата? Конечно, в конце XIX века Россия была с капиталистической точки зрения страной огромных возможностей; отсталое крестьянство, азиатские окраины, Персия могли все больше и глубже вовлекаться в сферу товарного обращения. Был ли, однако, этот процесс капитализации беспределен и была ли русская обрабатывающая промышленность уже настолько развита, что смогла бы поглотить массы пролетаризованных крестьян и кустарей? Не брал-ли на себя Струве слишком большую ответственность, когда требовал радикального и быстрого разрушения экономической самостоятельности многочисленных и по духу патриархальных мелких производителей России?

Первая книга Струве была характерна для всего его творчества, так как в ней уже сказалась его пожизненная тенденция видеть в «свободном хозяйстве» идеал экономического

устройства, а в обмене — основную проблему политической экономии. Характерно было также и его отвержение этического подхода к проблемам экономической действительности. Эта по существу «антисоциальная» тенденция Струве проявилась еще сильнее в его более поздней и менее известной работе по истории русского крепостного хозяйства. Здесь Струве об'явил крепостничество двигателем материального прогресса, ибо оно породило торговый капитал и первые крупные фабрики, которые иначе не смогли бы появиться в условиях натурального хозяйства. Он даже, как-будто, предпочитал барщинное хозяйство оброчному, считая, что оно было крепче и с большими рыночными связями. Кроме того, Струве заявил, что русское крепостное хозяйство не погибло по внутренним причинам, но было ликвидировано в момент его расцвета и притом в первый возможный момент, так как освобождение крестьян до 1861-го года, т. е. до расширения внутреннего рынка прокладкой рельсовых путей, привело бы к созданию натурально-хозяйственной реакции. Марксистские критики этой работы были, конечно, неправы, когда заподозрили ее автора в принципиальной «реакционности». Струве даже свою антинародническую критику обосновывал тем, что «капитализм, разрушая отсталое натуральное хозяйство дворянско-самодержавной и крестьянско-патриархальной Руси, не только увеличивал число лиц способных к идейной европеизации, но и создавал личную независимость производителей». В общем Струве проявил себя в работе о крепостном хозяйстве России, как последовательный гегельянец («все существующее разумно») и как сознательный социолог, ибо любой экономист-социолог понимает под историей хозяйства смену последовательных социальных форм хозяйственной деятельности. Вне понятия эволюции нельзя создать какое-либо учение о хозяйственном строе. Тем более удивительно, что Струве еще в 1897 году на страницах издаваемого им марксистского «Нового Слова» выявил характерную для его последующего творчества тенденции рассматривать капитализм (да еще в его первоначальной форме «свободного хозяйства»), как последний этап (правда «нормальной») экономической эволюции. Так в своей статье, касавшейся охраны фабричного труда, он рискнул сделать крайне смелое утверждение, что сокращение рабочего дня свидетельствует о беспредельной живучести капитализма и о ложности вывода Маркса, что последовательный ряд кризисов упрется в социальную катастрофу. Сейчас, однако, любой экономист не стал т отрицать,

что сокращение рабочего дня, связанное с ростом производительности труда, может символизировать технологическую безработицу, которая в условиях современной системы распределения является социальным бедствием. Здесь Струве проявил себя романтиком «развитого товарного хозяйства». И это несмотря на то, что он до 1900-го года сотрудничал с революционными марксистами и даже оказал им большие услуги. Так в том же 1897 году Струве напечатал в «Работнике» статью по поводу стачки петербургских ткачей, защищая идею гегемонии пролетариата в предстоящей революции, а в 1898 году составил марксистский манифест от имени 1-го с'езда русских социал-демократов. Если, однако, об'ективно подойти к характеристике научной деятельности Струве, то надо признать, что он никогда не был настоящим марксистом. Ему сильно импонировало, что Маркс об'единил в своем учении английскую политическую экономию с французским социализмом и германской философией. Но не столько эрудиция Маркса привлекала к нему Струве, сколько его позитивизм, враждебный всем социальным утопиям. Можно поэтому, утверждать, что Струве только потому стал последователем Маркса, что хотел использовать его учение для борьбы с экономической и культурной отсталостью России. Отход Струве от марксизма совершался, однако, весьма быстро и уже в 1900 году можно было сделать вывод, что он уверовал в критическую теорию познания, убедился в противоречии между социологическими и экономическими формулами Маркса, отказался от его теории трудовой ценности, отверг неизбежность гибели капитализма по естественным причинам и признал возможность реформировать общество мирным путем. Даже больше того: в одной из своих статей в журнале «Жизнь» в 1900 году Струве заявил: «научный путь проходит через систему Маркса, но выходит из нее и ведет дальше».

В десятилетний период 1900—1910 Струве совсем отошел от научной деятельности и работал преимущественно как публицист. В 1900 году он напечатал на страницах «Русской Мысли» весьма резкую критику социальной теории распределения, выдвинутой М. И. Туган-Барановским. В этой статье Струве проявил себя как будущій основоположник русского экономического «атомизма» (т. е. крайнего эмпиризма). Главными грехами Туган-Барановского были, по его мнению, вера в наличие какого-то распределяемого между социальными классами народного дохода и утверждение, что в производстве создается некий «сверхпродукт». Для Струве, как атомиста,

уже не существовало какого-либо конкретного коллективного дохода (только сумма частных доходов) и натуралистическое понятіе «сверхпродукта» уже не было для него приемлемым, ибо хозяйственная деятельность сводилась в его концепции к обмену, а меновое отношение знает лишь цену. Затем снова наступил трехлетний перерыв в научной деятельности Струве. Зато, когда в 1913-1917 годах появился его известный двухтомный труд «Хозяйство и цена», подкрепленный рядом статей в журнале «Русская Мысль», Струве стал основателем особого «атомистического» направления в русской политической экономии и был международно признан одним из лидеров «чистой идиографии», составляющей весьма важное течение в эмпирической школе науки о хозяйстве. Таким образом, к 1918 году уже окончательно определилась научная позиция Струве. Все его последующие работы экономического характера, появившиеся с 1921-го года по 1939-ый год в русских, немецких и французских журналах, были лишь повторением или дальнейшим развитием его научной системы, выработанной в период первой мировой войны. Особое положение занимает, может быть, только его статья о проблеме равновесия в хозяйстве, напечатанная в 1936 году в крупнейшем венском экономическом журнале. Здесь Струве несколько смягчил свой эмпиризм и сделал существенные уступки в пользу относительной номографии. Вряд ли, однако, этот этюд означал сдвиг в его научном мировоззрении, так как две последующие статьи, появившиеся в 1937 году на немецком языке в трудах Статистического Института в Софии, были снова выдержаны в духе последовательного атомизма. В чем же заключается основная научная концепция Струве, сложившаяся под явным влиянием французского экономиста Франциска Симиана, скончавшегося в 1935 году, и в меньшей мере под влиянием американского экономиста Весли Митчеля?

Для Струве политическая экономия является наукой об обмене (т. е. «каталактикой») и экономической «идиографией», иными словами ненормативной дисциплиной, описывающей систему единичных хозяйств и их взаимодействие при помощи цен. Его теория народного хозяйства знает только два эмпирических об'екта: хозяйство, как суб'ективное телеологическое единство (т. е. предприятие) и цену, как «социальный параметр» в рамках времени и пространства (т. е. меновое отношение). В виду множественности обоих феноменов, а также множественности и разнохарактерности стимости, Струве рекомендует применять статистический метод иссле-

дования на ряду с «теоретическим» описанием, лишь случайно ведущим к научному об'яснению фактов. Из-за частнохозяйственного подхода он считает бухгалтерию важным поставщиком материала для статистической обработки экономических данных. Будучи представителем идиографии, Струве не признавал существования каких-либо экономических закономерностей. Только в 1936 году он как будто согласился, что можно признать наличие немногих «стохастических» закономерностей, т. е. гипотез, полученных статистическим путем и притом методом наиболее эмпирическим, когда «вероятность» события определяется наибольшей частостью (модусом), а не более сложным математическим путем, как, например, Чупровский метод математического ожидания. Атомистическая установка Струве заставила его отрицать наличие многих важнейших проблем политической экономии, как народное хозяйство (для него «псевдохозяйство»), общественный продукт (для него суммирование частных доходов, образующихся из цен), ценность (для него «мифическая» вытяжка из цен) и т. д. Ряд важных экономических феноменов Струве выводит из цены, являющейся стержнем его научной системы. Так капитал определяется им как «капитализованный доход, образовавшийся из цен», процент на капитал, как «позитивная разница между ценами, реализованная при помощи капитала», стоимость, как «цены, уплаченные или лишь калькулированные» и т. д. Кроме того, Струве отрицает наличие отдельной науки о частном хозяйстве, ибо политическая экономия знает в его концепции лишь точку зрения единичного хозяйства. Отпадает у него также и понятие экономического равновесия. До 1936-го года он еще признавал существование «кинетического равновесия» (т. е. недейственного движения в покое), но в конце своей жизни допускал наличие равновесия лишь в форме частнохозяйственного баланса. Только в теории кризисов Струве до конца следовал учению о кон'юнктуре, выработанному Туган-Барановским и Петражицким.

Атомистическая система Струве подверглась еще при его жизни научной критике со стороны русских экономистов, в частности в трудах А. Д. Билимовича (представителя полной номографии) и С. Кона (представителя относительной, статистической номографии). В рамках этой статьи мы не имеем возможности дать обстоятельную критику идиографического учения Струве и отсылаем читателя к нашему критическому этюду, появившемуся в 1934 году на немецком языке в «Архиве

Шмоллера» под заглавием «К основоположению теории хозяйства как науки о действительности».

В заключение следует отметить, что пишущий эти строки вполне разделяет мнение экономистов А. Мануилова (1913) и Ганса Серафима (1925), что Струве заслужил видное место в истории русской экономической мысли не только оригинальностью своей научной системы, но и постоянным напоминанием, что политическая экономия не должна злоупотреблять абстрактными схемами. Конечно, он впал в крайность чистого эмпиризма, но сделал это в наиболее элегантной форме. Всё же печатные экономические труды Струве никогда не дадут верного представления об его огромной эрудиции и творческом горении, которые ценились его собеседниками и делали личное общение с ним столь поучительным даже для ученых, не разделявших его научных или политических взглядов.

Б. С. Ижболдин.

ПОСЛЕ-ВОЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1.

Чем ближе подходит война к своему концу, тем яснее становится тесная неразрывная связь между проблемами военного и послевоенного времени. Можно сколько угодно убеждать себя и других в том, что «довлеет дневи злоба его», что сначала надо сокрушить врага, а потом уже заняться и переустройством мира на новых началах и приведением в порядок «своего собственного дома». Как бы искренни и благонамерены ни были эти попытки, они разбиваются при первом соприкосновении с действительностью. Самый ход событий повелительно ставит на очередь проблемы послевоенного переустройства и делает неотвратимым немедленное их обсуждение. Ни вопрос об обеспечении прочного международного мира, ни многочисленные вопросы социально-политического характера, обостренные войной или прямо ею поставленные, не могут быть отложены до «после победы». И не только потому, что решение этих проблем требует долгой и тщательной подготовки. Есть и еще одно обстоятельство, о котором не следует забывать: многое из того, что происходит уже сейчас, во время войны, в значительной мере предопределено, или во всяком случае способно предопределить, и облик мира в целом и судьбы отдельных стран, как они сложатся после войны. Воздержание от постановки и обсуждения после-военных проблем означало бы в в сущности фаталистическую готовность безропотно подчиниться стихийному ходу событий, без всякой попытки оказать на него сознательное и планомерное воздействие.

Нет ничего удивительного поэтому ни в том, что руководящие державы коалиции нашли нужным уже теперь, хотя бы в предварительном порядке, наметить основы будущей системы обеспечения международного мира, ни в том, что результаты этой попытки немедленно же стали предметом широкого обсуждения в общественных кругах союзных стран. Как известно, опубликованные результаты совещания в Dunbarton Oaks (которое для простоты можно называть Вашингтонской конференцией) далеко не вызвали единодушного к себе отношения.

Известно и то, что полное соглашение между участниками конференции достигнуто не было и что некоторые из наиболее существенных вопросов остались пока без решения. Знаменательно, что камнем преткновения на пути к полному соглашению на Вашингтонской конференции явился вопрос о взаимоотношении между великими и малыми государствами и что на этом же вопросе сосредоточилось и общественное обсуждение. В этом нет, конечно, ничего случайного. Вопрос о том, как удовлетворить настоятельную потребность в прочной и действительной организации международного мира и в то же время охранить неоспоримые права национальных государств, больших и малых одинаково, неизбежно является центральной, и в то же время самой трудной, проблемой любого плана мирового переустройства после войны.

Наша эпоха унаследовала эту проблему от девятнадцатого века. Для исторического развития новейшего времени характерна его внутренняя противоречивость. Как результат небывало быстрого технологического прогресса, девятнадцатый век стал веком неуклонно нароставшего интернационализма. Никогда еще в истории человечества не были отдельные части мира настолько связаны друг с другом, никогда еще не чувствовалась в такой мере их экономическая, культурная и политическая взаимозависимость. С другой стороны, тот же девятнадцатый век был временем и бурного расцвета национализма. Если и есть преувеличение в утверждении некоторых историков, что национализм родился в эпоху французской революции, то не может быть никакого сомнения в томм, что именно с этого времени он стал развиваться с небывалой до тех пор силой и быстротой. Нужно ли напоминать, какую огромную роль играли национальные движения в истории Европы втечение всего девятнадцатого века — века об'единения Италии и Германии, образования самостоятельного бельгийского государства, освобождения балканских народностей, польских восстаний и ирландской национальной борьбы? И что такое была пресловутая «балканизация» восточной Европы после первой мировой войны, в которой многие сейчас склонны видеть один из главных грехов «Версальской системы», как не естественное распространение того же исторического процесса на ранее мало им затронутую территорию?

Есть ли какие либо основания думать, что этот процесс роста национализма остановится или ослабеет в наши дни? Нет ли, напротив, всех оснований быть убежденным в обратном? В дни, когда «единственная в мире социалистическая

страна» переживает период своеобразного националистического перерождения, когда даже коммунисты всех стран вынуждены были стать «патриотами», когда национальное чувство всех побывавших под Гитлеровским гнетом народов обострилось до чрезвычайности, и когда, наконец, явления национального пробуждения наблюдаются и во всех «колониальных и полуколониальных» странах, — национализм становится фактором такой силы и такого значения, каким он до сих пор еще никогда не был. Вот почему так нереальна та, якобы, реалистическая концепция, которая старается сбросить со счетов национальные чувства и национальные стремления тех или иных народов — хотя бы и малых. Недостаточно декретировать «естественную» принадлежность той или иной страны к Атлантической или Восточно-европейской или еще какой-нибудь иной «сфере», исходя из геополитических или экономических соображений. Надо еще, чтобы народы этих стран пожелали быть приписанными к предназначенной для них «сфере». Мир стоит не перед одной, а перед двумя одинаково бесспорными и одинаково жизненными реальностями: реальностью взаимозависимости всех стран мира, повелительно диктующей создание жизнеспособной и действенной международной организации, и реальностью стремления отдельных народов мира к национальному самоопределению (не будем бояться этих, якобы, скомпрометированных слов!), столь же повелительно требующей признания. Защита интересов малых стран не является, поэтому, какой-то сентиментальностью или заботой о торжестве отвлеченной справедливости. Она продиктована сознанием той реальной опасности, которую представляла бы собой попытка игнорировать или нарушить эти права — для самого дела создания прочной системы международного мира. Только такая система мира может быть прочной, которая будет построена на синтезе обоих основных реальностей международной жизни, на подлинном, а не мнимом разрешении исторически сложившейся дилеммы — интернационализма и национализма.

Совершенно ясно, что иначе как путем самоограничения великих держав задача эта решена быть не может. Защитники решений Вашингтонской конференции подчеркивают всю важность соглашения между ведущими державами коалиции. Достоинство намеченного в Вашингтоне пути они видят именно в том, что в отличие от Вильсоновской Лиги Наций, покоившейся на «фикции» равенства всех ее участников, планы новой международной организации исходят из учета реальных сил, которые и должны быть использованы для обеспечения

международной безопасности. Основной аргумент сторонников этой точки зрения заключается в том, что без соглашения между тремя великими державами-победительницами никакая организация все равно мира не обеспечит. Правильность этого утверждения самоочевидна. Но из этого еще не следует, что одного такого соглашения достаточно. Если бы это было так, то не нужно было бы никакой международной организации, а достаточно было бы ограничиться простым союзом великих держав — продлением на после-военное время сложившейся во время войны коалиции. В этом, конечно, не было бы ничего нового. Напротив, это было бы возвращением в достаточно отдаленное историческое прошлое — отступлением от Версали к Вене, возрождением того «великого союза», который возник в момент ликвидации Наполеоновской империи. Современные нам историки давно уже заняты реабилитацией дела Венского Конгресса, и реабилитация эта имеет под собою некоторое основание. «Великому Союзу» действительно удалось обеспочить относительно мирное существование Европы на значительный промежуток времени. Но тот же исторический опыт говорит нам и об основных пороках подобной системы. Трещины в воздвигнутом «великим союзом» здании обнаружились едва ли не на другой же день после его постройки, и причиной его исторической недолговечности было как раз то, что оно постепенно разрушалось расхождением в интересах самих великих держав, с одной стороны, и действенным протестом неудовлетворенных «малых» народностей, с другой.

После пережитой человечеством всемирной трагедии было бы малым утешением, удовольствовавшись небольшой передышкой, заняться повторением того же порочного круга. И притом заняться этим повторением с гораздо меньшими шансами на длительную передышку! 125 лет тому назад война была европейской, а не мировой; в самой Европе равновесие сил и внутренняя устойчивость отдельных государств не подверглись такому глубокому потрясению, как сейчас; и сложность и острота наших проблем неизмеримо больше и грознее тех, что стояли перед поколением того времени. Размеры и характер мирового кризиса требуют и соответствующих по размаху и решительности мер. Да, соглашение между великими державами совершенно необходимо, но столь же необходимо и их самоограничение. Да, при создании системы международного мира надо исходить из учета реальных сил и возможностей, но в такой же мере над творить это дело на новых путях и в новом духе. Без этого самая реалистическая

на вид политика может обернуться зловещей по своим последствиям химерой.

2.

Есть своеобразный параллелизм между основными проблемами, стоящими перед современным обществом в области международных отношений, с одной стороны, и в области социально-политической, с другой. Как в первый из этих областей, главная трудность проблемы заключается в том, что необходимо найти синтез между началами интернационализма и национализма, так и попытки решения вопросов социально-политических наталкиваются на трудность примирения двух противоположных тенденций, которые условно можно обозначить как «коллективизм» и «индивидуализм». Более конкретно, это есть вопрос о синтезе между социальной справедливостью и личной (и политической) свободой. И здесь, как и в международной жизни, проблема унаследована от девятнадцатого века, историю которого можно было бы написать в терминах взаимоотношений между либерализмом и демократией и демократией и социализмом.

К этому кругу вопросов подводят нас напечатанные в этой книге «Нового Журнала» статьи Ю. П. Денике и К. И. Зака, непосредственно посвященные проблемам послевоенного переустройства, одна — во Франции, другая — в Америке. И та и другая делают попытку заглянуть в будущее, и потому естественно многие из утверждений обоих авторов носят более или менее гипотетический характер. Между ними есть одно показательное различие. Предвидения А. И. Зака отличаются сильно выраженным оптимизмом, который кое-кому из более скептически настроенных читателей может показаться даже чрезмерным. Размышления Ю. П. Денике над дальнейшими судьбами Франции написаны напротив в духе некоторого пессимизма, который сам автор впрочем предпочитает называть «условным оптимизмом». В статье А. И. Зака ударение поставлено на огромных возможностях, открывающихся перед Америкой на пути социально-экономических реформ. Ю. П. Денике пишет главным образом о тех трудностях, которые, по его мнению, ждут Францию в деле после-военной реконструкции.

Едва ли я ошибусь, если выскажу предположение. что это различие об'ясняется не столько особенностями индивидуального подхода обоих авторов, сколько различием между теми конкретными темами, которым посвящены их статьи.

А. И. Зак пишет о стране, хотя и глубоко затронутой войной и связанным с ней мировым кризисом, но все же сохранившей и вероятно сумеющей сохранить и в будущем основы своего социально-политического уклада. Ю. П. Денике приходится иметь дело со страной, для которой, как и для других европейских стран, самое существование этих основ стоит под вопросом. А. И. Зак рисует довольно мрачную картину различных несовершенств американской социально-экономической жизни. Но вероятно и он согласится со мной, что все эти несовершенства, при всей их остроте и всех их размерах, все-таки не подорвали здоровых основ американской демократии и что только благодаря этим основам Америке и в прошлом удалось достичь очень многого в области экономического прогресса и социальных реформ. В сущности вся его оптимистическая уверенность в ожидающих Америку блестящих перспективах покоится на убеждении в силе и жизнеспособности американской демократии. И, напротив, пессимизм (или, если угодно, «условный оптимизм») Ю. П. Денике вытекает из того, что у него нет такой же уверенности в судьбе французской (и вообще, европейской) демократии.

В основном подходе, таким образом, между нашими двумя авторами разногласия нет. Оба они исходят из мысли о необходимости разрешения социально-экономических проблем после-военного времени на почве и в рамках политической демократии. Оба они озабочены мыслью о синтезе между удовлетворением требований социальной справедливости и охранением личной свободы, как неот'емлемой части демократического строя. Тем самым оба они отвергают путь «социальной революции» — не в смысле радикального переустройства социально-экономических отношений, а в том специфическом смысле анти-демократического метода «прямого действия», который расцвел таким пышным цветом и дал такие ядовитые плоды в нашу трагическую эпоху. Оба они понимают, что «революция», вырастающая из опустошения и разрушения военного времени и несущая с собою насилие, диктатуру и рабство, была бы даже не «варварской формой прогресса», как говорил когда-то, кажется, Жорес, а, просто, началом долгой и беспросветной реакции.

М. К.

РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ

О. КАЙДАНОВА. Очерки по истории народного образования в России и СССР на основе личного опыта и наблюдений. Том I. 1938 г. 534 стр. (Склад издания: Mrs. K. N. Rosen, 410 Riverside Drive, N. Y. C.).

Перед нами одна из самых замечательных книг о России среди появившихся в свет за последние годы. Книгу эту нельзя назвать сколько-нибудь систематической историей народного образования в России — да автор ее и не ставил себе такой задачи. Цель О. Кайдановой (О. В. Берви), согласно ее предисловию к книге, описать «деятельность русского общества на поприще народного образования в лице земских и городских деятелей и частной инициативы и кооперации»; деятельность эта, как правильно замечает О. В. Берви, «была одной из светлых страниц русской культуры». Читателю, который пожелает, в дополнение к книге О. В. Берви, ознакомиться с правительственной деятельностью в области народного образования можно рекомендовать сжатый, но превосходный очерк И. Ганса: ("History of Russian Educational Policy, 1701—1917", by Nicholas Hans, London, 1931).

Книга О. В. Берви разделена на четыре части, из которых две вошли в состав первого тома. В первой части дается краткий обзор важнейших течений русской педагогической мысли, при чем делается особенный упор на «богатырей русской педагогики» (Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Н. А. Корф). Вторая часть предлагает читателю «Летопись работы по народному образованию» — до 1917 года, по отдельным отраслям, как-то: начальная школа, внешкольное образование, библиотеки и т. д.

В каждой главе изложение построено главным образом на характеристике деятельности тех лиц, которым принадлежала руководящая роль в общественной или частной работе в той или иной отрасли народного образования. Перед нами проходят образы выдающихся русских людей, отдавших все силы своего ума и таланта на дело народного просвещения — дело, которое не было для них «службой» или заработком», а «служением» в высшем смысле слова. О. В. Берви сама принадлежит к числу этих людей, и почти со всеми, кого она описывает, она была связана дружбой или хотя бы знакомством. Книга ее таким образом дает нам личный подход к деятельности русской педагогики, как бы изнутри освещает их работу. Многих из них О. В. Берви в свое время побудила прислать ей их воспоминания,

записки или другие материалы. В виду того, что некоторые из деятелей (и деятельниц) по народному образованию играли в то же время крупную роль в политике, науке, литературе, искусстве и т. д., материалы и очерки О. В. Берви имеют значение не только для истории русской педагогики, но также для истории русской культуры и общественности в целом, и всякий, кто интересуется историей русской культуры, не может не быть признателен автору за ее труд.

Само собою разумеется, что все вышесказанное не лишает нас права и не снимает с нас обязанности отметить и то, с чем в ее книге мы не можем безоговорочно согласиться. О. В. Берви считает, что дело народного образования «имело два лица: то, что делалось правительством, и то, что делалось обществом». Она резко противопоставляет «казенные учебные заведения, в которых преподавание было делом мертвым, сухим», а педагог — «человеком в футляре» — школам городским, земским и частным с их «прогрессивными течениями» и «передовыми педагогами». В этом противопоставлении, конечно, много правды, но все же слишком заострять его было бы несправедливо. Определенную пограничную черту между «правительством» и «обществом» вряд ли возможно в этом отношении установить. Бывали «прогрессивные течения» и просвещенные деятели и «передовые педагоги» также и в недрах Министерства Народного Просвещения — от прогрессивных инспекторов народных училищ (каким был, например, И. Н. Ульянов — отец Ленина) и до прогрессивных министров народного просвещения (граф П. Н. Игнатьев). Да в конце концов, и из числа трех «богатырей русской педагогики» двое — Н. И. Пирогов и К. Д. Ушинский так или иначе были связаны с «правительством»: Н. И. Пирогов был одно время попечителем учебного округа, а К. Д. Ушинский — инспектором «казенного» учебного заведения (Смольного Института).

Далее, следует отметить, что хотя в книге О. В. Берви приводится много сведений о деятельности земства по народному образованию, сведения эти недостаточно систематизированы. О плане всеобщего обучения, принятого Тверским земством еще в начале 1890 годов, говорится лишь вскользь. Среди земцев — работников по народному образованию не упомянут такой крупный деятель, как В. Г. Колокольцов, председатель Волчанской уездной, а позже Харьковской губернской управы. Его усилиями в Волчанском уезде с 1901 по 1914 год была выполнена почти целиком школьная сеть радиусом в две версты. Этими примерами далеко не исчерпываются замечания, которые можно бы высказать по поводу рассматриваемой нами книги.

Но каковы бы ни были недостатки труда О. В. Берви, достоинства его значительно превышают его несовершенства. Во всяком случае надо быть благодарным автору за то, что она поделилась с нами

итогами своего богатого жизненного опыта. Ее книга живая, в ней чувствуется биение мысли и сердца. В ней много теплоты, способной согреть даже и того читателя, который чужд педагогики. Пожелаем автору в ближайшее же время подготовить к опубликованию и второй том книги.

Г. Вернадский.

LEDNICKI, WACLAW. Life and Culture of Poland as Reflected in Polish Literature. N. Y. Roy Publications, 1944.

Написанная с большим воодушевлением и в характерной для автора импрессионистической манере, новая книга В. А. Ледницкого носит в значительной мере суб'ективный и лирический характер. Это как бы размышления автора над историческими судьбами польского народа и вместе с тем исповедание веры в его будущее. Но в основе того и другого лежит богатый фактический матерьял, почерпнутый автором из политической, культурной и литературной истории Польши.

Выросшая из публичных лекций, прочитанных автором в Бостонском Lowel Institute, книга состоит из ряда этюдов, связанных между собой скорее внутренним единством основной темы, нежели хронологической или логической последовательностью. Автор начинает с очерка, посвященного польской историографии или, точнее, попыткам польских историков осмыслить и об'яснить центральную трагедию польской истории — утрату Польшей независимости в конце восемнадцатого века. Автор показывает как «покаянное» настроение самих польских историков, с одной стороны, и апологетические усилия историков тех стран, которые разделили Польшу, с другой, привели к утверждению, на долгое время, односторонней и в силу этого неверной исторической схемы, преувеличивавшей элементы внутреннего распада в Польше, игнорировавшей или недооценивавшей положительные явления польской истории и тем самым как бы возлагавшей всю ответственность за раздел не на агрессоров, а на жертву. Только в самом конце девятнадцатого века утвердилась в польской исторической литературе концепция, которая, не отрицая элементов внутренней слабости польского государства, отказывалась признавать их фатальными и в об'яснении причин разделов переносила центр тяжести на политику разделивших Польшу государств. В следующих двух очерках В. А. Ледницкий делает попытку ознакомить своих читателей с крупнейшими и наиболее бесспорными достижениями Польши в политической и в культурной области. С

особенной любовью останавливается он на «золотом веке» польской истории — на 16 столетии, принесшем Польше расцвет идей политической свободы и религиозной терпимости и блестящие достижения в области литературы, как по линии воспринятой ею с запада «латинской» культуры, так и по линии самостоятельного национального творчества. К сожалению, несколько короче говорит автор о другом замечательном периоде польской истории — о том двадцатилетии между первым и вторым разделами, когда Польша переживала подлинное национальное возрождение, насильственно и сознательно прерванное новым вооруженным вмешательством со стороны.

Очерк о «помещиках и крестьянах» дает главным образом яркую и интересную в своих живописных подробностях картину жизни польской шляхты в 17 и 18 веках, но сравнительно мало сообщает о жизни крестьянства. Автор повидимому и не ставит себе задачи излагать социальную историю Польши. Большую часть книги составляют очерки, посвященные польской литературе 19 века и в первую очередь — Мицкевичу, Словацкому и Красинскому. В. А. Ледницкий — историк литературы по специальности, и неудивительно, что лучшие страницы книги находятся именно в этой ее части. Надо отметить, однако, что в соответствии с общим замыслом книги, автор подходит к великим польским романтикам не столько с чисто литературной точки зрения, сколько в плане их национального значения и тех элементов «универсализма», которые нашли свое выражение в их творчестве. Книга заканчивается попыткой проследить отражение основных духовных и культурных польских традиций в характере современной польской интеллигенции.

На протяжении всей своей книги В. А. Ледницкий неоднократно говорит не только о положительных, но и об отрицательных сторонах польского прошлого. Если тем не менее ударение им ставится на явлениях положительных, то это и психологически вполне понятно и, так сказать, методологически законно. В иностранной (не-польской) литературе о действительных и мнимых грехах исторической Польши писалось так много, и часто с такими преувеличениями, что напоминание о лучших ее сторонах и об ее достижениях весьма своевременно и полезно. Мне кажется только, что автор напрасно так настойчиво подчеркивает исключительность польского исторического развития. Для многих явлений, в области политических идей и политических учреждений, которые он склонен считать специфически польскими, можно найти западно-европейские параллели. В. А. Ледницкий, на мой взгляд, преувеличивает их своеобразие. Не думаю также, чтобы положение крестьянства в Польше 17 и 18 веков существенно отличалось от положения крестьянства в России или в Пруссии. Автор прав в своем протесте против тенденциозных изо-

бражений Польши, как страны, в которой крестьянство находилось в особо угнетенном положении. Но боюсь, что было бы трудно доказать обратное. Крепостное право этих веков было общим восточно-европейским явлением, и черты сходства в положении закрепощенного крестьянства отдельных стран были существеннее тех или иных местных различий. И, наконец, последний пример: в своей характеристике польской интеллигенции автор подчеркивает ее отличие от интеллигенции русской. Между тем, и из личного опыта и из литературы я, по крайней мере, вынес определенное впечатление, что и здесь черты сходства преобладали над чертами различия, и что во многих существенных отношениях тип польского интеллигента стоял гораздо ближе к типу интеллигента русского, чем к какой-либо общественной формации любой из западно-европейских стран.

Книга В. А. Ледницкого не посвящена больной и сложной проблеме русско-польских отношений. Но ни факта участия России в разделе Польши, ни польских восстаний 1831 и 1863 годов из истории духовной жизни Польши выкинуть нельзя. Не мог обойти этого и автор. Возможно, что иным из его русских читателей некоторые его утверждения покажутся спорными; возможно даже, что кое-что из им сказанного вызовет с их стороны внутренний протест. Но было бы несправедливо по отношению к автору придавать этим его высказываниям политический и притом «анти-русский» смысл. В. А. Ледницкий писал свою книгу о душе польского народа и о ее страдальческом пути. К национальной трагедии Польши мы не всегда были достаточно справедливы или хотя бы достаточно внимательны. Будем же благодарны автору за то, что он с такой подкупающей искренностью поделился с нами своими заветными мыслями о польском прошлом и будущем.

М. Карпович.

NICOLAI GOGOL by Vladimir Nabokov. New Directions Books. Norfolk, Conn. 172 pp. $1.50

Новая книга о Гоголе, написанная изумительным английским языком, полная блеска, остроумия, тонких догадок и интуиций — начинается главой о его смерти; последний абзац пятой, в сущности последней, главы — словами: «Гоголь родился 1-го апреля 1809 года». Это не значит, что книга написана сзади наперед, против течения времени, по недавно создавшейся моде. Это значит только, что автор не думал писать ни биографии, ни популярного очерка гоголевского творчества. Да, по правде сказать, было бы жаль, если бы Набоковское (Сиринское) перо тупилось на такой работе: говоря известным

сравнением, для чего приколачивать гвозди золотыми часами? Предоставим американским критикам защищать американского читателя. Книга Набокова, несмотря на все дополнительные «комментарии», «хронологии» и «индексы», написана для читателя (если вообще для читателя), хорошо знакомого с Гоголем и способного увлечься трудными проблемами гоголевского творчества.

То, что мы имеем здесь и за что должны быть благодарны автору, это, прежде всего, заметки на полях трех величайших созданий Гоголя: Ревизора, Мертвых Душ и Шинели. Заметки, посвященные анализу творческого воображения Гоголя и его стиля. Ценность их определяется конгениальностью обоих художников. Один из самых больших, если не самый большой, русский писатель наших дней, и притом искушенный в рефлексии на проблемы искусства, пишет о самом великом мастере русского слова; в Гоголе главная связь самого Сирина с русской литературной традицией.

Заметки Набокова освещают целый ряд проблем поэтики Гоголя: например, стремление случайных образов к разростанию и воплощению в живых лицах; гоголевские имена, символика «Носа» и многие другие. Чего стоит одно открытие лирического смысла окрика ямщика: «Эй вы, залетные!» в Ревизоре. И при всем том основное в поэтике Гоголя остается по-прежнему нераскрытым и загадочным.

Со времени символистов доказывать, что Гоголь не был реалистом, что он творил воображаемые миры, значит ломиться в открытые двери. Набоков не хочет отказать себе в удовольствии лишний раз поиздеваться над читателем-тупицей, который этого не понимает. Но такой читатель ничего не поймет и в книге Набокова. Однако, столь же резко отказываясь говорит о «юморе» или «комическом» у Гоголя, он не замещает образовавшейся пустоты никакой новой концепцией. И Гоголь и Набоков творцы воображаемых миров. Однако эти миры совершенно различны. Каковы законы, управляющие мирами Гоголя? Комическое, как и трагическое, несомненно, входят в их состав. Всякий смеется, читая Гоголя; и Гоголь-художник расчитывает на этот смех. Но есть множество родов комического, как и трагического, и мы ждем, чтобы кто-нибудь дал точное описание траги-комического у Гоголя.

Траги-комическое искусство есть прежде всего человечески-окрашенное искусство. Евклидова природа и не-евклидова геометрия равно чужды и комедии и трагедии. Попытка Набокова отрицать, наравне с реализмом, человечески-нравственное содержание Гоголя обессмысливает и его искусство и его судьбу. Различие между Гоголем и Сириным существует; более того, это различие огромно, и, может-быть, анализ его даст лучший ключ к пониманию Гоголя.

Верить Гоголю в его наивно-моралистической интерпретации своего искусства невозможно. Набоков убедительно доказывает — не он первый — недостоверность и даже лживость Гоголя. Но, сводя личную драму и гибель Гоголя к «иссяканию творческих сил», Набоков отказывается от ее об'яснения. Это иссякание становится чем-то внешним, как физическая болезнь. Но мы ясно чувствуем, что иссякание было следствием какой-то основной порочности творческой личности.

Искусство не сводимо на нравственность, как пытались у нас сводить его Гоголь и Толстой. Но искусство — почти всегда — вырастает из той же глубины, что и нравственная жизнь. Засыхание личности неизбежно должно привести и к гибели искусства. Ключ к Гоголю-художнику, в последнем счете, дается его религиозной драмой.

Замечательно, что, когда Набоков подходит к интерпретации Мертвых Душ, он не может избавиться от вне-эстетических, а именно религиозных категорий. Для него — а не для Гоголя только — Чичиков есть выходец из ада, воплощение злого духа. Автор повторяет это чуть не на каждой странице. Не знаю, верит ли Набоков в чорта, как верил Гоголь, но не означает ли это, что вне религиозных, хотя бы отрицательных, категорий мы не можем дать адекватного описания гоголевского искусства?

Г. Федотов.

WALTER DURANTY. USSR. The Story of Soviet Russia. J. B. Lippincott Company, New York, 1944.

Многолетний московский корреспондент американских газет В. Дюранти называет в подзаголовке свою книгу «историей советской России». Таким образом книга претендует на известную научную об'ективность и документальность, претензия, которую следует отвергнуть. «Алеша был очень не глупый мальчик, но ветренный», так Пушкин характеризовал когда-то Н. Полевого. Слова эти вполне применимы к Дюранти. «Ветренность» его сказывается в смехотворном обзоре русской истории по плохо прочтенному, а может быть и не прочтенному Ключевскому. Вторым царем романовской династии оказывается был некий Александр Михайлович и т. п. В истории Советской России нет ни слова об Учредительном Собрании. Организация убийства Мирбаха приписывается Савинкову. О Керенском говорится, что он изменил свою позицию по отношению к союзникам под влиянием вступления в войну Америки. Это можно понять так, что до вступления в войну Америки Керенский готов был союзникам

изменить. Керенскому же вложены в уста слова, что русский народ это «чернь взбунтовавшихся рабов» (чем бы ни грешил Керенский, но не отсутствием веры в русский народ; слова его переданы не точно и носили другой оттенок). Как пример «ветренности» Дюранти позволим себе еще привести его слова о Толстом: «гений Толстого, этого вдохновенного сумасшедшего, создал легенду о русском крестьянине, вроде Потемкиных деревень, дал миру образ Ивана Ивановича, любящего Бога, батюшку царя и своего помещика!» Это — Лев Толстой!!

И все же книга Дюранти интересна, как одна из первых попыток неофициальной, независимой сводки истории Советского Союза. Независимой? Автор назвал одну из своих предыдущих книг: «Я пишу, как мне нравится». Понятно, его писания должны были «нравиться» и советским властям, т. к. без этого нельзя было в течение многих лет быть корреспондентом в Москве. Однако долю какой-то капризной, противоречивой и немного вызывающей независимости действительно можно отметить в его книгах.

Когда нибудь, может быть, откроются какие-либо новые свидетельства и документы, освещающие историю СССР. Мы не слишком в это верим! Террор в России исключает возможность нахождения каких либо переписок, не избегающих политических тем, или таких же мемуаров. Пока что первоисточниками по русской истории являются свидетельства иностранных туристов и корреспондентов. Таким «первоисточником» является в сущности и книга Дюранти.

Много новых черт вносит Дюранти в историю борьбы за власть между Сталиным и Троцким. Он считает переломным моментом в ней похороны Ленина. Он описывает, как русские «массы» ожидали появления на похоронах второго после Ленина лица в государстве. Троцкий не приехал и это было роковой ошибкой, стоившей ему «престола». Как же допустил эту ошибку такой опытный политик? Он в это время только что приехал на Кавказ для лечения и думал, что уже не успеет вернуться в Москву ко дню похорон. На самом же деле похороны были отложены и Троцкий еще мог поспеть к ним. Сознание роковой ошибки, совершенной им, психологически ослабило Троцкого во всей его последующей борьбе со Сталиным.

Вероятно, Дюранти преувеличивает значение народных масс в этой борьбе. Каким бы эффектным ни было выступление Троцкого, как бы ни возросла его популярность, судьбу его решил бы не «народ», а партия, где он был и остался новым и не до конца своим человеком.

Дюранти рассказывает о «ликвидации кулаков, как класса», причем он принимает на веру большевистское утверждение, что это был класс эксплоататоров, м жду тем, как на самом деле под опр -

деление «кулака» были подведены все более состоятельные крестьяне и даже просто все противники колхозов. Он приводит жестокие слова «Красной Звезды»: «что будет с кулаками после их ликвидации, как класса? Для нас это безразлично, пусть бросаются под первый попавшийся автомобиль или проведут остаток жизни в ссылке, лишь бы исчезли из нашей среды». Что означают такие слова в советской действительности — не трудно вообразить!

Не отрицает Дюранти и одного из самых тяжелых эпизодов борьбы власти с сопротивлением крестьянства, — «голода — дела рук человеческих» по его определению, т. е. искусственно созданного. Но он находит для этого факта новое об'яснение: оказывается, Советы боялись в то время нападения Японии, между тем, как запасы продовольствия для армии не превышали 2-3 месяцев и их во что бы то ни стало надо было пополнить. Будто бы эта необходимость, а не желание наказать строптивых крестьян, заставила власть пойти на конфискацию у них даже семян для будущего посева. Может быть, такое об'яснение и правильно, но остается непонятным, почему эта конфискация производилась именно в районах, где крестьяне особенно упорно боролись с колхозами? И вообще, это об'яснение кажется придуманным в наши дни, когда все, что делается для войны представляется оправданным.

В оценке политических процессов Дюранти не отступает от официальной советской версии; но он рисует ужасную картину «чистки». Смертные казни исчислялись тысячами, ссылка и каторга сотнями тысяч. От двух третей до трех четвертей правящего класса были вычищены и во многих случаях казнены. «Это больше не было чисткой, какие партия знала до сих пор; это было паническое безумие, поражавшее направо и налево почти что вслепую». Вот несколько цифр, им приводимых: две трети советского дипломатического корпуса, послы, посланники, советники посольств — были ликвидированы, при чем об их казнях об'являлось, или они просто исчезали. Велики были жертвы среди высшего командования армии и флота. Из восьми офицеров высшего ранга, которые были привлечены в качестве судей к суду над Тухачевским и генералами, один Буденный остался жив. Остальные были ликвидированы, кроме командующего козаками Горбачева, который умер в своей постели. Из Совета Народных Комиссаров, которых было 21 в конце 1936 года, только 5 остались через два года. Один, Орджоникидзе, умер естественной смертью, остальные были расстреляны или исчезли.

В Центральном Комитете Коммунистической Партии избранном в 1934 году было 71 человек, в конце 1938 года оставалось 21. Трое умерли естественной смертью, один (Киров) был убит, 36 исчезли, один (маршал Гамарник) покончпл с собой, девять были об'явлены

расстрелянными. — В городе Киеве, между августом 1937 года и июнем 1938 года, больше половины членов местного отдела партии были вычищены. — Партия, как целое, насчитывала 2.000.000 членов и 1.200.000 кандидатов. В декабре 1937 года партия насчитывала меньше полутора миллиона членов и кандидатов. Чистка захватывала и миллионы беспартийных, если не всегда арестуемых, то терявших свою работу. Атмосфера была отравлена доносами. Мужья боялись жен и родители детей.

О конце чистки Дюранти рассказывает чрезвычайно странную историю. В начале августа 1938 года Каганович, комиссар тяжелой индустрии, только что вернувшийся из инспекционной поездки по Уралу, и Ворошилов, военный комиссар, вернувшийся с Украины встретились в Москве. Оба были близкими друзьями Сталина, который проводил каникулы на Мацесте, в родной Грузии. Обменявшись впечатлениями, оба нашли, что деморализация в армии и в тяжелой индустрии дошла до предела. Вдвоем они полетели к Сталину, у которого уже был в это время Берия, молодой грузин, преданный вождю и стоявший тогда во главе кавказской ГПУ. Все трое единодушно указали Сталину на катастрофические последствия чистки. Берия смело сказал диктатору, что во всем виноват комиссар Н. К. В. Д. Ежов, заменивший Ягоду и оказавшийся сумасшедшим садистом. Сталин, которому они открыли глаза, прекратил чистку.

Мы оставляем достоверность этого рассказа на совести Дюранти. Вероятно, он хотел смягчить ответственность вождя. Но ведь современный диктатор претендует на обладание всеведущим «недреманным оком» и вездесущей «благою волей» и никак не должен быть ни царем Берендеем, ни царем Додоном.

В оценке последствий чистки, Дюранти несколько противоречив. Он отмечает, что чистка страшно понизила акции СССР на мировом рынке и даже об'ясняет этим политику Мюнхена. Но вместе с тем, он принимает пользующуюся ныне успехом версию о том, что чистка уничтожила «пятую колонну». Не совсем понятно, как, по его же словам действовавшая в слепую чистка, могла достигнуть этого результата. С другой стороны он правильно отмечает невероятно быструю силу заживления русского народного организма: через несколько лет после ран нанесенных чисткой, Россия оказалась способной дать отпор могущественному врагу.

HAROLD J. LASKI: Faith, Reason and Civilization. — An Essay in Historical Analysis." — The Viking Press. — New York. 1944. — 187 pages.

За время, отделяющее выход этой книги «Нового Журнала» от предыдущей, Гарольд Ласки, известный английский политик и ученый, выпустил новую работу. Она в два раза меньше об'емом, нежели «Размышления о революции нашего времени», о которых я писал в седьмой книге «Нов. Журнала». Но она много претенциознее всех других работ Ласки. Юрист, историк, политик выступает на сей раз в качестве историософа или философа культуры.

И в непривычной для него роли, Ласки обнаруживает большую начитанность и эрудицию. Книга его интересна не столько теми мыслями и оценками, которые новы лишь для данного автора. Она интересна, как своего рода знамение времени, — выражаясь по старомодному. Задачей автора было «дать истолкование нашему времени» найти «новую систему ценности» для утративших прежнюю. Как ни расценивать сделанную попытку, — а мы ее считаем крайне неудачной, гораздо ниже того, что Ласки мог бы дать, если бы им не владели политические страсти и предвзятые суждения, — его книга останется, как памятник эпохи и показатель настроений, к которым пришли передовые умы накануне победоносного завершения войны.

Ласки исходит из того факта, что наша цивилизация рушится. Это находит свое подтверждение не только в политике и экономике, в войнах и революциях обреченного гибели капитализма. Это подтверждается и духовным состоянием нашего «стяжательного общества». О том свидетельствуют недавние властители умов и сердец — Эллиот, Джойс, Гексли. Неслучайно и ученые, и писатели больше ценили совершенство формы, а не существо. Недаром и в литературе, и в музыке, и в живописи, и в философии, и в критике господствующей формой накануне войны была сатира. «Сатира — убежище для художника или мыслителя, которые не в силах перешагнуть через утраченные иллюзии и попасть в царство положительной веры» (178).

Для русских читателей, социалистов и не-социалистов, знакомых с взглядами Достоевского и Бердяева о том, что всю человеческую историю, не исключая христианства, приходится признать «не удавшейся», — исходный пункт Ласки не представляет ничего оригинального. Ласки и сам попутно называет имена Бенда, Сореля, Достоевского, Баррэса, Пэги и других. Что поражает в книге Ласки, это та «положительная вера», которую он рискует рекомендовать страждущему и гибнущему человечеству. Не традиционный демократический социализм, как антитезу капитализма, рекомендует автор,

— недавно избранный товарищем председателя британской рабочей партии. Нет, он рекомендует, в качестве новой веры, пришедшей на смену христианству, как оно в свое время пришло на смену римской цивилизации, — б о л ь ш е в и з м.

Чтобы притти к такому выводу, Ласки пришлось взять множество препятствий и не только морально-политического порядка, но и логических и даже терминологических.

С большевизмом Ласки оперирует как с единством, себе равным на протяжении всех 27 лет, не различая никаких разновидностей ни во времени, ни по существу, и никак не считаясь с расправой, которой «старые большевики» подверглись со стороны других, как ни как, тоже большевиков. С другой стороны, он отождествляет этот суммарный большевизм с «русской революцией», с «советской идеей» и даже с «русской идеей». Олицетворением «идеи» — не столько русской, сколько своей собственной — Ласки считает Ленина, не различая, как сказано, «героического» большевизма первых лет от большевизма восторжествовавшего в последние годы.

Что социализм в России был осуществлен и продолжает существовать, Ласки принимает как данное, не требующее доказательств. Он и не пытается опровергнуть социалистических авторов, и в первую очередь знаменитого Гильфердинга, доказывавших, что государственный тоталитарный капитализм, выданный Лениным за социализм, явился прообразом других разновидностей тоталитаризма. Не касается он и тех эмпирических фактов — инстинкта «стяжательства», экономического неравенства, нового социального расслоения города и деревни и т. д., которое отмечаются ныне почти всеми исследователями и наблюдателями советского быта, не исключая и почитателей нынешнего режима, вроде сэра Бернарда Перса (ср. только что вышедшую книгу его "Russia and the Peace"). Ласки ни словом не поясняет, как это могло случиться, чтобы население России, облагодетельствованное дарами социализма, все же нуждалось в террористическом контроле со стороны власти? И почему покушение на оставление социалистического отечества продолжает рассматриваться, как тягчайшее преступление, караемое казнью?

Желание об'яснить большевизм исторически неизменно переходит у Ласки в безоговорочное морально-политическое его оправдание. «Еслибы русский эксперимент проводился людьми мягконастроенными, он не имел бы и отдаленного шанса на успех» (57). «Ленин и его последователи приняли гражданскую войну не потому, чтобы они отрицали ценность демократии, а потому что они были убеждены, что демократия может реально действовать только под руководством общественной собственности» (156). Оправдывается даже то, что компартия советского союза не предоставила централь-

ный пункт своей веры «случайному решению электората (избирателей), для которого отрицание социалистической идеи скорее правило, чем исключение» (158).

После этого не приходится удивляться тому, что Ласки рекомендует не смешивать цели и средства (143): средства могут быть «фантастически жестоки», могут быть проявлены «трусость, бесчестность и бесчинства», но если цель благая, если она родит новую «надежду» и «веру», — на средствах можно не задерживаться или ограничиться упоминанием о них вскользь, в придаточных предложениях. Удивляться ли после этого, что Ласки не без сочувствия ссылается на авторитет Макиавели и апостола позднейшей реакции Жозефа де Мэстра?! Ласки помнит — и хорошо, что помнит, — об убийстве Матеотти в 1924 году, но он, увы, забывает — вряд ли случайно — об убийстве Эрлиха и Альтера в 1942 году! И т. д.

И до Ласки пробовали провести параллель между большевизмом и христианством. Но раньше исследователи сравнивали большевизм с эпохами вырождения христианства, — как, например, французский исследователь Анри Роллэн, неравнодушный к советской власти, но все же находивший сходство между большевизмом и иезуитизмом, — а не с ранним христианством, как это делает теперь Ласки, сравнивая деятельность Ленина с деятельностью апостола Павла.

Ласки в этой книге отступил от многих своих прежних взглядов. Верным остался он однако-же, своему пренебрежительному отношению к «отсталому» и «безграмотному» русскому народу. К тому, что мы об этом писали в прошлой книге журнала, мы можем добавить, что и в этом пункте слова Ласки звучат полнейшим анахронизмом. Ласки противоставляет «старую русскую цивилизацию, инертную и пессимистическую», якобы «убежденную в своей никчемности», «новой, энергичной, пылкой, самоуверенной» (185), — как раз в то время, когда большевизм реабилитирует Александра Невского и Сергия Радонежского, Ивана Грозного и Петра Великого, Суворова и Кутузова, когда чествуют память присяжного «нытика» Чехова, возвращаются к чинам, погонам, орденам, к стратегическим границам и сферам влияния.

Мы не знаем, какова будет реакция нынешних, уцелевших большевиков на изображение большевизма, даваемое Ласки. Но что-нибудь одно: если правы Перс, Питирим Сорокин, Рикенбокер, архиепископ иоркский, некоторые русские монархисты и другие, признавшие, что Сталин есть прямое отрицание Ленина и означает возвращение России на исконные национальные пути, тогда, очевидно, неправы Ласки, Дан, Симмонс и бесконечное множество других, явных и тайных сторонников советской диктатуры, видящих в ней революционно-социалистическое обетование новой земли и нового

неба. С точки зрения об'ективной истины одно с другим непримиримо. С точки же зрения практической политики не раз, конечно, бывало, что большевизм праздновал и на Антона и на Онуфрия: — и по случаю того, что расправлялся с защитниками свободы и демократии, и по случаю того, что провозглашал себя сторонником демократии и свободы.

Как ни отнесется к книге Ласки Москва, книге суждено, на наш взгляд, остаться в истории нашего времени неприглядным памятником того, как и через 27 лет существования большевистской диктатуры она продолжала находить оправдание не только со стороны дипломатов, но и у людей независимого образа мыслей. Ласки назвал свою книгу «Вера, разум и цивилизация». В ней слишком много «веры», недостаточно «цивилизации» и совсем мало «разума».

М. Вишняк.

«ЕВРЕЙСКИЙ МИР», Нью-Иорк, 1944 г. 472 стр. Издание Союза Русских Евреев в Нью-Иорке. Цена 3 долл.

Компактный том; около 500 страниц текста; 40 авторов; чрезвычайное разнообразие тем; 5 отделов. Сборник издан организацией, возникшей в Нью Иорке в декабре 1941 года по инициативе прибывших сюда деятелей парижского Об'единения русско-еврейской интеллигенции. Он посвящен памяти Л. М. Брамсона.

В «Еврейском Мире» читатель найдет статьи о еврейской проблематике наших дней (С. Полякова-Литовцева и А. Менеса), об антисемитизме (М. Вишняка и А. Гольдштейна), об участии и роли евреев в русской революции (Д. Шуба), о писателях-евреях в советской литературе (М. Слонима), размышления о еврейской литературе (И. Киссина), информационные работы об испытаниях еврейства в нынешней войне (И. Шехтмана и Е. Кулишера), о перспективах еврейской эмиграции (И. Дижура и А. Ревуцкого), специальные исторические исследования о хазарах (Ю. Бруцкуса) и о легенде о десяти коленах израилевых (А. Цейтлина).

Очень полезна почти энциклопедическая статья Л. Фогельмана об еврейской Америке. Из многочисленных некрологов выделяется статья М. Вишницера о еврейском историке С. Дубнове, мученически погибшем от руки наци при ликвидации Рижского гетто, и статья С. Нигера об историке еврейской литературы С. Цинберге, — о котором, между прочим, сообщается, что в 1938 году он исчез из своей квартиры в Ленинграде и что в 1943 году стало известно о его смерти в советском концлагере. Непонятно отсутствие статьи

об известном публицисте С. Португейсе (Ст. Ивановиче), долголетнем сотруднике русско-еврейских и еврейских изданий, бывшем к тому же членом Комитета и парижского Об'единения русско-еврейской интеллигенции, и Союза русских евреев в Нью-Иорке.

В отделе мемуаров даны отрывки из работ С. Гинзбурга, М. Кроля и А. Лесина, а также обширный и ценный отрывок из воспоминаний Л. Брамсона о его поездке к Л. Н. Толстому в июле 1894 года с целью привлечь сочувствие Толстого к идее распространения среди евреев земледельческого и ремесленного труда, уже и в то время дорогой сердцу Брамсона. Отметим также две биографии — Я. Л. Тейтеля (принадлежащую перу А. Гольденвейзера) и Вл. Жаботинского (автор — И. Гальперин).

При таком изобилии, пестроте и разнообразии тем и авторов, разумеется, не может быть и речи о том, чтобы сборник отличался внутренней цельностью, единством настроения. Напротив, «Еврейский Мир» представляет собою свободную трибуну, в которой каждый автор отвечает за себя. Отсутствие руководящей идеи и целеустремленности приводит к целому ряду последствий. Во-первых, к допущению одновременно двух тенденций: просионистской и ассимиляторской. Сионистские тенденции есть в ряде статей: в биографии Жаботинского, в заметке И. Найдича о поэте Черниховском и особенно в статье А. Ревуцкого, которая защищает тезис о возможности переселения в Палестину до 6 миллионов евреев. Ассимиляторские тенденции звучат в статье М. Слонима о евреях-писателях в Сов. России, в которой процесс ассимиляции не просто отмечается, но и — приветствуется. И еврейский читатель несколько недоумевает: куда же его зовут?

Во-вторых, отсутствие целеустремленности привело к тому, что сборник, посвященный русско-еврейской тематике, в сущности уклонился от постановки тем, связанных с жизнью советского еврейства. Правда, И. Шехтман касается самого больного пункта: вопроса о жертвах, понесенных русскими евреями в совето-германской войне. (К настоящему времени его вычисления уже устарели). Но проблемы внутренней еврейской жизни в СССР вряд ли сняты войной. Эта тема не может быть исчерпана данными о количестве еврейских генералов и орденоносцев (статья Е. Сталинского). М. Вишняк, разрабатывая проэкт международной конвенции о борьбе с антисемитизмом, совершенно прав, когда упоминает, что и в СССР приходится считаться с неблагополучием в этом направлении. Но зачем ссылаться на М. Вишняка, когда тот же вопрос поднял никто иной, как И. Эренбург. Эренбург не скрывает от себя той атмосферы липкого антисемитизма, которая, повидимому, принимает порою страшные формы. Мы позволим себе процитировать речь Эренбурга, приведенную в

московской еврейской газете «Эйникайт» от 15 марта 1943 года:

— «Ко мне явился пожилой еврей, отец знаменитого летчика. Он рассказал мне: «я говорил с одним гражданским начальником, и он сказал мне: — об'ясните мне, почему на фронте нет евреев, почему их не видать на войне? Я ему ничего не ответил. Это было спустя четыре дня после того, как я получил сообщение о смерти моего сына...» «Вы все — продолжал Эренбург, — вероятно, слыхали о евреях, которых «не видать на фронте». До поры — до времени многие из тех, кто на фронте, не чувствовали, что они евреи. Но они почувствовали это, когда начали получать из Узбекистана или Казахстана от своих родственников письма и запросы: у нас часто говорят, что евреев не видать на фронте, они не бьются. И вот прочитав такой привет в блиндаже или в пути, еврейский боец охватывается тревогой. Он тревожится за своих близких»... Так говорил Эренбург на заседании Евр. Антифашистского Комитета в Москве.

Интересная статья С. Полякова-Литовцева «Агасферова легенда» при всей талантливости автора, производит, однако, странное впечатление своей парадоксальностью: подхватывая мысль англо-еврейского историка Сесиль Рота, наш публицист ставит себе задачу: разрушить «легенду об еврейском народе, как о народе-мученике по преимуществу». Этой оптимистической концепции противоречит не только еврейский мартиролог в прошлом, гайдамачина, инквизиция, но прежде всего ужасный опыт наших дней. Много плодотворнее подход к трагедии, переживаемой мировым еврейством, в статье А. Менеса, — представляющей собою, единственную до сих пор даже в еврейской печати, попытку мужественно-правдивой оценки положения. А. Менес бросает горькие слова обвинения по адресу внешнего мира, даже в лучших своих частях обнаружившего черствость и равнодушие к еврейской катастрофе. Но с той же горечью он бичует равнодушие более счастливых частей еврейского народа, не уразумевших всей глубины испытаний и мук европейского еврейства. Не менее пессимистически оценивает он и внутреннее состояние еврейской общественности, говоря о духовном параличе интеллигенции, о бюрократизации общественной работы, о консерватизме и закостенелости еврейских политических партий, — как сионистических, так и социалистических. Если его выводы о будущем, его план возрождения «синтетического еврейства» не отличается ясностью, — то диагноз положения в его статье должен привлечь к себе внимание.

Из четырех статей, посвященных Л. М. Брамсону, наибольшей полнотой отличается статья Д. Львовича «Л. Брамсон и ОРТ», а наибольшей теплотой и меткостью характеристики — статья И. Тартака. Статья Ю. Бруцкуса о Брамсоне, как «организаторе русского еврейства» в известной мере преуменьшает значение Л. М. Брамсона

в еврейской общественной жизни. Жаль также, что в сборнике очень скупо и бегло упоминается о месте Л. М. Брамсона в общерусской общественности, — между тем он оставил в ней весьма яркий след.

Григорий Аронсон.

С. И. ЛИБЕРМАН: «ДЕЛА И ЛЮДИ». Издательство «Новая Демократия». Нью Иорк, 1944.

Автор этой книги прожил интересную и чрезвычайно многообразную жизнь. Родившись на Украинѣ в семьѣ уже в третьем поколѣніи сидѣвшей на землѣ (явленіе не частое в русском еврействѣ), но строго хранившей традиціи ортодоксальнаго юдаизма, и получившій обычное религіозно-талмудическое воспитаніе, он подростком увлекся польской и русской литературой, бѣжал из отчаго дома в сосѣдній Житомір, гдѣ попал в среду передовой русско-еврейской интеллигенціи и стал готовиться в качествѣ экстерна к экзамену на аттестат зрѣлости. Случайно его учителем оказался извѣстный дѣятель «Бунда» Либер. Но не от него одного, а из всей среды, из всего «воздуха» той эпохи С. И. Либерман воспринял революціонное міровоззрѣніе и стал соціалдемократом-меньшевиком. Послѣ пребыванія заграницей в Вѣнѣ, гдѣ он пополнил свое образование, автор вернулся в Россію и в качествѣ члена Одесскаго комитета меньшевиков принял участіе в революціонном движеніи 1915 года. Когда революція была подавлена, С. И. Либерману пришлось заняться практической дѣятельностью. Он быстро достиг большого положенія в лѣсной промышленности и к началу войны 1914 года стоял во главѣ трех крупных обществ. Когда произошел большевистскій переворот он пошел на службу к новой власти в качествѣ спеца, считая, что должен «не отрываться от народа, не уходить от революціи». Такова была в то время позиція меньшевиков группы Мартова, который и лично одобрил этот шаг.

Эти рѣзкіе переломы в жизненной судьбѣ автора требовали бы болѣе исчерпывающего психологическаго об'ясненія. Но С. И. Либерман правильно указывает, что «есть два рода воспоминаній: одни разсказывают о жизни их автора, другія посвящены тому, что автор видѣл в жизни». «Дѣла и Люди» не автобіографія, а только «показанія свидѣтеля исторіи».

Эти «показанія» будут цѣнным матеріалом для будущаго историка СССР. С. И. Либерман работал в теченіи девяти лѣт в качествѣ совѣтскаго спеца по лѣсной промышленности и имѣл возможность

близко наблюдать функціонированье совѣтскаго аппарата. Между тѣм неофиціальных и независимых свидѣтельств о тѣх переломных годах опубликовано немного и едва ли можно ожидать опубликованія таких воспоминаній в Россіи. Книга носит подзаголовок «на совѣтской стройкѣ», и именно эти годы стройки совѣтскаго государства составляют главное ея содержаніе. Двѣ главы ея касаются самой первоначальной поры этой «стройки». Разсказ о «изобрѣтателях и прожектерах» полон курьезных деталей, но к сожалѣнію то анекдотическое, что разсказывается о них было характерным для этого періода. Еще болѣе печальным было то, что составляет содержаніе главы об «утопистах у власти». Автор рисует своеобразную и не лишенную привлекательности фигуру одного из главных «утопистов» Ларина, чья роль и вліяніе были отвѣтственны за безплодное растрачиваніе сил и средств в первые годы совѣтских соціализацій. Немало черт, рисующих «маленькіе недостатки механизма», разбросаны и в других главах; ярко обрисована роль Чека и ея вмѣшательство во всѣ области жизни. В концѣ концов это привело к личной трагедіи автора и к тому, что он покинул совѣтскую службу и сдѣлался невозвращенцем.

В качествѣ спеца С. И. Либерману пришлось встрѣчаться с цѣлым рядом совѣтских вождей и он дает в своей книгѣ их характеристики. В обрисовкѣ Ленина он довольно близок к апологетическому и «иконописному» образу Ленина, хотя и приводит нѣсколько эпизодов рѣзко противорѣчащих этому образу: он разсказывает, как Ленин поддержал и провел предложеніе Дзержинскаго о разстрѣлѣ ни в чем неповинных лѣсничих. «Это страшное рѣшеніе — говорит он — вытекало из чувства мести и озлобленности». Другой случай — это казнь личнаго друга самого Ленина, Тихвинскаго, совершенная с его вѣдома. По этому поводу Либерман вспоминает слова Плеханова, что «Ленин выпечен из того же тѣста, что Робеспьер».

Ленина автор встрѣчал хотя и часто, но лишь официіально. Зато близко и интимно знал он Красина и двѣ главы посвященныя ему дают яркую характеристику этого «большевика в буржуазном окруженіи». Есть интересныя черты и в разсказах о Рыковѣ, Дзержинском, Ломовѣ и других совѣтских дѣятелях.

Послѣдняя глава отличается от остальных глав книги. Это не «былое», а «думы» автора, его размышленія о русской революціи и о будущем Россіи. Она называется «Соціальная демократія при политической диктатурѣ» и само это названіе достаточно говорит о ея характерѣ. В ней много спорных и даже невѣрных утвержденій. Так автор называет совѣтскій строй «временно диктаторским», ссылаясь на Ленина. Но если в противорѣчивых высказываніях Ленина можно найти слова, такой взгляд подтверждающія, то четверть вѣка

существованія и увѣковѣченіе диктатуры коммунистической партіи в совѣтской конституціи достаточно эту «временность» опровергают.

Автор считает утвержденія этой главы как бы выводом из своей книги, плодом не только размышленій, но и того, что он наблюдал и пережил «на совѣтской стройкѣ». Но почти двадцатилѣтнее отсутствіе из Россіи вполнѣ достаточный срок для т. н. «эмигрантскаго отрыва» от родины и в сущности наблюденія автора относятся к давно уже ушедшей в прошлое эпохѣ. Нам эта глава представляется не связанной тѣсно с предыдущими и даже противорѣчащей разсказу автора о трагической неудачѣ его совѣтской службы. Без нея живая и интересная книга С. И. Либермана выиграла бы в цѣльности и единствѣ.

М. Цетлин.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕТКИ

Лики Америки. Национальные тенденции естественно усиливаются во время войны. Если несколько предыдущих сезонов прошли под знаком французской живописи, то в этом году неожиданно большое количество выставок отведено современному американскому искусству.

Под названием «Лики Америки» в ньюиоркском «Метрополитэн Мюзеум» было показано 150 полотен, отобранных из 5000 присланных работ. Выставка эта была организована на средства фирмы ПЕПСИ КОЛА, принявшей на себя все расходы и выдавшей награды на 11.000 долларов. Характерное американское явление: промышленная фирма в роли мецената. Здесь представлены были все течения и школы: от современных примитивов (г-жа Мозес), до чистых абстракционистов (Стюарт Дэвис). Преобладали пейзажи штатов Мейн и Коннектикут, однообразные улицы, гаражи, красные амбары... Художники иностранного происхождения тоже отразили в своем творчестве многогранность лика Америки. У Чакбасова это «Вечер дома» в бедной еврейской семье; у Бурлюка — «Разговор» среди приятельниц; у М. Сойера — «Танцовщицы»; у Вальковича — «Карнавал рыбаков и художников». Первый приз получил Вальдо Пире за картину «Купанье в штате Мэйн». Большой, прекрасно написанный в чисто импрессионистической манере, крепко скомпанованный Плэйн Эр.

Аналогичную выставку, под названием «Живопись в Америке», организовал «Институт Карнеги» в Питсбурге. На ней представлено было 310 полотен, пожалуй, более интересных и показательных, чем то, что было на выставке в Нью Иорке. Там собраны были только известные и признанные художники. Первый приз получил Ясо Кембоши, художник японского происхождения.

«Музей Современного Искусства в Нью Иорке» устороил выставку Марсдена Хартлея. Этот художник, увлекавшийся некоторое время кубизмом, отошел от всего «подражательного» и «европейского» и стал одним из поборников американского регионализма. В его творчестве преобладают пейзажи столь дорогого американскому сердцу штата Мэйн: рыбаки из Нова Скотиа, крабы и чайки. Он рисует яркими красками, нарочито сокращенной палитры (синий и красный его любимые цвета). Его горы и озера привлекают к себе американского зрителя, так как в них он узнает то, что уже давно знает.

Музей Уитней в Нью Иорке устроил ретроспективную выставку произведений одного из немногих маринистов Америки, Винсло Хомера, севременника Айвазовского, умершего в 1910 году семидесяти четырех лет от роду, в расцвете славы.

Порою увлечение американизмом идет в ущерб об'ективности. Так произошло с выставкой художника Фейнингера. Устроители этой выставки и большинство художественных критиков находят, что его творчество — «не только исключительное, но и настоящее американское»... Едва ли с последним можно согласиться. Многое в его произведениях от немецкой романтической мечтательности и от немецкой музыки. Девятилетним мальчиком Фейнингер отправился в Германию, чтобы стать музыкантом, но вернулся в 1933 году на родину завершенным и прекрасным художником. Это абстрактный живописец, не могущий писать, — как он сам говорит, — «не думая о музыке» (в частности о контрапункте); это художник, утвердивший свой стиль на изучении и подражании кубизму. Удивительно прозрачные планы-сдвиги изображаемых им готических соборов или лодок, сквозь которые просвечивают абстрактно-плоскостные наслоения, создают прекрасное лирическое целое. Написанные нежными, мягкими красками полотна этого художника уводят зрителя в мир удивительных поэтических, музыкальных и архитектурных ощущений. Но ничего специфически американского в нем нет.

Русские выставки. В октябре этого года галлерея Ниво в Нью Иорке приурочила небольшую выставку из 17 полотен к 50-летию художника Хаима Сутина. По трагическому совпадению, она оказалась его первой посмертной выставкой: среди вестей из освобожденной Франции, пришла и весть о смерти Сутина.

Сутин, которого сравняли и с Ван-Гогом из-за его взвихренных линий и жирного импасто и с Эль Греко из-за изумрудности его зеленаго цвета, был чрезвычайно интересным и исключительно одаренным художником. Но его нервность доходила порой до истеричности.

Другая русская выставка — в галлерее Леви была посвящена творчеству Евгения Бермана. Выставка перекочевала из Лос-Анжелоса, где имела большей успех. В живописи Берман нео-романтик с сюрреалистическими тенденциями; как театральный декоратор это очень тонкий художник, любящий классические формы и хранящий традиции русских, в частности дягилевских художников-декораторов. Его декорации к «Ромео и Джульете», к «Мещанину во дворянстве» и другие совпадают с духом и музыкой каждого балета.

Нельзя не закончить этой краткой заметки не упомянув об осенней выставки Марка Шагала, вновь подарившего нас блестящим фейерверком красок и образов.

Вера Коварская.

В ИЗДАНІИ «НОВАГО ЖУРНАЛА»

вышла в свѣт новая книга

М. О. ЦЕТЛИНА

«ПЯТЕРО И ДРУГИЕ»

посвященная жизни русских композиторов

Цѣна книги без переплета $ 2.25
в переплетѣ $ 2.75

Адрес издательства: Mrs. M. E. ZETLIN,
112 W. 72nd Street, New York, N. Y.
Tel: EN 2-9893

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое изданіе, выходящее раз в три мѣсяца.

●

Цѣна книги по предварительной подпискѣ — 1 доллар 75 сентов; цѣна двух книг 3 долл. 50 сентов; трех книг — 4 долл. 50 сентов. В розничной продажѣ книга стоит 2 доллара.

●

Адрес редакціи:

Mrs. M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

Tel: ENdicott 2-9893

Там же принимается подписка